



МАРИЯ
ДЕ БУТЪАМЕ
—
ПРИЧАИНИ

Annotation

В романе «Маркиз де Вильмер» изображены обитатели аристократического Сен-Жерменского предместья Парижа в последние годы Июльской монархии, их нравы и пороки, которым противопоставляются образ жизни и благородные устремления маркиза де Вильмера, сумевшего возвыситься над предрассудками своей среды и встать на уровень требований века.

- [Жорж Санд](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)

- [XXVI](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Жорж Санд
Маркиз де Вильмер

Письмо госпоже Камилле Эдбер
(в Д*** через Блуа)

«Милая сестра, тебе нет причин тревожиться: я благополучно добралась до Парижа и даже не устала. Поспала несколько часов, выпила чашечку кофе, привела себя в порядок. Сейчас найму фиакр и отправлюсь к госпоже д'Арплад, а она уже представит меня госпоже де Вильмер. Нынче же вечером опишу тебе, как прошла знаменательная встреча, а пока посылаю эту записочку, чтобы ты не беспокоилась о моем здоровье и исходе поездки.

Не падай духом, дорогая, все еще сложится к лучшему. Господь не оставляет тех, кто уповает на его милость и кто из последних сил старается исполнить волю всевышнего. Расстаться с вами было так трудно, меня удерживали дома ваши слезы. Стоит мне о них подумать, я сама чуть не плачу, но пойми, так было нужно! Не могла же я сидеть сложа руки, когда ты бьешься с четырьмя детьми. Я вполне здорова, сильна духом, и, кроме тебя и наших милых ангелочков, у меня нет никого на свете. Так кому же, как не мне, было отправиться на поиски хлеба насущного? Уверяю тебя, я добьюсь успеха! Только умоляю — не жалея меня и не сокрушайся, лучше поддерживай меня. На этом кончаю, дорогая сестра, крепко целую тебя и деток. Не доводи их до слез разговорами обо мне. Только бы они не забыли меня, не то я сильно опечалюсь.

3 января 1845
Каролина де Сен-Жене»

Письмо второе. Ей же

«Поздравь меня с большой победой, сестричка! Я только что вернулась от нашей именитой госпожи. Успех превзошел все ожидания. Сейчас расскажу; сегодня у меня, вероятно, последний свободный вечер, так что на досуге я опишу тебе подробно нашу

встречу. Мне так и кажется, что я болтаю с тобой у камина, укачиваю Шарло и забавляю Лили. Милые детки, что они сейчас поделяются? Им и в голову не придет, что сижу я одна-одинешенька в унылой комнате, потому что, боясь стеснить госпожу д'Арплад, устроилась в небольшой гостинице. Зато у маркизы мне будет очень удобно, а этот вечер я проведу в уединении, соберусь с мыслями и подумаю о вас. Хорошо, что я не рассчитывала на пристанище, которое предложила госпожа д'Арплад; она оказалась в отлучке, и мне пришлось набраться храбрости и самой представиться маркизе де Вильмер.

Ты просила описать ее, изволь: ей, вероятно, около шестидесяти, но она совсем беспомощна и редко встает из кресел; и лицо у нее такое измученное, что с виду ей дашь не меньше семидесяти пяти лет. Красавицей она, вероятно, никогда не была и хорошим сложением не отличалась, но во всей ее стати есть что-то выразительное и характерное. Волосы у нее очень темные, замечательные глаза, которые смотрят сурово и в то же время прямодушно. У ней длинный нос, чуть ли не до верхней губы. Рот, некрасивый и очень большой, обычно искривлен высокомерной гримасой. Но стоит маркизе улыбнуться, а улыбается она охотно, — и лицо ее становится одухотворенным. Мое первое впечатление подкрепила наша беседа. Женщина она, видимо, очень добрая, но не от природы, а по рассудку, натура скорее волевая, нежели жизнерадостная. Она наделена острым умом и хорошо образована. Словом, мало отличается от портрета, нарисованного нам госпожой д'Арплад.

Когда меня привели в комнаты, маркиза сидела одна. С подчеркнутой любезностью она усадила меня рядом, и вот вкратце наша беседа:

— Мне вас настоятельно рекомендовала госпожа д'Арплад, которую я глубоко уважаю. Я знаю, вы из хорошего дома, не без способностей, отличаетесь покладистым нравом и безупречной репутацией. Поэтому мне искренно хотелось бы с вами договориться и сойтись к нашему взаимному удовольствию. А для этого нужно, чтобы, во-первых, вам подошли мои предложения, и, во-вторых, чтобы не чересчур отличались наши взгляды на жизнь, иначе не миновать частых разногласий. Обсудим первое условие: я вам кладу тысячу двести франков в год.

— Мне говорили об этом, сударыня, и я согласна.

— Меня предупреждали, что, вероятно, вознаграждение покажется вам недостаточным.

— Говоря по правде, положение мое таково, что эта сумма не покрывает всех моих нужд, но госпожа маркиза не станет поступаться своими интересами, и коли я к вам пришла...

— Вы считаете, что жалованье слишком мало? Не кривите душой.

— Так определенно я не сказала бы, но, очевидно, оно больше, чем стоят мои услуги.

— Я этого не говорила, а вы так утверждаете из скромности. Стало быть, вы опасаетесь, что назначенной суммы вам не хватит на содержание? Пусть это вас не заботит, я все улажу. У меня вы станете тратить только на наряды, а по мне, пусть они будут самые скромные. А вы любите наряжаться?

— Да, сударыня, очень люблю, но если вы не требовательны по части платьев, я сумею обойтись самым необходимым.

Я ответила так искренно, что маркиза даже удивилась. Вероятно, мне нужно было, победив привычку, отвечать не так поспешно. Маркиза немного помолчала, потом, улыбнувшись, сказала:

— Вот как? А почему вы любите наряды? Вы молоды, хороши собой и бедны; полагаю, у вас нет ни надобности, ни права тратить на них деньги.

— По правде говоря, так мало права, — ответила я, — что, как видите, я одета очень скромно.

— Все это так, но вы страдаете, что ваше платье не по моде?

— Нет, сударыня, ни капельки; я утешаюсь тем, что так нужно. Я, вероятно, необдуманно сказала вам, что люблю наряды, и вот теперь вы подозреваете меня в легкомыслии. Отнесите этот ответ за счет моего простодушия, сударыня. Вы спросили, какие у меня вкусы, и я ответила так, точно имела честь быть с вами давно знакомой. Очевидно, я допустила неловкость, простите меня.

— Иначе говоря, — продолжала маркиза, — знай я вас издавна, мне было бы известно, как покорно и безропотно вы сносите тяготы вашего положения?

— Вы совершенно правы, сударыня.

— Хорошо. Такая неловкость мне по душе. Искренность я ценю превыше всего и даже почитаю ее больше рассудительности... Посему будьте со мной чистосердечны и скажите, отчего за ничтожное

жалованье вы пошли компаньонкой к старой, больной женщине, которая вдобавок, вероятно, и очень скучна?

— Во-первых, сударыня, мне сказали, что вы остроумны и добры, стало быть, скучать мне с вами не придется; но даже если меня не ждут развлечения, мой долг велит покорно сносить все и не сидеть сложа руки. Мой отец не оставил нам ничего, но сестра счастливо вышла замуж, и я жила с ней, не зная забот. Ее муж, своим достатком обязанный только службе, недавно умер, и его долгая и тяжкая болезнь поглотила все наши сбережения. Разумеется, теперь сестру с четырьмя детьми должна содержать я.

— На тысячу двести франков? — изумилась маркиза. — Помилуйте, но это невозможно. Боже мой, госпожа д'Арглад даже не обмолвилась об этом. Она, конечно, опасалась, как бы ваше бедственное положение не внушило мне недоверия. Как она меня плохо знает! Ваша самоотверженность привлекает меня, и если к тому же мы друг с другом сговоримся, вы, несомненно, почувствуете мое к вам расположение. Доверьтесь мне, и я с радостью помогу вам.

— Ах, сударыня, — отвечала я, — не знаю, посчастливится ли мне попасть в ваш дом, но позвольте поблагодарить вас за доброту и великодушие. — И с этими словами я проворно поцеловала руку маркизы, к явному ее удовольствию.

— А вдруг окажется, — сказала маркиза, помолчав и словно усомнившись в правильности первого впечатления, — что вы легкомысленны и немного ветрены?

— Этих недостатков за мной не водится.

— Надеюсь, но вы очень привлекательны. Это от меня тоже скрыли, а теперь чем внимательнее на вас смотрю, тем больше убеждаюсь, что вы удивительно хороши собой. Говоря по правде, меня это несколько тревожит.

— Отчего же, сударыня?

— Отчего? Ваш вопрос вполне законен. Видите ли, дурнушки почитают себя красавицами и, стараясь понравиться, выпядят смешными. Пожалуй, то, что вы привлекательны, стоит счесть за благо... Лишь бы вы этим не злоупотребляли. Послушайте, если вы вправду такая хорошая девушка и вдобавок сильная натура, расскажите мне немного о вашем прошлом. Любили ли вы кого-

нибудь? Любили, не так ли? Иначе и быть не может. Вам двадцать два или двадцать три года...

— Мне, сударыня, двадцать четыре, но я могу рассказать вам только о единственном моем увлечении, да и то в двух словах. В семнадцать лет за меня сватался один господин. Он нравился мне, но, узнав, что мой отец завещал нам одни долги, сразу пошел на попятный. Я очень огорчилась, но забыла его и поклялась никогда не выходить замуж.

— Вы забыли о нем только из досады!

— Нет, сударыня, по здравому рассуждению. У меня нет приданого, но есть некоторые достоинства. Неразумный брак меня не привлекает, и я не только не досадовала, а даже простила того, кто оставил меня; простила ему все в тот день, когда увидела, что моей сестре и ее детям грозит нищета, и поняла, как страдает умирающий отец, которому нечего оставить своим сиротам.

— А вы встречались потом с этим вероломцем?

— Никогда. Он женился, и я его вычеркнула из памяти.

— И с тех пор вы ни о ком не помышляли?

— Ни о ком, сударыня.

— Как вам это удалось?

— Сама не знаю. Очевидно, было недосуг думать о себе. Когда люди очень бедны и борются с нищетой, у них всегда пропасть дел.

— Но вы так красивы! Вероятно, многие добивались вашей благосклонности?

— Нет, сударыня, такой человек не появился, да я и не верю, что кто-нибудь станет ухаживать за женщиной, если она его не поощряет.

— Рада это слышать, тут мы с вами единомышленницы. Стало быть, в будущем вы за себя не боитесь?

— Я ничего не боюсь, сударыня.

— А вы не думаете, что это сердечное одиночество омрачит вам душу и озлобит вас?

— Нет, не думаю. У меня по природе веселый нрав. Даже в самые тяжелые годы я не теряла бодрости духа. О любви я не мечтаю — к фантазиям не склонна и вряд ли уже смогу перемениться. Вот, сударыня, и все, что могу о себе рассказать. Угодно вам принять меня в дом такой, какой я себя представила? Ведь иной представиться вам я не могла — иной я себя не знаю.

— Да, я принимаю вас такой, какая вы есть: красивая, чистосердечная, сильная духом. Остается лишь выяснить, есть ли у вас те маленькие таланты, которые мне требуются.

— Что мне нужно делать?

— Во-первых, болтать со мной, но тут я совершенно удовлетворена. Потом читать мне вслух, немного играть на фортепьяно.

— Испытайте меня сейчас же, и если вы останетесь довольны моими скромными дарованиями...

— Да, да, — сказала маркиза, давая мне в руки книгу, — почитайте мне. Я хочу полностью плениться вами.

Не успела я закончить страницу, как маркиза отняла у меня книгу, заметив, что читаю я превосходно. Теперь дело было за музыкой. В комнате стояло фортепьяно. Маркиза спросила, умею ли я играть с листа, и поскольку я в этом довольно сильна, мне не составило труда угодить ей и на этот раз. Под конец маркиза сказала, что знает мой почерк и слог по письмам, которые ей показывала госпожа д'Арклад, и надеется, что я прекрасно справлюсь с обязанностями секретаря. Потом она отпустила меня и, протянув руку, наговорила на прощание много любезностей. Я попросила освободить меня на завтрашний день, чтобы навестить кой-кого из знакомых, и маркиза разрешила перебраться к ней в субботу...

Милая сестра, от этого письма меня оторвали. Какая приятная неожиданность! Госпожа де Вильмер прислала записку, всего несколько слов, которые я тут же переписываю для тебя.

«Позвольте, прелестное дитя, в счет будущего жалованья послать небольшую сумму для детей вашей сестры и это платье для вас. Вы любите наряжаться, а можно ли не потакать слабостям тех, кого любишь? Итак, решено — ежемесячно вы будете получать сто пятьдесят франков, а вашим гардеробом я займусь сама».

Как маркиза добра и по-матерински великодушна! Я знаю, что всем сердцем люблю эту женщину, которую еще недостаточно оценила. Она намного добрее, чем я думала. Вкладываю в конверт ассигнацию в пятьсот франков. Скорей запасись дровами, купи шерстяные юбочки для Лили и время от времени лакомьтесь цыплятами. Себе купи вина, у тебя же больной желудок, но его не так трудно вылечить. Не забудь переложить в комнате камин — он

страшно дымит, просто нестерпимо. Дым может повредить глазам детей, а у моей крестницы они такие красивые!

Смотрю на подаренное платье и сгораю со стыда. Платье изумительное, серебристо-серое. И зачем только я сказала, что люблю наряды? Как это глупо. Я вполне удовлетворилась бы платьем за сорок франков, а что вышло! Сама буду носить платье за двести франков, а бедная сестра штопает старые лохмотья. Право, мне так совестно, но не думай, что этот подарок меня унижает. Уверена, что полностью отплачу маркизе за ее доброту ко мне. Видишь, Камилла, стоило мне взяться за дело, как сразу нам везет! Сразу я попала к прекрасной женщине, жалованье получила большее, чем рассчитывала, и вдобавок меня балуют и лелеют, как ребенка, которого собираются удочерить. А ты целых полгода отговаривала меня от поездки, во всем себе отказывала и из себя вон выходила при одном упоминании, что из-за тебя я хочу работать. Выходит, плохая ты мать, сестричка! Разве наши дорогие дети не важнее всего на свете, даже нашей взаимной привязанности? Честно говоря, я боялась, что затея провалится. Я истратила на дорогу последние деньги, а могла маркизе не понравиться и вернуться домой ни с чем. Но господь не оставил меня, сестра! Все утро я молилась ему и просила, чтобы он наделил меня красноречием, обходительностью и кротостью. Сейчас ложусь спать — совсем падаю от усталости. Тебя, дорогая моя, люблю больше всего на свете и крепче самой себя. Ты только меня не жалеяй: сегодня я счастливейшая из смертных, хотя мы и в разлуке и мне нельзя взглянуть на спящих малышей. Теперь ты видишь сама, что эгоизм не приносит счастья. Я здесь одна, я покинула все, что так дорого сердцу, но перед сном я стану на колени и, плача от радости, возблагодарю господа за все.

Каролина»

Пока мадемуазель де Сен-Жене писала письмо сестре, маркиза де Вильмер беседовала в будуаре с младшим сыном. Ее просторный дом в Сен-Жерменском предместье приносил хороший доход, но маркиза, некогда богатая, а нынче сильно стесненная в средствах (причину читатель узнает позже), занимала с недавнего времени третий этаж, сдавая второй внаем.

— Скажите, матушка, — спросил маркиз, — вы довольны новой компаньонкой? Слуги сообщили мне о ее приезде.

— Дорогой мальчик, — отвечала маркиза, — могу сказать вам, что она меня очаровала.

— Правда? Чем же?

— Право, не знаю, надо ли вам это говорить. Боюсь, как бы от одного рассказа вы не потеряли голову!

— Напрасно боитесь, матушка, — невесело отозвался молодой человек, хотя маркиза явно старалась рассмешить его, — будь я непомерно влюбчив, я и тогда не забывал бы о долге беречь фамильную честь и заботиться о вашем спокойствии.

— Да, друг мой, я знаю, что, имея дело с вами, можно не тревожиться: вы не уроните нашего доброго имени. Посему скажу вам так: эта душечка д'Арпад прислала мне жемчужину, алмаз, и из-за этого чуда природы я сразу наделала глупостей.

Маркиза пересказала беседу с Каролиной и так описала сыну ее внешность:

— Рост у нее, пожалуй, средний, сложена прекрасно, маленькие ступни, детские руки, густые пепельные волосы. Черты изящные, цвет лица — кровь с молоком, зубы жемчужные, небольшой правильный нос, прекрасные большие глаза, зеленые, как море, которые смотрят решительно и прямо, без лишней томности и притворной робости, искренно и доверчиво, а это всегда привлекает и располагает к себе. На провинциалку она не похожа, манеры такие хорошие, что даже их не замечаешь. В ее скромном платье много вкуса и утонченности. В ней есть все, чего я боялась, и нет ни капли того, что меня пугало. Иначе говоря, красота ее поначалу внушила мне недоверие, но безыскусность и непритязательность рассеяли всякие сомнения. А какой у нее голос и произношение! Чтение превращается в настоящую музыку. Потом она явно даровитая музыкантша: словом, все свидетельствует об ее уме, трезвости, кротости и доброте. Преданность ее сестре, которой она, конечно, приносит себя в жертву, настолько тронула и поразила меня, что я, забвю о бережливости, назначила ей жалованье куда большее, чем собиралась.

— Она торговалась с вами? — спросил маркиз.

— Напротив, сразу приняла то, что я ей положила.

— В таком случае, матушка, вы поступили похвально, и я счастлив, что наконец станете делить досуг с достойной собеседницей. Слишком долго вы терпели рядом эту старую деву, лакомку и соню, которая только докучала вам. Теперь же, когда ее сменило настоящее сокровище, было бы грешно не оценить его по достоинству.

— То же самое сказал мне ваш брат, — ответила маркиза. — Вы оба, мои дорогие, не любите считать деньги, и боюсь, не слишком ли поспешила я завести себе такую дорогую забаву.

— Но вы так в ней нуждались, — живо отозвался маркиз, — и вам не стоит упрекать себя за доброе дело.

— Возможно, друг мой, но все же я поторопилась, — озабоченно сказала маркиза. — Человек не всегда вправе делать добро.

— Ах, матушка! — воскликнул маркиз, и в голосе его прозвучали негодование и горечь. — Если вы решитесь отказаться даже от радости подавать милостыню, каким же преступником в ваших глазах должен выпядеть я?

— Преступником? Вы? О чем вы? — возразила встревоженная мать. — Дорогой друг, вы никогда ничего дурного не совершали.

— Простите, матушка, — взволнованно продолжал маркиз, — я совершил преступление в тот день, когда из уважения к вам обязался заплатить долги старшего брата.

— Молчите! — бледнея, воскликнула маркиза. — Никогда не заводите этого разговора. Мы все равно не пойдем друг друга.

И желая смягчить невольную резкость своих слов, она протянула маркизу руки. Он поцеловал их и немного погодя удалился.

На следующий день Каролина де Сен-Жене вышла из гостиницы, чтобы отправить письмо сестре и навестить кой-кого из знакомых, с которыми, живя в провинции, она поддерживала переписку. Это были старинные друзья ее семейства. Одних она не застала дома, другим оставила визитные карточки, не указав адреса, поскольку собственного пристанища у нее больше не было. Каролине взгрустнулось — она чувствовала себя такой потерянной и несвободной в этом чужом городе. Но она не стала долго размышлять о своей незавидной судьбе. Она раз и навсегда запретила себе расслабляющую меланхолию (боязливость была ей не свойственна), и самое тяжкое испытание не могло ожесточить ее и озлобить.

Каролина отличалась поразительной жизненной силой, энергией тем более замечательной, что сочеталась она с трезвой рассудительностью и полным отсутствием эгоизма. В дальнейшем мы по мере сил постараемся раскрыть и объяснить этот редкий человеческий характер. Читателю же необходимо помнить одну тривиальную истину, а именно: невозможно объяснить и растолковать до конца характер другого человека. Ведь в душевных глубинах таятся некие силы или слабости, и зачастую человек не может их проявить только потому, что сам себя не понимает. Да не посетует читатель, если наше истолкование лишь приблизится к истине, ибо полностью охватить ее невозможно и никто до конца не прояснит и не разгадает вечную тайну человеческой души.

II

Итак, Каролина разъезжала в омнибусе и гуляла по парижским улицам, грустя и радуясь большому городу, где она выросла в полном достатке и откуда в лучшую пору своей жизни уехала, не имея ни гроша за душой и никаких надежд на будущее.

Дабы впредь не возвращаться к прошлому Каролины, вкратце расскажем читателю о тех печальных, но обыденных житейских перипетиях, о которых она вскользь сообщила маркизе де Вильмер.

Каролина была дочерью дворянина из Нижней Бретани, жившего в окрестностях Блуа, и девицы де Гражак, родом из Веле. Мать свою она помнила смутно. Госпожа де Сен-Жене умерла на третьем году замужества, произведя на свет Камиллу и заручившись обещанием Жюстины Ланьон, что в течение нескольких лет она станет растить ее детей.

Жюстина Ланьон, по мужу Пейрак, была дородная и добрая крестьянка из Веле. По своей воле она прожила в доме господина де Сен-Жене восемь лет; сперва нянчила Каролину, потом уехала к своей семье, но вскоре вернулась и, вместо того чтобы вскармливать молоком своего второго ребенка, выкормила младшую дочь «дорогой своей барыни». Благодаря Жюстине Ланьон Каролина и Камилла узнали материнскую заботу и ласку. Однако их вторая мать не могла оставить собственного мужа с детьми на произвол судьбы. В конце концов ей пришлось уехать в деревню, а господин де Сен-Жене отвез дочерей в Париж, где они получили воспитание в одном модном монастыре.

Но поскольку парижская жизнь была ему не по карману, он снял себе комнату и навещался в столицу два раза в год, на пасху, и на каникулы, которые проводил как подобает состоятельному человеку. Целый год он копил деньги, чтобы в эти дни семейного веселья ни в чем не отказывать дочерям: то были прогулки, концерты, посещения музеев, паломничества в королевские замки, лукулловы пиры, словом — все утонченные прелести наивной, патриархальной и в то же время бесшабашной жизни. Дочерей своих отец боготворил. Они были прекрасны как ангелы, и доброта их не уступала красоте. Как он

любил гулять с изящно одетыми дочерьми, лица которых были гораздо свежее платьев и лент, только накануне купленных в лавке! Он показывал своих прелестниц солнечному, яркому Парижу, где почти никого не знал, но где взгляд любого прохожего был ему дороже, чем самые горячие знаки внимания всей провинции. Превратить этих обворожительных барышень в парижанок — истинных парижанок — он мечтал всю жизнь. Ради этого он был готов растратить все свое состояние, в чем, впрочем, и преуспел.

Эта приверженность к веселой парижской жизни совсем еще недавно была поистине роковой страстью, владевшей не только большинством зажиточных провинциалов, но целыми сословиями. Каждый знатный иностранец, мало-мальски просвещенный, бросался очертя голову в Париж, словно школьник на рождественских каникулах, с болью в сердце расставался с этим городом и остаток года только и делал, что хлопотал дома о получении заграничного паспорта, чтобы снова вернуться во Францию. Не будь у русских или поляков так строги законы, которые велят им жить у себя на родине, они, на зависть друг другу, растратили бы свои огромные состояния в вихре парижских наслаждений.

Барышни де Сен-Жене по-разному пользовались плодами своего изысканного воспитания. Младшая, прехорошенькая Камилла, упивалась тем же, чем упивался ее отец, на которого она была похожа лицом и характером. Она безумно любила роскошь и даже не помышляла о том, что может оказаться в нищете. Кроткая, любящая, но недалекая Камилла усвоила изящные манеры, научилась со вкусом одеваться и кокетничать.

Первые три месяца в монастыре она грустила и жалела о промчавшихся каникулах, три последующие месяца немного трудилась в угоду сестре, которая постоянно ее журила, остаток же времени мечтала о приезде отца и о новых увеселениях.

Каролина пошла скорее в свою мать, женщину серьезную и энергическую. Правда, веселостью нрава она не уступала сестре и даже с большим увлечением, чем Камилла, предавалась забавам. Она с большей радостью наряжалась, гуляла, бывала в театре, хотя наслаждалась этими благами по-иному. Каролина была гораздо умнее Камиллы, и хотя творческой жилки у нее не было, она глубоко понимала истинное искусство. Каролина все делала виртуозно, иначе

говоря — утонченно и блестяще выражала чужие мысли, декламировала стихи, играла с листа. Говорила она мало, но всегда к месту, удивительно ясно и толково. И даже если эти мысли были почерпнуты из романов, пьес и музыкальных произведений, в устах Каролины они приобретали свежесть и новизну. Она умела прибавить блеску чужому таланту и, сложись ее жизнь иначе, стала бы сама талантливой исполнительницей. Но этим ее дарованиям было суждено остаться втуне. В десять лет она начала учиться, в семнадцать все кончилось. А произошло вот что. Господин де Сен-Жене имел около двенадцати тысяч франков ренты и надеялся обеспечить дочерям будущее, достойное их красоты. Желая учетверить свой достаток, он с завидной неумелостью занялся денежными аферами, которые разорили его дотла.

Смертельно бледный и словно пораженный громом, он однажды приехал в Париж и безо всяких объяснений, лишь сославшись на лихорадку, увез дочерей в свое небольшое поместье. В течение трех месяцев он таял на глазах и умер от горя, рассказав о своем банкротстве будущим зятьям, двум принятым в доме воздыхателям из числа тех, что вились вокруг барышень де Сен-Жене со дня их появления в Блуа.

Жених Камиллы, чиновник и порядочный человек, искренне влюбленный в невесту, женился на ней. К Каролине же сватался помещик. Он повел себя сдержанно, сослался на родительский запрет и исчез. Каролина мужественно это перенесла. На ее месте слабая духом Камилла умерла бы от горя. Поэтому жених ее и не оставил. Слабость духа чаще внушает уважение, чем душевная стойкость. Ее ведь не увидишь глазами, она и гибнет молча. Убить душу можно совершенно незаметно. Поэтому на сильных людей валятся все несчастья, а слабые выходят сухими из воды.

По счастью, Каролина не питала страсти к жениху. В любвеобильной душе ее лишь укоренились доверие и приязнь, а тайная печаль и крепнувший недуг отца так сильно занимали ее мысли, что ей было недосуг мечтать о собственном счастье. Любовь благородной барышни сродни цветку, что распускается под солнцем надежды. Однако все упования Каролины омрачало предчувствие, что кончина отца неотвратима. В женихе она видела только друга, который с охотой делил ее горе. За это она уважала его и была

признательна. Скорбь отравила ей счастье и первую любовь, которая так и не успела расцвести.

Отказ жениха оскорбил Каролину, но не сломил ее душу. Она так преданно любила отца и так жалела его, что крушение ее собственного будущего казалось ей не такой уж большой бедой. Она покорно ее снесла, но оскорбления не простила и, отомстив обидчику тем, что вычеркнула его из памяти, питала теперь к мужчинам смутную неприязнь, равно как и недоверие к их льстивым словам. Исцеленная и окрепшая духом Каролина, та, с которой познакомился читатель, простодушно полагала, что теперь никакие соблазны ей не страшны.

Нет нужды рассказывать о том, как она прожила эти трудные годы. Всем известно, что утрата как большого, так и маленького состояния не проходит в два дня. Люди назначают кредиторам последний срок, надеясь спасти хотя бы остатки, переживают целую полосу сомнений, разочарований, нечаянных радостей, пока наконец, видя, что все усилия бесплодны, поневоле не примиряются со случившимся. Камилла была до крайности подавлена несчастьем и до последней минуты не хотела в него верить. Однако она благополучно вышла замуж и жила в достатке. Дальновидная Каролина меньше страдала от того бедственного положения, в котором оказалась по прихоти судьбы. Ее шурин, не желая слышать о разлуке с ней, великодушно предложил разделить с ними семейный достаток. Но Каролина, прекрасно понимая, что жизнь ее кончена, стала вдвойне самолюбивой. Камилла была нерасторопная, плохая хозяйка, а меж тем семейство все росло и дети требовали больше забот. И Каролина сделалась домоправительницей, нянькой, одним словом — верной служанкой в доме молодых супругов и исполняла трудные свои обязанности так самоотверженно, умно и споро, что под ее опекой все благоденствовали и сама она оказывала услуг гораздо больше, чем оказывали ей. Потом муж Камиллы заболел, скончался и открылись старые долги, о которых он умалчивал, в надежде исподволь погасить их из жалованья. Короче говоря, Камиллой овладели уныние, страх и смятение, а от призрака близкой нищеты молодая вдова совсем пала духом.

Как мы уже говорили, Каролина не знала, что делать. Она хотела спасти сестру трудами собственных рук, и в то же время боялась

оставить ее одну. Некий немолодой господин малопривлекательной наружности, но весьма зажиточный, предложил ей руку, рассчитывая заполучить примерную хозяйку. Каролина сперва смутно, а потом отчетливо поняла, что сестра ждет от нее жертвы. И Каролина принесла ее, но несколько иначе. Ради Камиллы она была готова поступиться свободой, независимостью, досугом, даже жизнью, но загубить душу, убить себя ради семейного благополучия не захотела. Она простила сестре материнский эгоизм и, как ни в чем не бывало, предприняла тот решительный шаг, о котором читателю уже известно. Она покинула Камиллу в деревенском домике, снятом неподалеку от Блуа, и уехала в Париж, где, как мы знаем, была милостиво принята госпожой де Вильмер, историю которой, в свой черед, мы тоже считаем своим долгом поведать читателю.

У каждого семейства свои раны, и любой семейный достаток не без трещин. Рана истекает кровью сердца, через трещины утекает благополучие. У знатного семейства де Вильмер был свой червь-точитель, беспечный мот — старший сын маркизы де Вильмер. В первом браке она была замужем за герцогом д'Алериа, спесивым и своевольным испанцем, который сделал ее жизнь как нельзя более несчастной, но после пяти грозных супружеских лет оставил ей довольно большое состояние и обожаемого сына, красивого и умного, которому суждено было стать неисправимым скептиком, неумным расточителем и отчаянным повесой.

Выйдя замуж второй раз, вторично став матерью и вторично овдовев, маркиза де Вильмер обрела в младшем сыне Урбене преданного и великодушного друга, нравственная чистота которого была так же очевидна, как распутство его брата. Отец оставил Урбену значительное состояние, посему он не сильно сокрушался из-за материнского разорения, хотя в пору нашего знакомства с маркизой ее кошелек был почти что пуст — такую беспутную жизнь вел молодой герцог.

К тому времени ему уже исполнилось тридцать шесть лет, а маркизу шел тридцать третий год. Читатель, вероятно, заметил, что герцогиня д'Алериа несколько поспешила стать маркизой де Вильмер. Однако никто ее за это не осудил. Второго мужа она горячо любила. Поговаривали даже о том, как чисто и достойно она любила его задолго до первого вдовства. Такая уж любвеобильная и увлекающаяся

душа была у маркизы! Поэтому два года без малого она, обезумев от горя, оплакивала безвременную кончину второго мужа. Видя ее отчаяние, родственники покойных мужей стали подумывать, не учредить ли над ней опеку и не заняться ли самим воспитанием сыновей. Узнав об этом, маркиза овладела собой. Природа переупрямила самое себя, душа умиротворилась, материнские чувства проснулись. В страстном порыве прижала она к груди своих сыновей, плача, покрывала их поцелуями, и этот душевный перелом вернул маркизе ясность мысли и самообладание. Конечно, она до времени состарилась, одряхлела, так и не оправилась от болезни, стала немного чудаковатой, но не утратила прежней предприимчивости, великодушия в привязанностях и благородства в отношениях со светом. С той поры стали расхваливать силу ее духа, которая долгое время как бы дремала в любви и горе, пока наконец, пробудившись, не обернулась жизнеспособностью.

Наш рассказ довольно объясняет ее нынешнее положение. Теперь же позволим Каролине де Сен-Жене по-своему оценить маркизу и ее сыновей.

Письмо госпоже Камилле Эдбер

«Париж, 15 марта 1845

Да, сестричка, устроилась я превосходно, о чем уже тебе не раз писала. Комната у меня уютная, камин, чудесный выезд, прислуга и весьма обильный стол. Если угодно, могу считать себя богатой маркизой, поскольку, неотлучно находясь при моей престарелой госпоже, невольно разделяю удобства ее жизни.

Ты сетуешь на то, что пишу чересчур коротко. Но до сегодняшнего вечера я почти не располагала временем. Маркиза испытывала мою преданность, теперь же наконец, поняв, сколь она безгранична, позволяет мне в полночь уйти к себе. Я же могу немного поболтать с тобой, так как ложиться в четыре часа утра уже не надо (маркиза ведь принимает до двух, а потом целый час обсуждает со мной гостей). Я честно сказала маркизе и скажу тебе, что эти бдения начали меня сильно утомлять. Маркиза думала, что я, по ее примеру, встаю поздно, а когда узнала, что в шесть часов утра я уже

просыпаюсь и не могу заснуть, великодушно простила мне «провинциальную слабость». Отныне, дорогая, я буду в твоём распоряжении утром или вечером.

Да, эту старую женщину я люблю, люблю глубоко и искренне. Я в плену ее обаяния, прислушиваюсь ко всем советам, в которых сквозит ее ясный и прямой ум. Конечно, она не без предрассудков и порой высказывает мысли, с которыми я никогда не соглашусь. Но в них нет ни капли лицемерия, и даже ее неприязнь к некоторым людям мне нравится, потому что в ее пристрастиях есть честность и убежденность.

Вот уже три недели я вращаюсь в большом свете, так как маркиза, не давая балов, принимает каждый вечер множество визитеров. Если бы ты знала, как все они ничтожны! В провинции я даже не подозревала об этом. Эти светские люди, невзирая на все их лицемерие и отличные манеры, просто пустышки, уверяю тебя. Обо всем судят с чужого голоса, на все вечно жалуются и ничего не умеют делать. Всех поносят и со всеми в лучших отношениях. Даже возмущаться им не дано, а только злословить. Без умолку твердят они, что не за горами страшные беды, а сами живут так, словно они в полной безопасности. Они пустопорожни и воплощают собой бессилие и непостоянство. И среди пошлых говорунов и бестолковых ломак живет старая, горячо мною любимая женщина, которая так откровенна в своих антипатиях и так возвышенно недоступна сделкам с совестью. Подчас кажется, что передо мной выходец из прошлого века, герцог де Сен-Симон в женском обличье. Подобно ему, маркиза благоговейно почитает свое сословие и столь искренно не сознает власть денег, которой так слабо и притворно возмущается свет.

Мне, как ты знаешь, по душе, когда люди презирают деньги, и даже наши беды не переменили меня, ибо мое святое достояние — жалованье, которое нынче зарабатываю с достоинством и даже не без гордости — деньгами я не называю. Это мой долг, основа моей чести. И роскошь, нажитая или сохраненная благочестивой жизнью, не внушает мне того философского пренебрежения, которое всегда таит в себе известную зависть. Нет, грязным словом «деньги» я называю благополучие, которое становится предметом вожделений, надежд, страсти и приобретает браками по расчету, предательством политических убеждений, семейными интригами вокруг наследства.

И тут я полностью на стороне маркизы, которая не прощает неравные браки по расчету и прочие низости, общественные и частные.

Поэтому мужественно и мудро взирает маркиза на то, как безжалостно расточается ее состояние. Я тебе уже писала о том, что старший сын маркизы, герцог д'Алериа, вконец разорил ее, а маркиз, младший сын от второго мужа, ревностно печется о ней, и только его стараниями маркиза теперь ни в чем не нуждается.

Пора, пожалуй, тебе описать этих господ, о которых прежде я лишь вскользь упоминала. Маркиза я увидела в первый же день, как водворилась в доме. Каждое утро — с двенадцати до часу, а по вечерам — от одиннадцати до полуночи он бывает у своей матери. Вдобавок они часто вместе обедают. Словом, у меня было достаточно времени для наблюдений, и, по-моему, я хорошо изучила маркиза.

У меня такое чувство, что этот молодой человек не знал юности. Он слабого здоровья, и его возвышенный и утонченный дух борется с тайным недугом или природной склонностью к меланхолии. Наружность у него удивительная. С первого взгляда он не кажется привлекательным, но чем больше видишь его, тем сильнее он располагает к себе. Роста он среднего, ни красив, ни безобразен. В платье нет ни небрежности, ни изысканности. Вероятно, он, сам того не сознавая, ненавидит все, что останавливает внимание. Незаурядность его понимаешь сразу. Немногословные суждения маркиза полны тонкого и глубокого смысла, а когда он чувствует себя непринужденно, глаза у него такие прекрасные, умные и добрые, что, право, ничего подобного я не видала.

Но лучше всего рисует маркиза его отношение к матери, поистине достойное восхищения. Я знаю, что госпожа де Вильмер пожертвовала несколько миллионов — все свое состояние, оплачивая безрассудные забавы старшего сына, а маркиз ни разу не нахмурился, не сделал ни единого замечания, не выказал ни досады, ни сожаления. И чем больше маркиза потакает неблагодарному и противному герцогу, тем ласковее, почтительнее и заботливее обходится с ней младший сын. Сама видишь, не уважать этого человека нельзя, а я так просто благоговею перед ним.

Кроме того, беседовать с ним необыкновенно приятно. В обществе он обычно молчит, но в тесном кругу, преодолев стеснение, поддерживает разговор с необычайным обаянием. Он человек не

просто образованный, а настоящий кладезь премудрости. Читал он, думаю, пропасть, так как, о чем бы ни зашла речь, высказывает интересные суждения. Его беседы с матерью так нужны ей, что, когда дела прерывают их или укорачивают, она потом целый день в тревожном и каком-то растерянном расположении духа.

Поначалу, как только он появлялся у маркизы с утренним визитом, я благоразумно удалялась, тем более что этот возвышенный и чрезвычайно скромный человек робел в моем присутствии, оказывая мне этим незаслуженную честь. Однако на третий или четвертый день он, собравшись с духом, кротко спросил меня, отчего при его появлении я сразу же исчезаю. Все равно я никогда не посмела бы мешать их разговорам, но маркиза сама упросила меня не уходить и со свойственной ей прямоотой объяснила, зачем я нужна. Слова ее прозвучали немного странно:

— Мой сын — ипохондрик, — сказала она, — и мало похож на меня. Сама я либо очень воодушевлена, либо глубоко подавлена. Грустить я не способна. Мечтательные натуры меня даже раздражают. Ипохондрия моего сына огорчает меня и тревожит, и никак я не могу взять ее в толк. Когда мы с ним вдвоем, я всегда стараюсь отвлечь его от печальных мыслей, вечером же, когда собираются человек пятнадцать — двадцать гостей, он замыкается в себе и дичится общества. Для того чтобы я могла по-настоящему насладиться его умом — а это величайшее мое счастье, и единственное утешение в жизни, — нам не хватает собеседницы, притом достойной и приятной. Тогда маркиз не покусится на обаяние, уступив сначала вежливости, а после бессознательному кокетству. Такой уж он человек. Обязательно нужно рассеять его грустные размышления. Однако со мной он держится безукоризненно, так что у меня нет ни права, ни желания вступать с ним в открытую борьбу, а при собеседнице, даже если она будет молчать и только слушать его, он поневоле станет красноречив. Ведь многословия он не любит, так как боится прослыть педантом, но еще пуще боится углубляться в свои раздумья и показаться невежей. Посему, дорогая, вы окажете нам обоим огромную услугу, если не будете оставлять нас наедине.

— А если, сударыня, — ответила я, — вам нужно поговорить с сыном о делах семейных, как быть тогда?

И тут маркиза мне обещала, что в этом случае она предупредит меня, задав вопрос: «Не отстают ли часы?» »

III

Продолжение письма к госпоже Эдбер

«Вчера вечером я уснула и не дописала письма. Сейчас девять часов утра, с маркизой я увижусь в полдень, так что у меня много времени и я могу кое о чем тебе рассказать, дабы ты полностью уяснила мое теперешнее положение.

Маркиза, по-моему, я описала довольно живо, и ты можешь без труда представить его себе. Чтобы удовлетворить твое любопытство, я опишу, как протекают дни в этом доме.

Первые две недели было немного трудно. Теперь, когда дела поубавилось, я это понимаю. Ты знаешь, что я не умею сидеть сложа руки, что за последние шесть лет привыкла к постоянным хлопотам. Здесь же, увы, не надо убирать комнат, сто раз на дню сновать взад-вперед по лестницам, гулять и играть с детьми. Нет даже собаки, с которой можно побегать и порезвиться самой. Животных маркиза терпеть не может. Раза два в неделю она выходит из дому, садится в карету и едет прогуляться по Елисейским полям. Маркиза называет это гимнастикой. Беспомощная и слабая, она подымается по лестнице только с помощью слуг, но им не доверяет, так как однажды они ее уронили. В гости она не выезжает, а принимает у себя. Душевные силы маркизы, вся ее энергия уходят на размышления и на беседы. Вести их она большая мастерица и знает про то сама. Разговоры она любит не ради детского тщеславия; меньше всего она заботится о том, чтобы привлечь внимание собеседника, и больше старается высказать те мысли и чувства, которые волнуют ее на самом деле.

Как видишь, существо она беспокойное и нередко в запальчивости судит с горячностью даже о таких вещах, которые мне кажутся маловажными. Вероятно, она никогда не знала счастья, так как по натуре очень требовательна, поэтому совместное существование с маркизой утомительно, хотя я к ней и очень привязана. Руки ее давно отвыкли от дела, но зрение у нее превосходное, и пальцы еще легко движутся, так что она довольно сносно играет на фортепьяно. Но маркиза пренебрегает всем, что отвлекает ее от беседы, и еще ни разу

не просила меня почитать или развлечь ее музыкой. Маркиза говорит, что бережет мои таланты для деревни, куда мы поедем через два месяца и где будем жить почти одни. Мне не терпится туда поехать, так как здесь я все больше сижу на месте. Потом, в комнатах у моей милой госпожи всегда очень жарко. К тому же маркиза беспрестанно душится, а будуар ее заставлен пахучими цветами. Смотреть на них приятно, но воздух такой тяжелый, что нечем дышать.

Но самое главное — я тут тоже ничего не делаю. Я пыталась сначала вышивать, но скоро заметила, что маркизу это раздражает. Она спрашивала меня, уж не решила ли я брать поденную работу, срочный и выгодный ли у меня заказ и т.д., по десять раз отрывала от дела какими-нибудь поучениями — только бы я бросила ненавистное ей вышивание. В конце концов я сдалась, иначе с досады маркиза просто занемогла бы. Она была мне за это очень признательна и, чтобы помешать мне снова взяться за пяльцы, простодушно заявила, что женщины, которые берут в руки иголку и губят глаза шитьем, вкладывают в это занятие больше души, чем это кажется им самим. Таким образом, полагает маркиза, они себя отупляют и уже не чувствуют, до чего тоскливо их существование. Она считает, что шить должны лишь заточенные в тюрьму или очень несчастные девушки. Потом, желая позолотить пилюлю, она добавила, что за шитьем я похожа на горничную, а ей хочется, чтобы гости видели во мне ее друга и наперсницу. Она склоняет меня к непрерывным разговорам и донимает вопросами, чтобы дать мне блеснуть своей рассудительностью. Я же противлюсь изо всех сил, так как, когда меня разглядывают и слушают, ничего умного сказать не могу.

Конечно, я делаю все, чтобы не сидеть сложа руки, и очень сожалею о том, что мой добрый друг (а маркиза действительно мой друг) не хочет принимать от меня никаких услуг. Стоит мне немного замешкаться, она уже звонит горничной, чтобы та подняла носовой платок, и еще сетует на мою преданность, не замечая, как мне досадно, что ничем не могу ее выразить.

Ты спрашиваешь, зачем она взяла меня в компаньонки? Сейчас объясню: маркиза принимает гостей с четырех часов, а до этого, вернее после свидания с маркизом, читает газеты и отвечает на письма. Конечно, это я пишу и читаю за нее. Почему она сама этого не делает, не знаю, ей это вполне под силу. Думаю, одиночество

сильно тяготит маркизу и внушает ей такой страх, что развеять его занятиями невозможно. Что и говорить, в глубине ее ума или сердца таится нечто мне непонятное. Может, ее испортил свет, в котором она слишком много вращалась? Заниматься делом ее уже не научишь, а наедине с собой она, очевидно, думать не умеет.

Когда я появляюсь у нее в полдень, она мало похожа на ту женщину, с которой я накануне рассталась в ее будуаре. Она точно стареет за ночь на десять лет. Я знаю, что горничные подолгу трудятся над ее туалетом, и во время этой церемонии маркиза не произносит ни слова, так как не выносит неправильного, простонародного языка. Несчастные девушки так утомляют ее (вдобавок она, вероятно, сильно страдает от бессонницы), что утром, когда я прихожу к ней, она исення-бледная, еле живая. Но через десять минут все меняется: маркиза заметно веселеет, приободряется и встречает младшего сына, помолодев на десять лет.

О ее письмах распространяться мне не пристало, хотя тайн в них нет: они не связаны ни с требованиями этикета, ни с делами. Маркиза пишет их, так как любит поболтать с друзьями, живущими в других городах. Она говорит, что это одна на возможностей побеседовать и обменяться мыслями с другими людьми, а в этих беседах — ее единственная отрада. Допустим, что это так, только у меня совсем другой вкус. Будь у меня досуг, я с охотой общалась бы только с теми, кого люблю, а ведь вряд ли маркиза любит всех своих корреспондентов — их десятков пять, — которым постоянно пишет, и всех гостей — их две-три сотни, — которых принимает каждую неделю.

Но дело не в моем вкусе, да я и не намерена осуждать женщину, ради которой пожертвовала своей свободой. Это было бы дурно, потому что, не уважай и не почитай я свою госпожу, я без труда могла бы уйти и наняться к другой. Хотя мое благоговение перед маркизой и омрачено некоторыми ее причудами, но, думаю, мне везде пришлось бы столкнуться с такими же, если не худшими, поэтому я не вижу причин особенно возмущаться ими и предпочитаю смотреть на все легко и философски. Словом, сестричка, если я и стану бранить здешние порядки или насмеяться над ними, отнеси это к случайным оговоркам в нашей беседе. Мне просто хочется писать тебе откровенно. Уверяю тебя, что здесь ничего нет такого, что доставляло

бы мне огорчение или неудовольствие. Для меня самое главное то, что маркиза — женщина сильная, искренняя и участливая. Этим-то и привязала меня к себе госпожа де Вильмер, и я с радостью делаю все, чтобы ее рассеять и развеселить. Что там она ни говори, я-то прекрасно знаю, что живу при ней на положении, которому не позавидует и горничная. Я ее раба, но раба по воле своей, и поэтому чувствую себя такой же свободной и незапятнанной, как моя совесть. Чья душа свободнее, чем душа пленника или изгнанника во имя убеждений?

Когда мы расстались с тобой, сестричка, я об этом и не думала. Мне тогда казалось, что разлуку я не перенесу. И что же? Когда я нынче все взвесила, то получилось, что если я и страдала, так от одного неудобства: очень мало я тут двигаюсь. Но теперь и это уладилось, так что можешь обо мне не тревожиться. Из меня вытянули признание, и теперь я могу рано ложиться спать, а утром гулять в саду у дома. Сад небольшой, но я ухитрюсь делать там длинные прогулки, думаю о тебе и мысленно блуждаю по нашим полям и лугам с тобой и детьми. И от этих дум на душе становится так радостно! Да, но я ни слова еще не написала о герцоге д'Алериа. Наверстываю упущенное.

Я встретила с ним всего три дня назад. Увидеть его, признаюсь, мне вовсе не хотелось. Я не могу не испытывать ужаса перед человеком, который разорил свою мать и вдобавок слышет порочнейшим господином на свете. И что же? Каково же было мое удивление, когда наружность его не внушила мне отвращения, хотя и не рассеяла прежней неприязни. Со страху я воображала себе его таким дьяволом с рогами и хвостом... И вот как я встретила с этим исчадием ада, не зная, что это он и есть. Надобно тебе сказать, что с матерью он обходится донельзя странно. Иногда в течение нескольких недель и даже месяцев навещает ее ежедневно, а потом пропадает, и целыми месяцами о нем ни слуху ни духу; когда же он снова появляется, то маркиза и герцог делают вид, будто расстались накануне. Не знаю, как моя госпожа относится к его поведению. Иногда она вспоминает о своем старшем сыне так спокойно и уважительно, словно речь идет о маркизе, но, как ты можешь догадаться, сама я не смею затрагивать столь щекотливую тему.

Правда, однажды маркиза совершенно хладнокровно заметила, что герцог капризен к навещает ее, когда ему заблагорассудится.

Я не сомневалась, что в один прекрасный день он внезапно возникнет в нашем доме, но когда после обеда пошла, по обыкновению, в гостиную проверить, все ли там прибрано так, как велела маркиза, то и думать забыла о герцоге и даже не заметила незнакомца, сидящего в углу на козетке. Я всегда осматриваю лампы и жардиньерки в гостиной, пока маркиза, отобедав, сидит у себя в будуаре, а горничные четверть часа румянят ее и пудрят. Словом, я была поглощена важным делом и, пользуясь случаем, оживленно ходила по комнате, напевая под нос старую песенку, как вдруг, подняв голову, встретилась с большими синими, удивительно ясными глазами, взирающими на меня. Я поклонилась господину и попросила у него извинения. Он приподнялся и попросил извинения тоже, а я, занятая мыслями о гостях и не зная, что сказать этому пришельцу, который всем своим видом, казалось, спрашивал, откуда я взялась, сочла за благо промолчать.

Он встал и, прислонившись к камину, снова уставился на меня скорее благожелательно, чем удивленно. Он был высокого роста, немного грузный, весьма представительный, и — самое удивительное — весьма приятен внешне. Редко встречаешь такое открытое, располагающее к себе и, если угодно, простодушное лицо. Голос у него бархатный и теплый, произношение и манеры утончены и благородны. В малейших движениях этой гремучей змеи есть особое очарование, а в улыбке — что-то совсем детское.

Можешь ты это понять? Я, во всяком случае, была так далека от истины, что, словно притянутая этим добрым взглядом, подошла к камину в полной готовности учтиво и благосклонно ответить незнакомцу, если он пожелает начать разговор. Он, казалось, только того и ждал и непринужденно спросил меня:

— Разве мадемуазель Эстер нездорова? — Голос его звучал вкрадчиво и мягко.

— Мадемуазель Эстер уже два месяца как здесь не живет. Я никогда ее не видела, потому что заменила ее.

— Вот уж нет!

— Я вас не понимаю.

— Скажите лучше, что пришли ей на смену. Весна не может заменить зиму. Она ее стирает из памяти.

— В зиме есть тоже своя прелесть.

— О, вы не знали Эстер! Она была колюча, как декабрьский ветер, и стоило ей подойти к человеку, как у него начинало ломить в суставах.

И тут он принялся расписывать бедняжку Эстер, да так беззлобно и смешно, что я, не удержавшись, расхохоталась.

— Слава богу, вы умеете смеяться? — воскликнул он. — Смех в этом доме! И вы часто смеетесь?

— Конечно, если мне смешно.

— Эстер никогда не было смешно. Впрочем, на то были причины: если бы она рассмеялась, все увидели бы ее зубы. О, ради бога, не прячьте свои! Я уже обратил на них внимание, но словом о них не обмолвился. Ничего на свете нет глупее комплиментов. Смею ли узнать ваше имя? Нет, молчите. В свое время я догадался, как зовут Эстер, и сразу окрестил ее Ревеккой. Видите, какой я сердцевед! Теперь мне хочется отгадать ваше имя.

— Попробуйте.

— Так... Имя у вас чистокровной француженки. Луиза, Бланш, Шарлотта?

— Угадали. Меня зовут Каролина.

— Вот видите! И вы приехали из провинции?

— Из деревни.

— Вот как? Отчего же у вас такие белые руки?.. И вам нравится жизнь в Париже?

— Нет, совсем напротив.

— Бьюсь об заклад, что вас принудили родители...

— Никто меня не принуждал.

— Но вам же здесь скучно? Признавайтесь, правда ведь, скучаете?

— Нет, я никогда не скучаю.

— Вы лукавите!

— Клянусь, что говорю чистую правду.

— Значит, вы очень благоразумны.

— Смею надеяться.

— Может быть, расчетливы?

— Нет.

— Тогда восторженны?

— Гоже нет.

— Так в чем же дело?

— Не знаю.

— Как не знаете?

— Я не знаю за собой ничего такого, что заслуживало бы малейшего внимания. Я умею читать, писать и считать. Немного играю на фортепьяно, отличаюсь покладистым нравом и добросовестно выполняю свои обязанности. Поэтому-то я и живу в этом доме.

— О нет! Вы себя совершенно не знаете. Хотите, я вам скажу, какая вы? У вас живой ум и золотое сердце.

— Вы так думаете?

— Уверен. Глаз у меня наметанный, и людей я вижу насквозь. А вы умеете разгадывать людей с первого взгляда?

— Пожалуй, немного умею.

— А что, к примеру, вы думаете обо мне?

— То же самое, что вы сказали относительно меня.

— Это вы говорите из вежливости или из благодарности?

— Нет, просто я так чувствую.

— Прекрасно, благодарю вас. Право, ваши слова мне очень приятно слышать, и не потому, что вы нашли меня умным. Умны все подряд, ум — достояние благоприобретенное, а вот доброта... Стало быть, вы считаете меня хорошим человеком? Тогда... позвольте мне пожать вам руку.

— Зачем же?

— Сейчас я вам объясню. Неужели вы откажете в такой малости? Я прошу вас об этом из самых чистых побуждений.

Он говорил так искренно и в его облике было что-то такое трогательное, что я, несмотря на необычность его просьбы, проявила необычную уступчивость и доверительно подала руку. Он слегка пожал ее и на мгновение задержал в своей. Глаза его увлажнились, и он произнес немного сдавленным голосом:

— Спасибо вам, и хорошенько заботьтесь о моей матушке.

Я же, поняв наконец, что передо мной герцог д'Алерия и что я дотронулась до руки бездушного распутника, неблагодарного сына,

черствого брата, одним словом — необузданного и бессовестного человека, вдруг почувствовала, как ноги у меня подкашиваются, оперлась о стол и так сильно побледнела, что герцог, заметив это, бросился, чтобы поддержать меня, и воскликнул:

— Что с вами? Вам дурно?

Но тут же остановился, увидев, какой испуг и отвращение он мне внушает, а может быть, только потому, что в гостиную вошла маркиза. От нее не укрылось мое смятение, и она взглянула на герцога, как бы спрашивая, что тут произошло. В ответ он лишь почтительно и нежно поцеловал ей руку и справился о здоровье. Я тотчас же покинула их, чтобы прийти в себя и дать им побеседовать наедине.

Когда я вернулась в гостиную, там уже собралось много гостей, и я принялась болтать с госпожой де Д***, которая очень расположена ко мне и вообще, по-моему, прекрасная женщина. Герцога она просто не выносит. От нее я и узнала, какой он дурной человек. Безотчетное желание совладать с той приязнью, которую он внушил мне при встрече, и побудило меня избрать госпожу де Д*** своей собеседницей.

— Так, — сказала она, точно догадываясь, что со мной творится, и поглядывая на герцога, который разговаривал с гостями, стоя подле матери, — наконец-то вы встретились с нашим баловнем! Что же вы о нем скажете?

— Он человек учтивый, хорош собой, и от этого я осуждаю его еще больше.

— Вы правы! Он наверняка очень здоровая натура. Просто невероятно, как после стольких лет беспутной жизни он все еще красив и остроумен. Но не вздумайте ему довериться. Он самый большой развратник на свете, но может отлично прикинуться самой добродетелью, если задумает вас погубить.

— Меня? О нет. Мое положение приживалки спасет меня от его благосклонности.

— Вы ошибаетесь. Вот увидите! Я уже не говорю о том, что ваши достоинства ставят вас выше этого положения. Это каждому видно. Но ему довольно знать, что вы честная девушка, чтобы захотеть сбить вас с пути.

— Не пытайтесь запугать меня. Если б я знала, что в этом доме меня могут оскорбить, я бы и часу не прожила тут, сударыня.

— Нет, этого вам бояться не следует. С достойными людьми он обходится достойно и никогда не позволит себе с вами какой-нибудь неприличной выходки. Если же вы не остережетесь, он уверит вас в том, что он кающийся ангел или непризнанный святой, и тогда вы в ловушке.

Госпожа де Д*** произнесла последние слова с явным сочувствием, что покорило меня. Я хотела ответить ей, но вспомнила, что как-то слышала от другой престарелой дамы, будто дочь госпожи де Д*** была серьезно скомпрометирована герцогом. При виде его бедная женщина, должно быть, очень страдает, и я понимаю, почему эта добрая и снисходительная особа говорит о герцоге с такой горечью. Однако я не могу взять в толк, отчего она, которая дрожит от гнева при одном упоминании имени герцога, всякий раз заводит о нем речь, стоит нам остаться наедине. Она, верно, думает, что мне на роду написано угодить в сети этого Ловеласа, и мстит ему тем, что отвоевывает у него мою бедную душу.

Подумав, я нашла ее опасения немного смешными и, не желая ни сердиться на нее, ни беречь былую боль, решила впредь избегать всяких разговоров о ее заклятом враге. Герцог, впрочем, за весь вечер не перемолвился со мной и словом и с тех пор больше не показывался в доме. И если я и подвергаюсь опасности, то все еще ее не замечаю. Но ты можешь не волноваться, как не волнуюсь я, ибо ни капельки не боюсь людей, которых не уважаю...»

Далее Каролина писала о других встречах и обстоятельствах, которые поразили ее воображение. Поскольку эти частности не имеют прямого отношения к повествованию, мы на время умолчим о них, в ожидании, что они всплывут в рассказе своим чередом.

IV

Примерно в ту же пору Каролина получила письмо, глубоко растрогавшее ее. Мы его воспроизводим, исправив орфографические ошибки и знаки препинания, которые затруднили бы чтение.

«Милая моя Каролина, дозвольте кормилице вашей звать вас по старинке этим именем. От вашей сестры, утешившей меня письмецом, я узнала, что вы уехали из дому и поступили компаньонкой в Париже. Не могу сказать вам, до чего горько думать, что такой барышне, как вы, на глазах моих родившейся в довольстве, пришлось пойти в люди, а как подумаю, что сделали вы это от доброго сердца да из-за того, чтобы Камилле с детками лучше жилось, так плачу, плачу, не переставая. Милая моя барышня, могу вам сказать одно, что благодаря вашим щедрым родителям жизнь моя не из самых худых. У мужа моего хорошее место, немножко он промышляет торговлей. На эти деньги мы обзавелись домом, прикупили земли. Сын у меня в солдатах, а ваша молочная сестра удачно вышла замуж. Поэтому, если когда-нибудь вам понадобятся несколько сот франков, будем рады дать их вам займы бессрочно и без процентов. Приняв деньги, вы окажете нам честь и обрадуете людей, которые вас всегда любили. Муж мой знает вас только по моим рассказам, но почитает вас и все говорит: „Приехала бы к нам Каролина, погостила бы, сколько душе угодно, а раз она любит ходить пешком и не устает, мы отправились бы с ней в горы. Захочет, так может остаться в деревне, в школе будет учительствовать; правда, кошелек у нее от этого не распухнет, зато тратиться особенно не на что, и, верно, вышло бы то же самое, что в Париже, где такая дороговизна“. Я вам написала слово в слово, как говорит Пейрак, и если сердце вам подскажет, так приготовим вам чистую комнатку и покажем наш дикий край. Вас ведь горами не испугаешь: маленькой вы любили везде лазать, а папенька ваш называл вас „моя козочка“. Помните, милая барышня, что если вам плохо живется в услужении, то в незнакомой вам деревне есть люди, которые считают вас лучше всех на свете и молятся о вас

денно и ночью, прося господу, чтобы дорогая барышня приехала к ним.

Жюстина Ланьон, по мужу Пейрак
(в Лантриак через Пюи, Верхняя Луара)»

Каролина ответила без промедления.

«Добрая моя Жюстина, милый мой друг, как я плакала над твоим письмом, плакала от радости и благодарности. Я счастлива, что ты привязана ко мне по-прежнему, что четырнадцать лет, прошедшие со дня нашей разлуки, ничего не переменили. Этот день остался в памяти самым мрачным днем, какой мне случалось пережить. Ты была для меня второй матерью, и утратить тебя значило осиротеть во второй раз. Милая моя кормилица, ты так любила меня, что почти забыла своего славного мужа и деточек. Но они позвали тебя, и ты должна была жить с ними, и, судя по твоим письмам, в семье ты узнала счастье. Они отплатили тебе сторицей за меня, потому что ты отдала мне все безраздельно, и я часто думаю, что если во мне есть что-то доброе и толковое, то все потому, что ты была первой, кого научились узнавать мои глаза, кто любил меня, умно и заботливо пестовал. А теперь, добрая моя душа, ты хочешь отдать мне свои сбережения? Как ты по-матерински нежна ко мне, как прекрасен и великодушен муж твой, которого я не знаю. От всего сердца благодарю вас, славные мои друзья, только я ни в чем не нуждаюсь. Живу в полном достатке, хорошо и счастливо, насколько возможно в разлуке с милыми домочадцами.

Тем не менее я не теряю надежды с вами повидаться. Ты пишешь о чистой комнатке и о красивом диком крае, и мне уже до смерти хочется побывать в твоей деревне и посмотреть на твое хозяйство. Правда, не знаю, найдутся ли у меня свободные две недели, но не сомневайся, что при малейшей возможности я проведу их у моей любимой кормилицы, которую обнимаю от всего сердца».

Пока Каролина предавалась этим сердечным излияниям, герцог Гаэтан д'Алериа, облачившись в чудесный турецкий халат, беседовал с братом, который посетил в этот ранний час его особняк на Рю де ла

Пэ. Они говорили о делах, и между братьями возник довольно горячий спор.

— Нет, друг мой, — запальчиво возражал герцог, — на сей раз я не сдамся, не позволю вам подписать бумаги и не дам заплатить мои долги.

— Я заплачу их, — решительно отвечал маркиз. — Это необходимо, и это моя обязанность. Честно говоря, я поначалу колебался, так как не знал суммы, но моя нерешительность не должна покоробить ваших чувств. Я боялся, как бы взятые обязательства не превысили моих возможностей, но теперь уже знаю, что на оставшиеся деньги сумею обеспечить благополучие нашей матушки. Отныне ничто не помешает мне спасти семейную честь, и вы не имеете права этому противиться.

— Нет, этого я не допущу. Вы не обязаны приносить мне такую жертву. Мы носим разные имена.

— Но рождены одной матерью, и я не хочу, чтобы она, увидев вас несостоятельным должником, умерла от стыда и горя.

— Подобный позор для меня еще страшнее, чем для нашей матушки. Я женюсь.

— На деньгах? Вы прекрасно знаете, что для матушки, для меня и для вас тоже это будет горьким испытанием.

— Тогда я подыщу себе должность.

— Это еще хуже.

— Но страшнее вашего разорения ничего и придумать нельзя.

— Вы меня не разорите.

— Могу я хотя бы знать сумму?

— Совершенно ни к чему. Я вполне удовлетворен вашим словом, что у вас сейчас нет долгов, неизвестных нотариусу, который ведает делами. Я просил вас только проглядеть некоторые бумаги, чтобы удостовериться, не вкралась ли в них ненароком ошибка.

Вы подтвердили их законность. Этого достаточно, остальное вас не касается.

Герцог гневно скомкал бумаги и зашагал большими шагами по комнате, не находя слов, чтобы выразить свое отчаяние. Потом он закурил сигару, отложил ее в сторону и, сильно побледнев, бросился в кресло.

Маркиз понимал, как была уязвлена его гордыня, а может быть, и совесть.

— Успокойтесь, — сказал он. — Я сочувствую вашему горю, но полагаю, что оно послужит вам добрым уроком на будущее. Не думайте об услуге, которую я оказываю скорее матушке, чем вам, но помните, что отныне остаток состояния принадлежит ей. Думайте о том, что нам, может, посчастливится продлить ее жизнь на долгие годы и что нельзя ей причинять страдания. Прощайте. Встретимся через час, чтобы уладить все мелочи.

— Да, да, оставьте меня сейчас одного, — сказал герцог. — Вы сами видите — я не в силах продолжать разговор.

Едва маркиз удалился, как герцог вызвал лакея, велел никого не принимать и в глубоком волнении принялся шагать из угла в угол. В этот час он пережил неотвратимый и мучительный перелом. Он не раз попадал в беду, но никогда еще так остро не ощущал своей вины и так в ней не раскаивался.

Прежде он действительно проматывал свое состояние жадно и беспечно, так как знал, что губит одного себя. Герцог, так сказать, злоупотреблял наследным правом. Потом, не вполне ведая, что творит, он принялся и за материнские деньги, прокутил их и уже даже не терзался унижительной мыслью о том, что обязанность поддерживать мать целиком возложена им на плечи маркиза. Заметим, что герцогские безумства были отчасти извинительны. Он был непростительно избалован. Мать всегда выказывала ему явное предпочтение, да и природа явно благоволила герцогу: он был выше ростом, намного красивее, сильнее, представительней и, вероятно, жизнеспособней брата; ласковый и общительный, он с детства казался всем гораздо одареннее и приятнее маркиза.

Тот же, болезненный и замкнутый с колыбели, отличался только пристрастием к наукам, но то, что составило бы неоспоримое достоинство у простолюдина, выглядело у аристократа странной причудой. Любомудрие в нем подавляли, а не поощряли, и именно поэтому оно превратилось в подлинную страсть, страсть всепоглощающую и предосудительную в чужих глазах, которая породила в его молодой душе тонкую восприимчивость и жажду к учению тем более пылкую, что она таилась под спудом. Маркиз намного превосходил брата сердечной теплотой, но слыл человеком

холодным, а герцога, который не любил никого, но всегда был учтив и общителен, почитали пламенной натурой.

Этот бурный и обманчивый темперамент герцог унаследовал от отца, а его живость в юности тревожила маркизу. Читателю известно, что после смерти второго мужа она пребывала в полубезумном состоянии и боялась приближаться к своим детям. Но как только материнские чувства возобладали над душевным расстройством, маркиза сразу заключила в объятия сына возлюбленного супруга. Мальчик, удивленный и даже напуганный порывистыми ласками, от которых успел отвыкнуть, принялся плакать, сам не зная почему. Эти его слезы явились, вероятно, смутным и бессознательным укором ребенка, брошенного на произвол судьбы. Герцог, будучи старше брата на три года и по природе менее вдумчивый, ничего не заметил. Он охотно отвечал поцелуями на поцелуи матери, и бедная женщина решила, что это чадо и унаследовало ее сердце, тогда как маркиз пошел в деда с отцовской стороны, старого ученого маньяка. Словом, она втайне стала предпочитать герцога, но, обладая добрым запасом христианской справедливости, особенно его не баловала, зато чаще ласкала, думая, что только он может оценить эти знаки материнской любви.

Урбен (маркиз) чувствовал это предпочтение и мучился, хотя никогда не жаловался. В душе он, возможно, уже осуждал поведение брата, но не желал оспаривать первенство по столь несерьезному поводу.

Со временем маркиза поняла свою ошибку, поняла, что о чувствах судят не по словам, а по поступкам; однако привычка во всем потакать своему блудному чаду укоренилась, а к ней скоро прибавилась материнская жалость к беспечному повесе, который благодаря своим безумствам шел к неминуемой катастрофе. Но не развращенность души была причиной герцогских безумств. Поначалу тщеславие, потом опьянение молодостью, наконец торжество безволия и тирания порока — вот в нескольких словах история этого человека, любезного, но не утонченного, доброго, но не великодушного, скептика, но не безбожника. В описываемую нами пору вместо совести в его душе зияла пустота, однако совесть его не умерла — она просто отсутствовала. Он еще терзался раскаянием и угрызениями, боролся с собой, но они быстро исчезали и

возвращались реже, чем в юности, зато острота их, пожалуй, все возрастала, и на сей раз внутренний разлад был так мучителен, что герцог не раз хватался за пистолет, словно его подталкивал призрак самоубийства. Но, вспомнив о матери, он отбросил оружие прочь, запер его и схватился за голову, охваченный страхом, что вот сейчас сойдет с ума.

Деньги он презирал всегда, а материнская теория благородного бескорыстия лишь ускорила его скольжение по наклонной плоскости софизмов. Тем не менее он понимал, что, разорив мать, злоупотребил своими правами, но постарался забыть об этом, дав себе слово не запускать руку в наследство брата, и все-таки промотал его значительную часть. Правда, действовал он как-то бессознательно, а маркиз из деликатности не входил с ним в мелочные расчеты и никогда не заговорил бы с герцогом об этом, если бы не считал необходимым воззвать к его чести ради сохранения того, что еще не было растрачено. Герцог, не чувствуя себя виновным в предумышленном эгоизме, с полной искренностью осыпал Урбена градом упреков за то, что тот не предупредил его раньше. Он наконец увидел, какая пропасть разверзлась перед ним из-за его мотовства и беспечности. Герцог был смертельно унижен тем, что поставил под угрозу будущее Урбена и что теперь принужден исправлять свои ошибки, поступаясь строгими принципами, внушенными ему матерью и воспитанием.

Однако этот его проступок был меньшим преступлением, нежели разорение маркизы. Герцог же смотрел на это иначе. Ему всегда казалось, что материнские деньги в равной мере принадлежат и ему, тогда как в расчетах с братом самолюбие подсказывало ему понятия «твое» и «мое». Да оно и понятно. Братья, столь различные меж собой, не питали друг к другу постыдной неприязни, но и не чувствовали особого доверия и расположения. Жизнь одного как бы постоянно перечеркивала жизнь другого, и Урбену стоило больших душевных усилий, чтобы голос крови заговорил в нем голосом дружбы. Гаэтан и не помышлял о подобной близости. Полностью полагаясь на свою пресловутую незлобивость, он позволял себе насмехаться над строгими нравами маркиза. Поэтому большую часть времени они обходились друг с другом так: один деликатно

сдерживал свое осуждение, другой непринужденно отпускал шпильки.

— Стало быть, дела улажены? — воскликнул герцог, завидя входящего маркиза. — По вашему лицу вижу, что бумаги подписаны.

— Да, друг мой, — отвечал Урбен, — все улажено. Вам остается двенадцать тысяч ливров ренты, которые я не позволил включить в погашение.

— Мне остается? — спросил Гаэтан, глядя маркизу прямо в глаза. — Не нужно меня обманывать. У меня нет ни греша, а вы, уплатив мои долги, назначили мне теперь пенсию.

— Хорошо, допустим, — ответил маркиз. — Надо же вам когда-нибудь узнать, что вы не вольны распоряжаться капиталом.

Герцог, не зная, что предпринять, так стиснул руки, что хрустнули пальцы, и погрузился в молчание. Маркиз, с трудом преодолевая привычную сдержанность, сел подле Гаэтана и, коснувшись его сжатых рук, как бы противившихся этому прикосновению, сказал:

— Друг мой, вы чересчур высокомерны со мной. Неужели, оказавшись на моем месте, вы поступили бы иначе по отношению ко мне?

Герцог почувствовал, что сердце его дрогнуло, и разразился слезами.

— Нет, — воскликнул он, крепко сжимая руки маркиза, — я не сумел бы да и не посмел бы так поступить, потому что мой удел — причинять зло, а спасти чужие жизни — это счастье не для меня.

— Но вы хотя бы понимаете, что это счастье, — продолжал Урбен. — Отныне считайте меня своим должником и верните мне дружбу, которая гибнет от вашей уязвленной гордости.

— Урбен! — сказал герцог. — И ты еще говоришь о моей дружбе? Сейчас самое время мне рассыпаться перед тобой в благодарностях, но я этого не сделаю. Я никогда не надену лицемерной маски, никогда не паду так низко. Знаешь ли ты, брат, что я всегда тебя недолюбливал?

— Да, знаю и объясняю это различием наших вкусов и душевного склада. Но разве не пробил час нам полюбить друг друга?

— Но этот час ужасен! В этот час ты торжествуешь, а я унижен. Скажи мне, что, не будь матушки, ты бросил бы меня на произвол

судьбы! Да, ты должен мне сказать честно, к тогда я прощу тебе твой поступок.

— Разве я тебе об этом не говорил?

— Скажи еще раз... Ты колеблешься? Стало быть, это вопрос чести.

— Да, если угодно, вопрос чести.

— И ты не требуешь теперь от меня большей любви, чем я питал к тебе прежде?

— Я знаю, что такова моя участь, — грустно отозвался маркиз. — Я не рожден быть любимым.

Эти слова окончательно покорили герцога, и он бросился в объятия маркиза.

— О, прости меня! — воскликнул Гаэтан. — Ты лучше меня. Я уважаю тебя, восхищаюсь тобой, почти благоговею. Теперь я знаю, что ты мой лучший друг. Господи, что мне для тебя сделать? Может, ты любишь женщину и нужно убить ее мужа? Или хочешь, я поеду в Китай за редким манускриптом в какую-нибудь пагоду, рискуя попасть в колодки или подвергнуться другому, столь же приятному испытанию?

— Ты, Гаэтан, только и думаешь, как со мной расквитаться. Люби меня чуть больше и считай, что заплатил за все сторицей.

— Я люблю тебя от всего сердца, — отвечал герцог, обнимая брата. — Ты видишь, я плачу как ребенок, но и ты уважай меня хоть немного. Я стану лучше, ведь я еще молод, черт возьми. В тридцать шесть лет еще не все потеряно. Правда, я уже поразратил себя, но я остепенюсь... Тем более что ничего другого мне не остается. Все еще сложится прекрасно. Я поправлю здоровье, помолодею. Летом поеду с тобой и матушкой в деревню, буду рассказывать забавные истории, стану смешить вас... Ты только помоги мне в этих планах, поддержи, не оставь, утешь! Ведь я зашел в тупик, и мне сейчас очень плохо.

Маркиз сразу же заметил исчезновение пистолета, который еще час назад лежал на столе, но не подал вида. По лицу брата он, впрочем, понял, какой мучительный душевный перелом в нем только что произошел. Он знал, что силе духа Гаэтана положены известные пределы.

— Одевайся, — сказал ему маркиз, — поедem завтракать. Поболтаем, потешим себя химерами. Может быть, я и докажу тебе,

что иногда человек богатеет в тот день, когда утрачивает все.

Маркиз повез брата в Булонский лес, который в ту пору еще не был великолепным английским садом, а всего лишь прелестной рощей, тенистой и укромной. Стояли первые апрельские дни. Погода была превосходная, на полянах синим ковром распускались фиалки, и стайки непоседливых синиц щебетали кружа у распутившихся почек, а бабочки-лимонницы, эти вестницы весенних погожих дней, робко порхали, словно трепетали на ветру едва появившиеся, еще желтоватые листочки.

Обычно маркиз завтракал дома, но, говоря по правде, он не умел есть в гастрономическом смысле этого слова. Он заказывал нехитрое кушанье, которое поспешно проглатывал, не отрывая глаз от книги, лежащей возле тарелки. Привычная воздержанность маркиза полностью отвечала его строгой бережливости: ведь он не позволял себе никаких лакомств, дабы на материнском столе не переводились изысканные блюда.

Желая скрыть это от брата и боясь огорчить его скромностью своего жилища, он пригласил герцога в ресторан и заказал прекрасный завтрак, утешая себя тем, что купит на несколько книг меньше, а при случае, подобно бедняку-ученому, прибегнет к услугам общественных библиотек. Эти мелкие жертвы не удручали и не пугали маркиза; он даже не думал о слабом своем здоровье, которое требовало житейского комфорта. Маркиз был счастлив тем, что между ним и братом лед уже сломан и что отныне можно рассчитывать на привязанность и доверие Гаэтана. Бледный, усталый и озабоченный герцог постепенно приходил в себя, наслаждаясь весенним воздухом, который свободно проникал в открытое окно. Завтрак поддержал его силы: герцог был натурой здоровой, неспособной к воздержанию, — недаром его мать, любившая при случае упомянуть о своем родстве с бывшим царствующим домом, не без гордости говорила, что герцог унаследовал прекрасный аппетит от Бурбонов.

Через час герцог уже непринужденно болтал со своим братом и первый раз в жизни был с ним таким любезным и беспечным, каким его знали в свете. Вероятно, между братьями и раньше возникало

робкое взаимопонимание, но они никогда не давали ему хода и, уж конечно, не разговаривали откровенно. Маркиз замыкался в себе из скромности, герцог — из равнодушия. Однако на сей раз герцогу и вправду захотелось узнать человека, который спас его честь и обеспечил будущее. Поэтому он расспрашивал брата с тем участием, которое раньше за ним не водилось.

— Объясни, отчего ты счастлив, — спрашивал герцог. — А ведь ты действительно счастлив. Во всяком случае, я никогда не слышал, чтобы ты жаловался.

Ответ маркиза сильно удивил герцога.

— Во мне есть душевные силы только потому, что я предан матушке и люблю науку, — сказал Урбен, — а счастья я никогда не знал и не узнаю. Наверное, мне следовало бы об этом умолчать, так как я хочу тебе привить вкус к тихой и уединенной жизни. Кривить душой в нашей беседе кажется мне преступным, да я и не стану изображать ходячую добродетель, хоть ты меня в этом и упрекал.

— Да, правда. Я признаю, что ошибался. Но отчего ты несчастен, друг мой? Ты мне можешь это сказать?

— Сказать не могу, но довериться хочу. Я любил одну женщину.

— Ты? Любил? Когда же?

— Давно, и любил ее долго.

— Ты больше ее не любишь?

— Ее нет в живых.

— Она была замужем?

— Да, супруг ее здравствует и по сей день. Позволь мне не называть ее имени.

— Оно не суть важно, но... ведь твое горе со временем пройдет?

— Не знаю. Покамест не проходит.

— И давно она умерла?

— Три года назад.

— Она тебя очень любила?

— Нет.

— Как нет?

— Она любила меня так, как любит женщина, которая не может и не хочет порывать со своим мужем.

— Разве это причина? Такие преграды лишь разжигают страсть.

— И убивают ее. Эта женщина устала лгать и огрызаться, но не порывала со мной, так как боялась огорчить меня. Я был постыдно малодушен, и она умерла от горя и... по моей вине.

— Полно! Зачем ты мучаешь себя этими бреднями?

— Это не бредни. Горе мое безысходно, а ошибка непростительна. Рассуди сам: в порыве страсти, когда вопреки богу и людям хочешь навеки слиться с любимым существом, я сделал ее матерью. Она подарила мне сына, которого я спас, укрыл, и он жив по сей день. А она, желая избежать подозрений, появилась в свете сразу же после родов. В тот вечер она была весела и прекрасна, вела беседы, оживленно сновала меж гостей, хотя ее сжигала горячка. А через сутки она умерла. Так никто ничего и не узнал. Она слыла женщиной самых строгих правил...

— Я знаю, о ком ты говоришь. Это госпожа де Ж***.

— Да, ты один знаешь эту тайну.

— И я ее сохраню. А матушка не догадывается об этом?

— Она ни о чем не подозревает.

Герцог некоторое время молчал, потом со вздохом заметил:

— Бедный мой друг! Твой мальчик жив, и ты его, верно, очень любишь...

— Конечно!

— А я разорил и его!

— Пустяки! Лишь бы хватило средств его выучить, сделать человеком, а большего я и не смею желать. Я никогда не смогу признать его своим сыном и в течение нескольких лет не хочу приближать к себе. Он родился очень слабенький, и я его отдал в деревню на воспитание к крестьянам. Ему надо вырасти и обрести физическую силу, которой недостает мне. Вероятно, поэтому я всегда и ощущаю недостаток душевных сил. К тому же перед смертью госпожи де Ж*** врач ненароком обмолвился, и ее супруг заподозрил, в чем дело. Я еще долго не должен видаться с этим ребенком, ровесником того мрачного события. Теперь ты понимаешь, Гаэтан, могу ли я быть счастливым?

— Эта страсть и помешала твоей женитьбе?

— Я все равно не женился бы, я дал обет.

— Хорошо, об этом мы еще поразмыслим.

— И это ты станешь уговаривать меня жениться?

— Да, я, почему бы и нет? Напрасно ты думаешь, что я презираю брак. В том возрасте, когда я еще мог выбирать, я пренебрегал женитьбой, так как было лень искать супругу. Когда же я разорился, все осложнилось. Моя мать никогда не позволила бы мне жениться на богатой, но не знатной особе, а я, будучи знатным и без гроша, принужден искать только богатую невесту. Ты знаешь, что при всей моей испорченности убеждения нашей матери для меня святыня. Словом, я видел, как быстро падают мои шансы, и сейчас, вздумай какая-нибудь девица или вдова, богатая или родовитая, выйти за меня замуж, я составлю о ней самое нелестное мнение. Я буду абсолютно убежден, что к браку с таким негодяем, как я, ее склоняют неблагоприятные и темные причины. У тебя же, Урбен, положение совсем другое. По моей вине ты вынужден жить скромно, а может быть, даже бедно. Но твои личные достоинства от этого не страдают, отнюдь. Они вырастают в глазах каждого, кто знает причину твоей бедности. Поэтому вполне вероятно, что молодая, чистая девушка с хорошим приданым проникнется к тебе уважением и любовью. Тебе же стоит только захотеть и показать, каков ты есть на самом деле.

— Нет, я умею показывать себя только с невыгодной стороны. Свет меня парализует, а слава ученого человека приносит больше вреда, чем пользы. Общество не понимает, как это человек, рожденный для светской жизни, упрямо пренебрегает ею. Словом, ты видишь, что искать любви мне просто невозможно. Слишком пусто и тяжело у меня на сердце.

— Но зачем так долго оплакивать женщину, которая не сумела найти счастья в твоей любви?

— Я любил ее, я! Может быть, в ней я любил свою любовь. Увы, я не из тех, кто с каждой новой весной возрождается для жизни. Все у меня в груди перегорело.

— Ты слишком много читаешь и думаешь!

— Вероятно. Поедем, брат, в деревню. Ты ободришь меня, сможешь успокоиться, хочешь? Ты же обещал. Мне действительно нужен друг, а его у меня нет. Эта тайная страсть поглотила меня целиком, и твоя дружба может вернуть мне молодость.

Доверчивая и простодушная откровенность брата глубоко растрогала герцога. От маркиза он ждал нравоучений, советов, утешительных речей, которые дали бы ему почувствовать, как он слаб,

а брат — тверд душой. Но, вопреки ожиданиям, не он, а Урбен просил об участии и поддержке. Действительно ли маркиз нуждался в его дружбе или заговорил о ней, движимый своей редкостней деликатностью, так или иначе герцог был слишком умен, чтобы его воображение не поразила перемена ролей. Он ответил брату искренней симпатией и нежной заботой, и, проведя в Булонском лесу весь день за беседой, братья, наняв фиакр, поехали обедать к матери.

Маркиза уже несколько дней пребывала в сильном волнении. Она боялась, как бы Урбен, узнав о том, как велики герцогские долги, не отказался заплатить их. При всем своем глубочайшем уважении к Урбену, госпожа де Вильмер не представляла себе, на что способно его бескорыстие. Так как Урбен не нанес ей утром обычного визита, маркиза серьезно встревожилась. Но увидев на пороге своих сыновей, она сразу же заметила, каким спокойствием светятся их лица, и догадалась о том, что произошло; потом, не имея возможности расспросить братьев в присутствии засидевшегося гостя, с ужасом решила, что ошиблась и что ни герцог, ни маркиз попросту не знают истинного положения дел.

За обедом, однако, она обратила внимание на то, что сыновья говорят друг другу «ты». Сомнения ее рассеялись, но так как при слугах и Каролине маркиза не желала выказывать своих чувств, то, дабы скрыть радость, она напустила на себя неумеренную веселость, меж тем как крупные слезы счастья текли по ее увядшим щекам. Каролина с маркизом заметили эти слезы. Каролина бросила на Урбена тревожный взгляд, точно спрашивая, что с маркизой — опечалена она или, напротив, чему-то очень рада. Маркиз взглядом унял ее беспокойство, а герцог, подглядев эту немую и мимолетную беседу, лукаво и добродушно улыбнулся. Каролина и маркиз не видели его улыбки: их взаимная симпатия была слишком прямодушна. Каролина по-прежнему презирала герцога и сердилась на него за то, что всем он кажется добрым и привлекательным. Правда, она подозревала, что госпожа де Д*** несколько преувеличила его пороки, но, одержимая невольной и смутной боязнью, старалась не смотреть на герцога, сидящего напротив нее, и силилась забыть его лицо. Когда слуги удалились, беседа за десертом сделалась более непринужденной, и Каролина робко осведомилась у маркизы, не отстают ли часы.

— Нет, еще не время, деточка, — растроганно отозвалась госпожа де Вильмер.

Каролина поняла, что нужно досидеть до конца обеда.

— Итак, друзья мои, — обратилась маркиза к сыновьям, — хорошо ли вы завтракали вдвоем в Булонском лесу?

— Да, как Пилад с Орестом, — ответил герцог. — Вы даже не представляете себе, дорогая матушка, как это было чудесно. К тому же я сделал удивительное открытие: у меня очаровательный брат. Конечно, это слово в применении к нему кажется вам, вероятно, легковесным, но я в него вкладываю самый серьезный смысл. Замечательный ум иногда оборачивается и замечательным сердцем, а мой брат обладает и тем и другим.

Маркиза улыбнулась, потом задумалась, и облако сомнений окутало ее душу. «Жертва Урбена недостаточно тронула Гаэтана, — подумала она. — Слишком легко он свыкся со своим новым положением. Может быть, у него нет гордости? Боже мой, тогда он пропал!»

Урбен заметил мрачную тень на лице матери и поспешил ее рассеять.

— Я не стану утверждать, что мой брат гораздо очаровательнее меня, — с милой беспечностью сказал он маркизе. — Это слишком очевидно. Но я сообщу вам о другом моем открытии: у брата глубокий и проницательный ум, который уважает только то, что истинно. Да, — добавил он, невольно отвечая на изумленный взгляд Каролины, — в нем есть настоящая душевная чистота, скрытая для чужого глаза, которую до сих пор я не ценил по достоинству.

— Дети мои, — сказала маркиза, — я с удовольствием слушаю ваши взаимные дифирамбы. Вы мягко касаетесь самых чувствительных струн материнской гордости, и я убеждена, что вы оба правы.

— Обо мне вы так судите потому, — заметил герцог, — что вы лучшая из матерей. Но вы слепы. Я ничего не стою, и грустная улыбка мадемуазель де Сен-Жене ясно свидетельствует о том, что вы заблуждаетесь так же, как и мой брат.

— Разве я улыбалась и вдобавок еще грустно? — изумленно спросила Каролина. — Честное слово, я все время смотрела на этот графин и раздумывала о качествах богемского стекла.

— Не рассчитывайте нас убедить в том, — возразил Гаэтан, — что вы думаете только о хозяйственных делах. Убежден, что ваши мысли витают гораздо выше этого графина и вы свысока судите о людях и о жизни.

— Я не смею никого осуждать, сударь.

— Тем хуже для тех, кто не удостоивается вашего суждения. Как бы оно ни было сурово, люди только выиграли бы, узнав его. Я, к примеру, люблю, когда обо мне судят женщины, и предпочитаю выслушать из их уст чистосердечное неодобрение, чем терпеть молчаливое презрение и недоверие. Я считаю, что только женщины действительно могут оценить наши изъяны и наши достоинства.

— Но, сударыня, — с притворным отчаянием обратилась Каролина к госпоже де Вильмер, — скажите вашему сыну, что я не имею чести близко знать его и живу в этом доме не для того, чтобы мысленно живописать портреты на манер Лабрюйера.

— Милое дитя, — ответила маркиза, — вы здесь на правах моей приемной дочери, которой все дозволено, потому что всем известны ее редкая сдержанность и прелестная скромность. Поэтому отвечайте моему сыну не робея и не сердитесь, если он над вами дружески подшучивает. Он знает вам цену не хуже меня и всегда будет выказывать вам полное уважение, безусловно вами заслуженное.

— На сей раз, матушка, я ваш комплимент принимаю, — с подкупающим чистосердечием отвечал герцог. — Я питаю глубочайшее уважение к любой чистой, великодушной и преданной особе, а стало быть, и к мадемуазель де Сен-Жене.

Каролина не покраснела и не пробормотала слов благодарности, как чопорная компаньонка. Она посмотрела герцогу прямо в глаза и, поняв, что он над ней не насмехается, мягко сказала:

— Отчего же его сиятельство, так высоко меня ставя, полагает, что я смею о нем дурне думать?

— Ах, на то есть причины, — ответил герцог. — Я вам их открою, когда мы познакомимся поближе.

— Вот как! А зачем откладывать? — заметила маркиза. — Сейчас самое время.

— Будь по-вашему, — согласился герцог. — История эта забавная, и я вам ее расскажу. Третьего дня, дорогая матушка, я сидел в вашей гостиной и в одиночестве поджидал вас. Удобно устроившись на

козетке, я дремал в уголке — утром я страшно устал, объезжая норовистую лошадь, — и размышлял о приятных свойствах этих стеганых кресел точно так же, как мадемуазель де Сен-Жене раздумывала о достоинствах богемского стекла. И вот что пришло мне в голову: как удивились бы эти диванчики и кресла, попади они на конюшню или в стойло. И как смутились бы наши гости, прелестные дамы в атласных платьях, найдя вместо этих мягких козеток соломенные подстилки!

— Но в ваших фантазиях нет ни капли смысла! — смеясь заметила маркиза.

— Совершенно верно, — подхватил герцог, — это были фантазии слегка пьяного человека.

— Что вы такое говорите, сын мой!

— Ничего худого, дорогая матушка. Я вернулся домой голодный, усталый, умирая от жажды и слегка опьянев от свежего воздуха. Но так как вы знаете, что от воды мне делается дурно, а жажда мучила нестерпимо, я утолил ее и снова опьянел. Вот и все. Вам известно, что в таком состоянии я нахожусь обычно не больше четверти часа и умею нужное время посидеть в укромном уголке. Поэтому, вместо того чтобы пройти в столовую и поцеловать вам за десертом руку, я проскользнул в гостиную.

— Ну, ну, — сказала маркиза, — а теперь ускользните от ваших путаных мыслей и переходите к делу.

— Я уже к нему перешел, как вы сейчас увидите, — ответил герцог.

Поскольку, прежде чем приступить к рассказу, герцог проплотил слюну, Каролина поняла, что он находится в том состоянии, которое только что описывал, и что, быть может, теперешней своей говорливостью он до некоторой степени был обязан выдержанным винам маркизы. Но герцог быстро привел свои мысли в порядок и непринужденно заговорил:

— Говоря по правде, я размечтался, но ясного ума не терял. Напротив, перед глазами прошла вереница чудесных видений. С соломенной подстилки, разостланной на паркете моим воображением, поднялись причудливые существа. Это были только женщины: одни словно нарядились на старинный придворный бал, другие — на фламандскую кермессу. Дамы цеплялись фижмами и

кружевами за свежую солому, которая стесняла их движения и царапала прелестные ножки; гости же попроще, в коротких юбках и грубых сабо, резво ее топтали и, хохоча во все горло, потешались над светскими щеголихами. Здесь царил настоящий праздник плоти, совсем как на рубенсовских полотнах. Толстые руки, румяные щеки, могучие плечи, внушительные носы на лоснящихся лицах, живые глаза и пышные прелести, пухлые, как ваши кресла, матушка, которые и пережили волшебное преобразование. Иначе непонятно, с чего эти женщины мне примерещились.

Прекрасные толстухи безудержно веселились и скакали, да так грузно, что звенели хрустальные подвески на канделябрах. Толстухи падали на солому, а потом поднимались с трухой в огненно-рыжих волосах. Меж тем знатные кокетки выделяли фигуры чинного танца, но то и дело останавливались: соломинки набивались им в оборки, румяна от жары расплывались по лицу, пудра осыпалась с плеч, обнажая их худобу и упловатость. В выразительных женских глазах застыла смертельная тоска. Они, очевидно, боялись, как бы солнечный свет не подчеркнул заемность их прелестей, и гневались на то, что жизнь торжествует над ними.

— Сын мой, — заметила маркиза, — к чему вы ведете и что все это значит? Зачем вы сочиняете панегирик простолюдинкам?

— Я не сочиняю, а рассказываю сущую правду, — ответил герцог. — Эти видения всецело заняли меня, и, право, не знаю, что бы мне еще пришло на ум, если бы рядом со мной не зазвучал женский голос, напевавший...

Гаэтан очень приятно пропел бесхитростные слова деревенской песенки, ни разу не сфальшивя, и Каролина рассмеялась, вспомнив, как она, не заметив герцога в гостиной, напевала этот знакомый с детства мотив.

— Я тотчас же очнулся, — продолжал герцог, — а видения мои пропали. С паркета исчезла солома, толстые кресла на гнутых ножках больше не казались скотницами в сабо, а стройные канделябры на пузатых подставках — худосочными дамами в фижмах. Я сидел один в ярко освещенной гостиной и чувствовал себя превосходно. Однако сельская песенка явственно доносилась до меня. Ее пели совсем по-деревенски, просто, прелестно и так свежо, что я вряд ли сумел это воспроизвести. «Подумать только, — мысленно воскликнул я, —

крестьянка! Крестьянка в гостиной моей матери!» Затаив дыхание, я замер в уголке, и эта поселянка предстала передо мной. Дважды она прошла мимо быстрым шагом, не заметив меня, хотя почти касалась моих колен серебристым шелковым платьем.

— Вот оно что! — сказала маркиза. — Это была Каролина.

— Это была незнакомка, — продолжал герцог, — и, согласитесь, крестьянка довольно странная, поскольку одета она была не хуже дамы из общества. Золотистые волосы пушистой короной венчали голову, плечи и руки были скрыты одеждой, но я заметил белоснежную шею, маленькие кисти и ножки, не обутое в сабо.

Каролине было не очень приятно слушать, как завзятый ловелас описывает ее персону, и она посмотрела на маркиза, словно собиралась что-то ему сказать. Ее поразило, что лицо маркиза слегка омрачилось и что он, нахмурившись, отвел глаза в сторону.

— Этот прелестный призрак, — продолжал герцог, перехвативший их взгляды, — пленил меня тем более, что сочетал в себе все достоинства моих исчезнувших чаровниц — и знатных дам и простолюдинок. Иначе говоря, в ней было все самое прекрасное: благородство линий и свежесть красок, изящество очертаний и несокрушимое здоровье. Она была королевой и пастушкой в одном лице.

— Портрет ее вы не приукрасили, — заметила маркиза, — однако в нем недостает легкости кисти. Ах, сын мой, вы, вероятно, все еще слегка... возбуждены?

— Вы велели мне рассказать эту историю, — ответил герцог, — но если я заболтался, велите мне замолчать.

— Нет, — горячо возразила Каролина, которая обратила внимание на то, каким недоверчивым и холодным стало лицо маркиза, и потому не хотела утаивать подробности первой встречи с герцогом. — Я не узнаю оригинала и жду, когда герцог заставит его произнести несколько фраз.

— Память у меня хорошая, и расскажу я чистую правду, — продолжал герцог. — Проникшись внезапно большой симпатией к этой поселяночке, я завел с ней разговор. Ее голос, взгляды, ясные, прямые ответы, приветливый вид, чистота и сердечность настолько покорили меня, что через пять минут я выразил ей свое глубочайшее уважение, точно знал ее всю жизнь, и пожелал заручиться ее

уважением ко мне, точно она была мне родная сестра. На сей раз мадемуазель де Сен-Жене не заподозрит меня в лукавстве?

— Ваши подлинные чувства мне неизвестны, сударь, — ответила Каролина, — но вы были со мной необычайно учтивы, и я даже не заподозрила, что эти любезности вы расточаете под влиянием вина. Я была вам от души благодарна за доброе расположение, но теперь вижу свою ошибку, так как в ваших словах было больше иронии, чем правды.

— Из чего это следует, позвольте узнать?

— Из ваших чрезмерных похвал, рассчитанных, очевидно, на мое тщеславие, но я не поддамся на них, сударь, а вы были бы воистину великодушны, если оставили бы в покое такое безобидное и ничтожное существо, как я.

— Вот тебе раз! — воскликнул герцог, обращаясь к брату, который, казалось, размышлял о чем-то другом и все же невольно прислушивался к разговору. — Она в чем-то упорно подозревает меня и считает мое уважение оскорбительным. Маркиз, не наговорил ли ты ей гадостей про меня?

— У меня нет такой привычки, — чистосердечно ответил маркиз.

— Тогда я знаю, кто опорочил меня в глазах мадемуазель де Сен-Жене! — продолжал герцог. — Это старая дама с седыми буклями сиреневого оттенка и такими худыми руками, что по утрам ее кольца ищут в мусоре. Прошлым вечером она четверть часа разговаривала обо мне с мадемуазель де Сен-Жене, и после этого я тщетно пытался встретить ее добрый взгляд, от которого помолодело мое сердце; он уже был не тот, как впрочем, не тот он и сейчас. Да, маркиз, плохи мои дела. Но ты что-то отмалчиваешься? Сам только что расхваливал меня на все лады, а мадемуазель де Сен-Жене, кажется, тебе доверяет. Почему бы тебе не замолвить за меня словечко?

— Дети мои, — вмешалась маркиза, — этот спор вы закончите в другой раз, а мне пора одеваться и поговорить с вами до прихода гостей. По-моему, часы немного отстают...

— Мне кажется, они сильно отстают, — подымаясь, сказала Каролина и, пока герцог с маркизом провожали госпожу де Вильмер в ее спальню, торопливо прошла в гостиную. Она думала, что там уже сидят гости, поскольку обед изрядно затянулся, но в гостиной было

пусто, и, вместо того чтобы весело обежать ее, Каролина, задумавшись, присела у камина.

VI

Каролине начинало казаться унижительным ее положение в доме маркизы. Она старалась не думать о том, что выполняет обязанности служанки, но не могла выбросить эти мысли из головы. Каролину оскорбляли настойчивые и, может быть, притворные ухаживания герцога д'Алериа, и вместе с тем она была вынуждена скрывать свое негодование и презрение.

«В скромном доме моей сестры, — размышляла она, — я не потерпела бы ухаживаний этого господина и разом пресекла бы их. Он счел бы меня жеманницей, но мне было бы все равно. Его выставили бы за дверь, и дело с концом, а здесь я должна быть веселой и любезной, точно светская дама, должна ко всему относиться бездумно и смотреть сквозь пальцы на ухаживания распутника. Очевидно, мне следует усвоить уловки женщин, привыкших лицемерить. Если же я стану ему дерзить, а это вполне в моем нраве, герцог, рассердившись, в отместку наклеветает на меня, и тогда мне дадут расчет. Дадут расчет! Да, здесь можно ожидать любых козней и оказаться в положении рассчитанной горничной. Вот какие опасности и какие унижения грозят мне на каждом шагу. И зачем только я пошла к маркизе! Госпожа д'Арплад даже не заикнулась о герцоге, и я сочла возможным невозможное».

Каролина была решительного нрава. Стоило ей подумать об уходе от маркизы, как она принялась размышлять о способах заработать на жизнь Камилле и ее детям. Госпожа де Вильмер заплатила ей жалованье вперед, и теперь, если герцог своими ухаживаниями помешает ей скопить небольшую сумму, посланную сестре, придется где-то найти средства, чтобы погасить долг маркизе. И тут Каролина вспомнила о нескольких сотнях франков, предложенных ей кормилицей, письмо которой с раннего утра лежало в ее кармане. Она перечитала это простодушное и материнское послание и, подумав о том, как благотельно и высоко нравственно подаяние бедняка, вконец растрогалась и заплакала.

Маркиз, войдя в гостиную, застал ее в слезах. Каролина сложила письмо и спокойно спрятала его в карман, не стараясь притворной

веселостью скрыть волнение. Она, однако, заметила, что обычно благожелательное лицо маркиза выражало некоторую насмешливость. Каролина подняла на него глаза, как бы спрашивая, кого он собирается высмеять, и маркиз, смешавшись, пробормотал что-то невнятное и кончил тем, что прямо спросил:

— Вы плакали?

— Да, — ответила она, — но не от горя.

— Вы получили приятное известие?

— Нет, доказательство дружбы.

— Вы, вероятно, их часто получаете!

— Не всегда они действительно искренни.

— Сегодня вы, кажется, все ставите под сомнение. Я вас такой не видел.

— Да, не видели. От природы я человек доверчивый. А вы, сударь?

Урбен робел, когда его спрашивали в упор. Ему и спрашивать было нелегко, а когда за его вопросом следовал встречный вопрос, маркиз совсем терялся.

— Сам не знаю... — слегка помедлив, ответил он. — Не могу сказать вам, какой я... особенно сейчас.

— Вы, кажется, заняты какими-то своими мыслями, — заметила Каролина. — Тогда не трудитесь отвечать мне, сударь.

— Простите, я хочу... мне необходимо поговорить с вами, ко дело такое щекотливое, что не знаю, как и начать.

— Ах, так? Вы меня немного пугаете... И тем не менее мне было бы интересно узнать, о чем вы в эту минуту думаете.

— Хорошо, вы правы... Я не стану терять времени, сейчас наедут гости. Надеюсь, мне не придется говорить много, и вы поймете меня с полуслова. Я люблю своего брата, а сегодня люблю его особенно нежно. Я убежден, что человек он искренний, только с чересчур живым воображением. Да вы и сами недавно это заметили. Словом... если он слишком настойчиво пытался рассеять вашу неприязнь к нему, быть может, мнимую и не вполне им заслуженную, я советую вам поговорить об этом с матушкой, и только с ней одной. Не сочтите странным и нескромным то, что я осмеливаюсь давать вам советы, но мне просто необходимо видеть матушку счастливой, и я знаю, как много вы делаете для ее счастья. Делить досуг с такой умной и

достойной особой, как вы, ей совершенно необходимо, и заменить вас, вероятно, уже невозможно. Если и вы будете здесь спокойны и счастливы, для меня это явится залогом того, что ваша привязанность к матушке с годами не ослабеет. Вот и все, что меня заботит.

— Благодарю вас, сударь, за эти слова, — ответила Каролина. — Я, признаться, была уверена, что когда-нибудь вы и меня почтите своим благородным прямодушием.

— Прямодушием? Я просто хотел сказать вам, что у моего брата веселый и любезный нрав и что если его веселость будет вам в тягость, то матушка, которая умеет сдерживать его и, не в пример мне, имеет над ним власть, сможет успокоить вас и обуздать излишнюю непринужденность его речей.

— Да, мы с вами понимаем друг друга, — сказала Каролина, — и не сходимся только в том, как избавиться от... неумеренной любезности его сиятельства герцога. Вы полагаете, что ваша матушка сумеет оградить меня от нее, я же думаю, что никто не может и не должен омрачать жалобами отношения любимого сына и нежной матери. К тому же есть судьи, перед которыми всегда останешься в виноватых. Я только что размышляла о своем положении и решила, что, как ни грустно, все же может настать минута, когда я буду принуждена...

— Нас оставить... оставить матушку? — воскликнул с неподдельным чувством маркиз, но тотчас совладал с собой. — Этого я как раз и боялся. Я очень огорчен тем, что вы подумали об отъезде, но надеюсь, что подумали о нем сгоряча. Остерегайтесь несправедливых поступков. Сегодня брат мой был сильно взволнован. Из-за особых обстоятельств и из-за семейных дел он утром очень расстрогался, потерял равновесие, поэтому за обедом был так счастлив, доброжелателен и откровенен. Когда вы его узнаете получше...

Но тут раздался звонок, и маркиз вздрогнул. Приехали завсегдаи этого дома, и господин де Вильмер вынужден был прервать свои увещевания.

— Но ради бога, ради моей матери, — поспешно заключил он, — не торопитесь с вашим решением, которое опечалит и омрачит ее душу. Если б я мог, если б имел на это право, я умолял бы вас ничего не предпринимать, не посоветовавшись со мной...

— Уважение, которое я питаю к вам, сударь, дает вам право быть моим советчиком, и я, безусловно, обещаю прислушаться к вашим словам.

В залу уже входили гости, и маркиз не успел поблагодарить Каролину, ко взгляд его был необычайно красноречив, и она прочитала в нем те доверие и сердечность, которые в начале беседы, казалось, пропали. Глаза маркиза отличались той редкостной выразительностью, какая бывает только у душ возвышенных, пылких и чистых. В них отражалось то, что из-за робости он не смел выразить словами. Каролина поняла это и совершенно успокоилась: ей был внятн язык этих ясных глаз, и она часто вопрошала их, как судью своей совести и своих поступков.

Она благоговела перед этим человеком, нрав которого ценили все, но далеко не все понимали, как глубок его ум и как утонченна душа. Тем не менее, несмотря на удовольствие, испытанное ею от беседы с маркизом, Каролина сразу же стала докапываться до ее скрытого смысла. Мысль ее работала быстро. Проходя по зале и встречая гостей со сдержанной любезностью и приличествующей скромностью, которую легко усвоила, Каролина недоумевала, отчего в разговоре маркиз был так непоследователен. Поначалу он словно хотел упрекнуть ее за то, что она поверила льстивым речам герцога, потом дружески намекнул на мимолетность его ухаживаний и, наконец, когда она сказала, что ей они крайне неприятны, сам же поспешил рассеять ее опасения. Она впервые видела маркиза растерянным: хотя он часто высказывался несмело, убеждения его всегда были тверды. «Очевидно, — размышляла Каролина, — он, с одной стороны, считает мое поведение неосторожным и знает, что герцог может им легко воспользоваться. С другой стороны, маркиза, видимо, больше нуждается во мне, чем я предполагала. Во всяком случае, тут что-то не вполне ясно, но со временем, вероятно, маркиз мне все объяснит. Как бы то ни было, я совершенно свободна, и эти пятьсот франков не удержат меня и часа в унижительном положении. А с письмом Жюстине я повременю».

Как видит читатель, честная и прямодушная мадемуазель де Сен-Жене даже не предполагала, что в недомолвках маркиза могли скрываться сердечное чувство к ней или бессознательная ревность. Да

и смог ли бы сам маркиз на поставленный вопрос ответить с такой же уверенностью: «Я просто плубоко уважаю вас и забочусь о матушке»?

Пока Каролина раздумывала об этом, маркиз с тягостным нетерпением и неудовольствием выслушивал излияния герцога. Тот, едва появившись с матерью в гостиной, сразу уселся подле маркиза за фортепьяно и в этом укромном, облюбованном Урбенем уголке с большим жаром зашептал брату на ухо.

— Ну, что? — спрашивал он. — Ты только что был с ней наедине. Что ты ей обо мне сказал?

— Откуда в тебе это непонятное любопытство? — в свою очередь, спросил маркиз де Вильмер.

— В нем нет ничего непонятного, — возразил герцог, точно уже обо всем рассказал брату. — Я сражен, потрясен, пленен, одним словом — влюбился. Влюбился, понимаешь, клянусь честью, я не шучу. Неужели ты станешь упрекать меня сейчас, когда впервые в жизни я доверяю тебе тайну? Разве утром мы не поклялись в вечной дружбе и доверии? Я тебя спросил, не испытываешь ли ты сам нежных чувств к мадемуазель де Сен-Жене, и ты проникновенно ответил мне «нет». Что ж тут странного, если я прошу тебя замолвить перед ней за меня словечко?

— Друг мой, — сказал маркиз, — я сделал как раз противное тому, о чем ты просишь: я посоветовал ей не принимать твоих ухаживаний всерьез.

— Каков вероломец! — весело воскликнул герцог, который своей откровенностью словно искупал бывшее предубежденное отношение к брату. — Так-то ты служишь друзьям! Изволь теперь полагаться на Пилада! Он сразу же подает в отставку, лишает вас надежды, развеивает ваши мечты. Что ж со мной будет без твоей поддержки?

— Я решительно не гожусь для подобных услуг, как видишь.

— Так! Нарушаешь обет при первой трудности? Хорошо. Но я от тебя не отстану. В моем сердце остался только ты, тебе и выслушивать рассказ о моей новой страсти.

— Ты хотя бы поклянись в ее искренности!

— Значит, ты боишься, что я скомпрометирую Каролину?

— Меня это очень огорчило бы.

— Это еще почему?

— Потому что она девушка гордая и, вероятно, недоверчивая. Она сразу же уйдет от матушки, которая так ее любит! Неужели ты не понимаешь?

— Понимаю, потому-то голова у меня и пошла кругом. Она, очевидно, и вправду очень умная и добрая девушка — у нашей матушки ведь поразительное чутье. Она была недовольна тем, что я, по ее мнению, поддразниваю Каролину, пожуривла меня сегодня вечером и сказала: «Вы нехорошо ведете себя с ней. Выбросьте ее из головы!» Черт возьми, думать о ней никому не возбраняется, и худо от этого никому не станет. Нет, ты только посмотри, как она хороша! Единственная живая женщина среди этих напомаженных кокеток! Ты погляди на нее при дневном свете: кожа у нее свежая, без того матового оттенка, что скрадывает пушок на щеках и превращает женское лицо в гипсовую маску. Право, она слишком красива для компаньонки! Матушка не сумеет ее долго удержать. Она влюбит в себя кого угодно, а если будет умницей, на ней непременно женятся.

— Поэтому и забудьте о ней думать, — сказал маркиз.

— Вот тебе раз! — удивился герцог. — Разве сам я не бедняк без гроша в кармане или она не из хорошей семьи? Или, может быть, у нее дурная слава? Хотел бы я знать, какие могут быть возражения у матушки. Да она уже зовет ее дочерью и требует к ней уважения, точно она и впрямь наша сестра.

— Ваша восторженность, вернее — ваши шутки переходят всякие границы, — сказал маркиз, пораженный словами брата.

«Так! — подумал герцог. — Он уже говорит мне „вы“».

И с неподражаемой серьезностью он принялся рассуждать о том, что с радостью женится на мадемуазель де Сен-Жене, если нет другого способа овладеть ею.

— Я бы с удовольствием ее похитил, — прибавил герцог. — Это мне весьма с руки. Но теперь это дело безнадежное — даже моя прачка, и та мне не доверится. Впрочем, самое время для меня покончить с прошлым. Я тебе обещал и сдержу слово. С сегодняшнего дня я полностью преображаюсь, и ты увидишь нового человека, которого я сам толком не знаю и который еще удивит меня самого. Да, я чувствую, что этот человек способен на все, решительно на все — даже кому-то поверить, кого-то полюбить, на ком-то жениться. На этом, брат, мы сегодня распростимся. Если ты не передашь этот

разговор мадемуазель де Сен-Жене, значит, ты не хочешь мне помочь исправиться.

Герцог удалился, оставив маркиза в полном недоумении. Он был сбит с толку и не знал — верить ли в искренность этого минутного увлечения или гневно отвергнуть бесчестную затею, в которую его старались втянуть.

«Нет, — думал он, входя в свою комнату. — Все это у него от шалого нрава, чудачества, легкомыслия... или опять под влиянием винных паров. Однако сегодня утром в Булонском лесу он расспрашивал меня о Каролине с большой настойчивостью, хотя перед этим выслушал рассказ о моем прошлом с истинным участием, можно сказать — со слезами на глазах. Что за странный человек мой братец! Только вчера он хотел покончить с собой, ненавидел меня, презирал самого себя. Потом, казалось, я смягчил его сердце, и он плакал в моих объятиях. Целый день он был такой открытый, доверчивый, нежный, а вечером — не понимаю, что с ним сделалось. Может, беспорядочная жизнь, которую он вел до сих пор, наложила печать на его разум, или брат посмеялся надо мной, а я, глупец, ослепленный жадой привязанности, поверил ему? Неужели я горько раскаюсь в своем порыве? Или, может быть, я взвалил себе на плечи заботы о душевнобольном?»

Маркиз был в таком смятении и ужасе, что эта мысль не казалась ему столь уже страшной. Теперь его пугало другое: брат задел и разбередил в нем чувство, в котором он не признавался самому себе и которому не хотел даже дать название. Маркиз принялся за работу, но она не ладилась; лег спать, но сон к нему не шел.

А герцог между тем радостно потирал руки.

— Победа! — ликовал он. — Я нашел, чем одолеть его хандру. Бедный брат мой, я вскружил ему голову, пробудил желания, разбередил ревность. Он, конечно, влюблен в Каролину. Теперь он оправится от недуга и воспрянет духом. Страсть врачует только страстью. Матушка никогда не нашла бы этого спасительного средства, и даже если в ее доме произойдет скандал, она простит меня в тот день, когда узнает, что угрызения совести и душевное благородство чуть не свели в могилу моего брата.

Герцог, пожалуй, играл наверняка, и его хитроумию мог позавидовать любой мудрец, который, конечно, постарался бы

привязать маркиза к жизни любовью к наукам, сыновними чувствами, доводами рассудка и нравственности, словом — всем самым прекрасным и возвышенным. Но больной и сам давно и тщетно призывал их к себе на помощь. Герцог же, смотря на все со своей колокольни, воображал себя спасителем маркиза, даже не предполагая, что такому редкостному человеку, как его брат, лекарство могло навредить больше, чем любой недуг. Зная по себе, что такое человеческая слабость, герцог считал женщин созданиями слабыми и не допускал исключений. Он думал, что Каролина от маркиза без ума, быстро уступит ему, и был далек от мысли, что только брак был залогом победы над девушкой.

«Каролина добрая, — размышлял он, — не тщеславная и бескорыстная. Я понял ее с первого взгляда, да и матушка уверяет, что я не ошибся. Она не станет сопротивляться, потому что в сердце ее живет потребность любить и потому что братом нельзя не увлечься — в нем столько обаяния для женщины истинно духовного склада. А если некоторое время она будет противиться, тем лучше: брат еще сильнее привяжется к ней. Матушка ничего не заметит, а если и заметит, так ей будет чем занять ум и воображение. Она проявит снисходительность, долго будет твердить о благе добродетели, а потом разжалобится. Эти мелкие домашние волнения спасут ее от скуки, которая для матушки страшнее чумы».

Герцог со всем простодушием строил эти планы, в основе которых лежала глубокая безнравственность. Он был полон ребяческого умиления перед собственными замыслами — черта, нередко свойственная распутству и сердечной опустошенности, — и ликовал, рисуя себе, какая красивая жертва будет принесена в угоду его прихоти. Если бы в эту минуту его спросили, о чем он думает, герцог со смехом ответил бы, что в ознаменование целомудренной и благочестивой жизни, которую решил вести, он задумывает любовную историю во вкусе Флориана.

Весь вечер он провел в гостинной и, улучив минуту, отвел Каролину в сторону, чтобы поговорить с глазу на глаз.

— Матушка меня выбрала за то, что я держался с вами крайне глупо. Но у меня это получилось невольно — ведь моим единственным желанием было выказать вам свое уважение. Коротко говоря, матушка запретила мне ухаживать за вами, и я, не

задумываясь, дал честное слово, что исполню ее волю. Теперь, полагаю, вы спокойны?

— А я и не думала беспокоиться.

— И слава богу! Поскольку матушка вынудила меня столь неучтиво сказать в лицо женщине то, о чем обычно молчат, хотя порою и думают, давайте будем друзьями, словно мы оба мужчины, и для начала не станем больше лукавить. Обещайте больше не говорить обо мне дурно моему брату.

— А когда же я говорила о вас дурно?

— Разве вы не жаловались на мою нескромность... сегодня вечером?

— Я сказала, что боюсь ваших насмешек и что, если они повторятся, я уеду отсюда, вот и все.

«Да они спелись! — подумал герцог. — Быстро!»

— Если вы хотите покинуть матушку из-за моей персоны, что ж, значит, вы обрекаете меня на разлуку с ней.

— Зачем такие крайности! Сын не уходит от матери из-за постороннего человека.

— Но если я вам внушаю неприязнь и даже страх, я готов на это — только не уезжайте, и я исполню любое ваше желание. Может быть, я должен не замечать вас, не разговаривать с вами и даже не кланяться?

— Я не хочу никаких крайностей. Вы достаточно умны и опытны, чтобы понять, как я безыскусна в беседе и бессильна отразить ваши словесные атаки.

— Вы чересчур скромны. Однако ж, если вам не угодно, чтобы к моему уважению невольно примешивалось искреннее восхищение вами, а знаки внимания, которые нельзя вам не оказывать, беспокоят вас и тревожат, можете быть уверены, что я сдержу обещание и впредь вам не придется на меня жаловаться. Клянусь самым дорогим, что у меня есть, — своей матерью!

Исправив свою ошибку и успокоив Каролину, отъезд которой разрушил бы его план, герцог принялся с неподдельным восторгом говорить ей об Урбене. Слова его звучали так искренно, что мадемуазель де Сен-Жене отказалась от своих предубеждений, перестала тревожиться и поспешила написать Камилле, что дела идут

хорошо, что герцог, оказавшийся гораздо лучше, чем о нем говорят, даже поклялся честью оставить ее в покое.

В течение месяца, протекшего с этого дня, Каролина почти не встречалась с маркизом де Вильмером. Сначала ему пришлось заниматься денежными делами брата, а потом он уехал из Парижа, сказав матери, что едет в Нормандию, где собирается осмотреть старинный замок, план которого необходим для затеянного им исторического труда. Только герцог знал, что он отправился в противоположную сторону, дабы, сохраняя строжайшее инкогнито, проведать своего сына.

Герцог с головой ушел в дела, связанные с его новым денежным положением. Он продал лошадей, обстановку, рассчитал слуг и из соображений экономии, а также по материнской просьбе поселился во втором этаже ее особняка, тоже предназначавшегося на продажу, но с условием, что в течение десяти лет Урбен будет тут хозяином и апартаменты маркизы останутся неприкосновенными.

Урбен сразу перебрался в третий этаж и перетащил книги в свое скромное жилище, уверяя, что нигде ему лучше не жилось и что вид на Елисейские поля просто великолепен. Пока он отсутствовал, начались сборы в деревню, и мадемуазель де Сен-Жене написала своей сестре: «Считаю дни, которые остаются до переезда в этот райский уголок, где наконец я вдоволь нагуляюсь и надышусь свежим воздухом. Надоели цветы, которые вянут на наших каминах. Скорей бы увидеть те, что цветут в лугах».

VII

Письмо маркиза де Вильмера герцогу д'Алериа

«Полиньяк,
1 мая 1845, через Пюи
(Верхняя Луара)

Сообщенный тебе адрес — это тайна, которую доверяю брату, и я счастлив, что могу тебе ее доверить. Если со мной случится нежданная беда и я умру вдали от тебя, ты будешь знать, что первым делом нужно приехать сюда и проследить за тем, чтобы моего мальчика не бросили люди, которым поручено его воспитание. Эти люди меня не знают; им неизвестны ни мое имя, ни родина, они даже не предполагают, что Дидье — мой сын. Я тебе уже говорил — такая предосторожность необходима. Господина де Ж*** и по сей день не оставляют подозрения, и он, чего доброго, может усомниться, что его дочь действительно рождена от него. Эти опасения так мучили несчастную мать, что я поклялся скрыть Дидье от всех до тех пор, пока не решится участь Лауры. Словом, я должен быть крайне осторожен, так как не раз замечал, что кто-то внимательно следит за каждым моим шагом.

Поэтому я укрыл сына далеко от Парижа, где никто меня не знает и где я не рискую случайно столкнуться со знакомыми. Люди, приютившие Дидье, с виду вполне надежные, славные и скромные — во всяком случае, они не задают лишних вопросов и не приглядываются ко мне. Кормилица Дидье — племянница Жозефа, того старого и доброго лакея, который умер у нас в прошлом году. Он мне ее и рекомендовал, хотя ей тоже неизвестно, кто я такой. Она знает меня под именем Бернье. Это молодая, здоровая, добродушная женщина, простая крестьянка, но живущая в сравнительном достатке. Я не давал ей больших денег, опасаясь, что все равно не вытравлю из нее деревенской скарденности, которая тут, по-моему, укоренилась, как нигде; я же стремлюсь к тому, чтобы мой мальчик рос в условиях настоящей деревенской жизни, но не страдал от чрезмерных

суровостей этих условий, ибо это может губительно сказаться на его здоровье.

Пишу тебе из дома моих хозяев. Они фермеры и хранители мрачной средневековой крепости, которая стоит на вершине. Эта твердыня — колыбель того семейства, последние отпрыски которого сыграли столь плачевную роль в недавних злоключениях нашей монархии. В этой глуши их предки сыграли не менее важную и жалкую роль в те времена, когда феодалы мало чем отличались от мелких королей. Меня это занимает в связи с тем историческим сочинением, для которого я собираю здешние предания, изучаю крепость и местность. Словом, я не полностью обманул матушку, сказав ей, что отправляюсь в путешествие, чтобы образовать свой ум.

В самом сердце этой прекрасной Франции есть и впрямь много интереснейших мест, куда ездить не модно, — потому-то неприступные уголки этого края до сих пор остаются кладезями неизведанного для ученых и источниками вдохновения для поэтов. Здесь нет дорог, проводников и никаких средств передвижения; здесь все открытия даются ценою риска и усталости. Местные жители знают свою страну не лучше приезжих. Жизнь, целиком посвященная сельским трудам, ограничивает кругозор крестьян пределами одной своей местности, и спрашивать дорогу у них бесполезно, особенно если не знаешь названий и хотя бы приблизительного расположения деревенок. За протекшие со дня рождения Дидье два года я приезжаю сюда в третий раз, но не будь у меня под рукой подробнейшей карты, к которой я обращаюсь поминутно, пришлось бы передвигаться только по прямой, что просто невысказано, так как местность изрезана глубокими оврагами, перегорожена во всех направлениях высокими стенами застывшей лавы, изборождена многочисленными горными потоками.

Но чтобы оценить удивительный, ни с чем не сравнимый ландшафт этого края, совсем не обязательно забираться вглубь. Ты, друг мой, даже не представляешь себе, как живописен и красив бассейн Пюи, а я не знаю другого места, чье своеобразие так трудно описать. Это не Швейцария, ибо все здесь не так сурово, и не Италия, ибо все здесь куда прекраснее. Это центральная Франция с ее угасшими Везувиями, одетыми пышной растительностью. И это не знакомые тебе Овернь или Лимузен. Здесь нет богатой Лимани,

широко раскинувшейся спокойной равнины, покрытой пашнями и луговинами, замкнутыми на горизонте цепью горных отрогов; здесь нет тучных пастбищ в кольце буераков. Тут одни лишь горные вершины да овраги, и земля возделывается лишь на крутых склонах и в узких теснинах. Но все-таки обрабатывается повсеместно, покрываясь ковром свежей зелени, злаков, бобовых растений, которые жадно тянут соки из плодотворного вулканического пепла и произрастают даже в трещинах между потоками застывшей магмы. Эти потоки резко поворачивают то вправо, то влево, и за каждым поворотом — новые нагромождения, столь же непроходимые, как и те, что остались позади. Но с любой возвышенности эта изрезанная местность видна как на ладони, и глазу открываются ее неоглядные пространства и соразмерные очертания, так что картина эта так прекрасна, что воображению нечего к ней прибавить.

А какой величественный горизонт! Это прежде всего Севенны. В туманной дымке очерчены длинные скаты и крутые обрывы Мезенка, за которым возвышается Жербье де Жон — вулканический конус, похожий на Соракту, но подошва у него гораздо шире и производит он большее впечатление. У других гор самые прихотливые формы: одни полуокруглыми очертаниями напоминают вершины Вогез, другие возвышаются отвесными, местами сильно выщербленными стенами, ограничивая небесный свод, огромный, как небо Римской Кампаньи, но нависающий более вместительной чашей, так что все эти вулканы, перепахавшие землю, как бы заключены в один общий кратер сказочной глубины.

То, что расположено под этим куполом, порою вырисовывается с поразительной четкостью во всех своих замечательных подробностях. Сначала выступает вторая, третья, а местами и четвертая горная цепь, и все они разнообразны по формам, и все постепенно понижаются до уровня трех рек, изрезавших то, что можно назвать равниной, хотя по существу это никак не равнина. Вследствие геологических судорог земля тут вся вспучена, искорежена и взрыта. Из-за вулканических извержений недра ее исторгли гигантские образования ныне застывшей магмы; отшлифованные и оголенные водой, они сегодня представляют собой исполинские дайки, которые есть и в Оверни. Но здесь они неизмеримо массивнее и совсем иной формы. Эти красновато-бурые стены и по сей день кажутся раскаленными внутри,

а на закате похожи на громадные тлеющие головни. На их плоских, широких, круто обтесанных вершинах, которые по бокам подчас вздуваются наподобие башен и бастионов, жители строили храмы, затем крепости и церкви и, наконец, города и веси. Город Пюи частично расположен на такой дайке — скале Корнель; это одно из самых цельных и гигантских геологических образований, существующих в природе; вершина ее, некогда посвященная галльским, а затем римским божествам, по сей день увенчана развалинами средневековой цитадели, возвышаясь над романскими куполами дивной базилики, выросшей из ее скалистого склона.

Среди столь величественной природы сама базилика кажется сотворенной неким величественным извержением. Черная и мощная, она резко выделяется на туманном фоне неоглядной шири, ибо горизонт здесь очерчен лишь далекой цепью Севенн и в этом, по моему, и заключается тайна волшебного очарования картины. Ее детали выделяются на переднем плане, подчеркивая пространственную глубину перспективы и приобретая особую значительность, каковой и обладают на самом деле, а соразмеряется она со значительностью дальних массивов на горизонте. Вот почему в Риме, высящемся на фоне бескрайнего неба, так трудно оценить вблизи подлинные размеры его строений. Здесь надо бы стоять Риму! Гигантское основание одной-единственной скалы было бы под стать гению Микеланджело чтобы прынул ввысь главный купол собора святого Петра.

Теперь я даже не понимаю, отчего мы благоговеем перед Римом и его святым Петром: ведь этот уродливый город, скрывший в своих недрах царственные руины, мнит, что все превзошел и всего достиг, создав строение невиданных размеров, действительно совершенное с точки зрения архитектурной науки, ко далеко несовершенное по части вкуса и чувства меры. Я слышал, будто достоинства этой храмины, ее высоту и громаду можно постичь только умом и сравнением, но для меня, признаться, это пустые слова. Мне всегда казалось, что искусство как раз и заключается в том, чтобы из немногого сделать многое. И что подлинное величие искусства не в использованном материале, а в том впечатлении, которое оно производит. Какое мне дело до того, что существо или предмет легко измерить, если глаза мои и не думают измерять его, а мысль невольно стремится его

бесконечно возвеличить. Храмы, как, впрочем, и горы, впечатляют нас только своей соразмерностью, той гармонией, которая существует между их пропорциями и потребностями нашего воображения. И в творениях природы и в творениях человека редко попадаются образцы, отмеченные великим вдохновением; чаще мы видим лишь некие создания, говорящие о расточительности, усталости или прихоти мастера.

Вот почему меня никогда не пленяли всеобщие идола и кумиры, равно как и модные места. Ты знаешь, что даже море я люблю, когда смотрю на него из-за деревьев или когда там и сям из него поднимаются скалы. Обычно же море, заполняющее собой весь горизонт, кажется мне несоразмерно громадным, точно так же как несоразмерно громадно небо над широкой равниной. Может, и вправду во мне живет бунтарский дух, как говорит наша матушка. Этот упрямый, молчаливый дух сильнее меня и отталкивает от себя все, что хочет его укротить.

Как я люблю грозный ландшафт! Ты упрекал меня за это, когда мы были в Пиренеях. Пропasti раздражали тебя, я же искал их повсюду, и ты сердился и тащил меня в Биарриц, где море умиротворяло твои глаза, пресытившиеся ущельями и водопадами. Если ты немного подумаешь, то поймешь, что в этом ты гораздо более поэт, нежели я. Ты наслаждаешься созерцанием того, что кажется тебе бесконечным. Я же, вероятно, только художник, и поэтому мне нужны вещи конечные. Я ценю в них величие, но для того, чтобы я его заметил, они должны быть величественны очертаниями, и мне дела нет до того, какое пространство они занимают. Очевидно, дерзновенность форм этих громад затрагивает в моей душе дерзновенную струну, а спокойные или буйные краски успокаивают или огнем обжигают чувства. Я не хочу придумывать себе природу и еще меньше хочу разбирать по косточкам или мысленно приукрашивать произведения искусства. Я всецело отдаюсь только тому, что мне по сердцу, и если оно остается холодным, значит, это не для меня.

Вероятно, как всякий человек, я заблуждаюсь в своих оценках, может статься, заблуждаюсь больше остальных, так как живу в плену мучительных волнений, страшной усталости или детского умиления, и в одиночестве мне с ними не совладать. Безраздельно отдаваясь

тому, что люблю, я не властен над самим собой. Поэтому я часто нахожу удовольствие в том, что само по себе незначительно, но что помогает мне существовать, когда жизненные силы переполняют или оставляют меня.

Здесь я совсем успокоился, и голова стала вполне ясная. Одиночество мне явно на пользу: им я умиротворен и убаюкан. Оно напоминает о том, как пылко я его когда-то любил, как страсть к одиночеству тиранила меня в молодые годы и как я сознательно изменял ей, когда долг одерживал верх над тягой к уединению, — одиночество прощает эти мои измены, — впрочем, что я говорю? — вознаграждает за них, точно и впрямь понимает меня. Да и почему бы не понять? Разве одиночество не громадное многоликое существо, не голос, не лоно самой природы, которая беседует с нами и сжимает нас в объятиях, и разве природа не начало всего сущего, нескудеющий родник всякого блага и всякой красоты? Разве мы не мыслим ее в реальном обличье, когда просим у нее душевного успокоения и сил, которые наша искусственная жизнь в замкнутом общественном кругу стремится разрушить и поколебать? Да, бывают часы, когда, не будучи писателями, художниками, артистами или учеными, мы изучаем и вопрошаем природу нашим сердцем и умом, точно надеемся, что своей улыбкой или угрозой она умиротворит или пробудит наши думы. Поэтому нам доставляют удовольствие некие места, точно их косная природа приобщает нас к скрытой в ней вселенской душе, поэтому нам не в радость бывать в других краях, словно притаившийся в тамошней природе дух неумолимо не желает открывать нам тайну своих жизненных сил.

Но несмотря на все эти фантазии, мне тут хорошо, и задумай я выбрать для жизни уединенный уголок, я поселился бы только здесь. Это суровый и в то же время улыбчивый край. Правда, нрав у него неприветливый, а улыбку приходится вымалывать. Климат резкий: очень морозно зимой, очень жарко летом. Виноград родится плохой и дает очень кислое вино, которое, как водится в странах с неважными винами, жители пьют сверх меры. Вершины Севенн часто окутаны ледяными парами, а стоит ветру разогнать их, льют дожди. Нынче погода постоянно капризничает: небо то внезапно затягивается причудливыми облаками, пряча солнце, то вдруг проясняется, и разливается холодное сияние, которое сразу наводит на мысль о

первой заре мироздания, когда был создан свет, иначе говоря, когда воздушные надземные толщи после мучительных родовых схваток пропустили солнечные лучи на молодую, сияющую планету. Существовал ли в ту пору человек? Всё гипотезы, гипотезы... Но он, безусловно, существовал в ту эпоху, когда грозная, ныне застывшая вокруг меня лава вырвалась из-под земли и искорежила почву. У подножия соседней горы, в узкой расселине, под базальтом и окалиной найдены окаменелые человеческие кости — останки старика и ребенка. Значит, человек был свидетелем величественных катаклизмов природы, но так прочно о них забыл, что только исследования современной науки сумели их восстановить и сделать достоянием истории земного шара. Но самое удивительное вот что: в том же почвенном пласту, где покоятся человеческие останки, находят остовы животных, что сегодня обитают в жарких широтах. Стало быть, слоны и тигры когда-то жили тут подле человека.

Впрочем, здесь очень много пещер, весьма грубо вырытых человеком, — значит, дикие племена жили тут с изначальных времен. Если возвышенности, которых издавна щадили колебания моря, следует действительно считать колыбелью человеческого рода, тогда можно уверенно сказать, что перед нами одно из таких мест. Но это уже лежит вне моих исторических интересов. Для меня гораздо важнее найти в сегодняшних обитателях следы общественных перемен. У местных жителей весьма характерный облик, внешние черты которого удивительно соответствуют земле, где они живут: худые, сумрачные, суровые, угловатые и по внешнему виду и по строю души. Но особенно заметен в них отпечаток феодального режима: дух слепого повиновения постоянно борется в них с духом стихийного бунтарства, а суеверие, которое терпит всякий произвол, в раздоре с буйными страстями, распаленными тем же суеверием. Я не знаю земли, где духовенство пользуется большей властью, и не знаю края, где бунт против церкви был бы и, вероятно, еще будет в урочный час беспощадней и кровавей. Если при описании горного бассейна Пюи я мысленно сравнивал его со столь непохожей на него Римской Кампаньей, то сделал это, вероятно, потому, что меня поразило известное сходство, — нет, не внешнее сходство здешнего храма, смело и величественно парящего над местностью, с собором святого Петра, господствующим своей тяжелой громадой над простирающейся

равниной, а глубинное подобие нравственного и умственного склада жителей. Не считая существенного различия, заключающегося в трудолюбии и алчности, присущих характеру горцев, местные обитатели во многом схожи с народом Римской империи.

Страстное почитание кумиров, сохранившееся со времен языческого идолопоклонства, тупая вера в местные чудеса, монастырские пороки, ненависть и мстительность, подавляющие все остальные чувства, — вот тебе качества велезского крестьянина, правда, не нынешнего (за последние сорок лет он сильно пообтесался), а того, что запечатлен в каждой черточке местной истории и ее памятников. Горы, опоясывающие кольцом это место, поощряли самый дерзостный разбой феодалов и самое разнузданное владычество духовенства. Крестьянин страдал от них, но сносил любое бесчинство, и его набожность, как и его нравы, поныне хранит отпечаток яростных междоусобиц и варварских средневековых поверий. Здесь долгие века поклонялись древнему египетскому божеству, которое, как гласит предание, привез сюда из Палестины святой Людовик, — только революция сокрушила этот идол. Затем они стали поклоняться новоявленной «черной приснодеве», но вскоре выяснилось, что она подложная и чудотворством своим уступает прежнему кумиру. По счастью, в соборной сокровищнице сохранились свечи, которые якобы держали в руках ангелы, сошедшие с неба, дабы собственноручно водрузить изображение Изиды в алтаре. Свечи показывают ретивым богомольцам. Это что касается их религии; а в кабачках идет иная жизнь. Сюда приходят с ножом в ножнах, втыкают его с оборотной стороны столешницы у колен, а потом уже болтают, пьют, бранятся, дерутся и режут друг другу плотки. Это что касается их инстинктов. Слава богу, с каждым днем они смягчаются, но в нашем 1845 году от рождества Христова они еще достаточно необузданны, и даже в веселье этих людей есть что-то дикарское. Женщинам развлекаться возбраняют — священники запрещают им танцевать и даже прогуливаться с мужчинами. А мужчины поэтому разнузданы и не питают друг у другу уважения. Большинство не признает власти священника, считая, что подчиняться ей должны женщины. Зато войны во имя веры у них в большой чести. За стаканчиком они спорят о догматах веры и пускают в ход крик. Это что касается истории.

Их привычки порождены буйной и тяжелой жизнью. Грубость представлений влечет за собой грубость нравов. Человек, плохо понимающий дух религии, плохо понимает жизнь, и нравственность его извращается. В этой стране, где большая часть земли ничего не родит, тем не менее есть огромные богатства, целые плодородные долины, превосходные пастбища, а у жителей — большая тяга к земледельческому труду. Однако крестьянин (я говорю о том, кто возделывает собственный участок, нищего бедняка в расчет не беру) живет безрадостно и даже вроде бы не имеет никаких желаний. Грязь в его жилище неслыханная. Потолок, грубо покрытый дранкой, служит своеобразной кладовой, где хранят вместе со съестными припасами старое тряпье. Когдаходишь в дом, то просто задыхаешься от запаха прогорелого сала и тошнотворных ароматов, которые распространяет вся эта гадость, эдакими люстрами свешивающаяся с потолка: связки свечей попеременно с колбасами, грязное белье, стоптанные башмаки — вместе с хлебом и мясом. Устройством большинство таких домов напоминает скорей крепость и одновременно походную палатку, нежели обыкновенное жилище. Дом стоит на высоком фундаменте, как бы съежившись под плоской крышей, куда залезают по приставной лестнице. В одном таком доме я случайно увидел образа, окруженные неприличными картинками. Правда, зашел я на постоялый двор, где порядочные женщины не появляются. Я прислушался к крестьянам, которые пили и разговаривали. Меня поразила их речь, которая, подобно странному соседству образов и картинок на стенах, была диковинной смесью священных клятв и самых грубых ругательств, что также указывало на сходство здешнего языка с просторечием римских окраин. Очевидно, жажда богохульства вызвана в них закоренелой привычкой в божбе.

Покамест я тебе описывал горцев. Те крестьяне, что живут ближе к городам и к центру этого края, более отесаны. Впрочем, у тех и других, как у римлян, я вижу не только указанные мною пороки, но и замечательные достоинства. Они честны и горды, в их обхождении нет и намека на подбострастие, а в гостеприимстве — большая искренность. В душах их запечатлены суровость и красота их земли и неба. Те из них, что веруют искренно, без ханжества, — люди богобоязненные и воистину религиозные; другие же, которым случилось бывать в разных местах или получить некоторые

практические знания, выражают свои мысли ясно, четко, с известной заносчивостью, что даже нравится тому, кто лишен этнических предрассудков.

Местные женщины с виду приветливы и неробки. Сердце у них, по-моему, доброе, а нрав необузданный. Им не столько недостает красоты, сколько женственности. Когда они молоды, их лица в обрамлении черных фетровых шапочек, украшенных стеклярусом и перьями, весьма привлекательны, в старости же они полны сурового достоинства. Только чересчур эти женщины мужеподобны: широкие, квадратные плечи не соответствуют тщедушному телу, а одежда так неопрятна, что и смотреть не хочется. Выцветшие тряпки едва прикрывают длинные грязные голые ноги горянок, и при этом они носят золотые украшения, даже бриллианты в ушах и на шее — странное сочетание роскоши к бедности, напомнившее мне нищенок в Тиволи.

Но трудолюбия у них хоть отбавляй. Искусство плести кружева переходит от матери к дочерям. Едва девочка начинает лепетать, как на колени ей кладут огромную подушку с роговыми булавками, а в руки дают набор коклюшек. Если в пятнадцать — шестнадцать лет девушка не становится замечательной мастерицей, ее считают дурочкой, которая зря ест свой хлеб. Но над этим прелестным и тонким искусством, которое так подобает терпеливым и ловким женским рукам, тяготеет уже тирания не священников, а торговцев, безжалостно обирающих велизианок. Поскольку все обитательницы Веле и большей части Оверни умеют плести кружева, все они в равной мере страдают от низких цен — мизерность вознаграждения за их труды просто потрясает. Здесь скупщик получает на работе ремесленника не те сто процентов барыша, которые с его точки зрения и законны и необходимы для дальнейшей торговли, — он зарабатывает впятеро больше. Правда, подчас жадность скупщиков карает их же самих, так как между ними возникает отчаянное соперничество, и они разоряют друг друга точно так же, как кружевницы обесценивают свое искусство, выполняя одну и ту же работу. Таков закон и проклятие торговли.

Кажется, я сдержал обещание и довольно рассказал тебе об этой стране. Ты, дорогой брат, просил меня написать длинное письмо, зная заранее, что в часы одиночества и бессонницы я буду терзаться

мыслями о себе, о своей печальной участи и скорбном прошлом, сидя здесь подле сына, который спит рядом, пока я пишу тебе. Конечно, присутствие Дидье берedit мои старые раны, и отвлечь меня от них, заставив заняться обобщением путевых впечатлений, значит оказать мне большую услугу. Тем не менее я бесконечно умиляюсь, глядя на него, и в этом умилении есть своя радость. Так как же можно запечатать письмо, не написав ни слова о Дидье?! Видишь, я колеблюсь, я боюсь твоей усмешки. Ты не раз говорил, что терпеть не можешь детей. А я, хоть и не чувствовал подобной неприязни, тоже избегал общаться с ними — ребяческая невинность страшила мой рассудок. Теперь я переменялся, и хотя ты, должно быть, станешь издеваться надо мной, мне нужно излить тебе душу. Да, да, друг мой, нужно. Чтобы ты узнал меня до конца, я должен превозмочь этот ложный стыд.

Понимаешь ли, брат, этого мальчика я обожаю; теперь уже ясно, что рано или поздно он станет единственной целью моей жизни. Я приехал к Дидье не из одного чувства долга — всем нутром я рвусь к сыну, стоит мне некоторое время прожить с ним в разлуке. Ему здесь хорошо, он ни в чем не нуждается, он крепнет, его любят. Приемные родители — прекрасные люди, которые заботятся о нем не только из корысти, а и потому, что, как вижу, привязаны к нему действительно. Живут они в уцелевшей и хорошо восстановленной части замка. Ребенок вырос среди развалин, на вершине большой скалы, под ясным небом, дышит чистым, бодрящим воздухом, окружен вниманием чистоплотных и заботливых людей. Сама хозяйка жила в Париже; она прекрасно знает, какой уход и сколько сил требуется для воспитания этого ребенка, сложенного не хуже ее собственных детей, но отличающегося от них более слабым здоровьем. Словом, я могу ни о чем не тревожиться и спокойно ждать, пока Дидье вступит в тот возраст, когда нужно будет пестовать и развивать не только его тело. И все-таки, когда Дидье нет рядом со мной, меня не оставляют тревоги. Его жизнь как бы держит в страхе и трепете мою собственную жизнь, но стоит мне увидеть Дидье, как все опасения исчезают, а горькие мысли улечиваются. Да что тут говорить! Я его люблю, чувствую, что он принадлежит мне, а я безраздельно принадлежу ему. Я вижу, что он вылитый я, да, он похож на меня гораздо больше, чем на свою бедняжку мать, и чем определеннее проступают его черты и характер,

тем труднее мне найти в нем то, что напоминает ее; видимо, материнским качествам так и не суждено проявиться. Вопреки установленному закону, согласно которому мальчики наследуют от матери гораздо больше, чем девочки, мой сын будет со временем вылитый отец, если станет развиваться в том же направлении, что сейчас. Уже сегодня я замечаю в нем отцовскую вялость и угловатую застенчивость — таким, по словам матушки, я был в детстве. У Дидье те же горячие порывы, которые понуждали матушку прощать меня и нежно любить, несмотря ни на что. В этом году Дидье впервые заметил, что я существую в его жизни. Поначалу он дичился меня, теперь же улыбается и даже немного болтает со мной. От его младенческих улыбок и лепета все внутри сжимается, а когда на прогулке он протягивает мне руку, сердце мое переполняется такой благодарностью к нему, что я с трудом прячу наворачнувшиеся слезы.

Но полно, не хочу, чтоб ты и меня почел за ребенка. Я написал тебе об этом, дабы ты не удивлялся тому, что ни о каких планах на будущее я не желаю слушать. Да, да, друг мой, не надо со мной говорить ни о любви, ни о браке. В душе моей не так много счастья, чтобы поделиться им с женщиной, которая заново войдет в мою жизнь. Этой жизни и без того едва хватает для исполнения моего долга, для того, чтобы окружить заботой Дидье, матушку и тебя. А если прибавить ко всему жажду знания, которая порою буквально снedaет мне душу, то где же взять время, чтобы разнообразить досуг молодой женщине, которая захочет счастья и веселья?! Нет, нет, об этом не стоит и думать, и если мысли об одиночестве, случается, страшат меня, ты помоги мне дожить до того часа, когда я полностью смирюсь с ними. Это может затянуться на несколько лет, и твоя дружба поможет их скоротать. Не отнимай ее у меня, будь снисходителен к моим недостаткам и великодушно принимай мои чистосердечные признания.

Матушка с мадемуазель де Сен-Жене, наверное, уже уехали в Севаль, и ты их проводил. Если матушка станет обо мне тревожиться, скажи, что получил мое письмо и что я еще в Нормандии».

VIII

В тот же самый день, когда маркиз писал это послание герцогу, мадемуазель де Сен-Жене сочиняла письмо сестре, где по-своему тоже описывала край, в котором теперь жила.

«Севаль, через Шамбон (Крез),

1 мая 1845

Вот мы и в деревне, сестрица! Это суший рай. Замок старый, небольшой, но довольно живописный, и все в нем отлично устроено для отдыха. Просторный, немного запущенный парк, разбитый, слава богу, не на английский манер. В нем полно красивых старых деревьев в плюще и вольно растут дикие травы. Прелестное место! Даже при новом разграничении департаментов это Овернь, но совсем близко от бывших пределов Марша, в миле от городка Шамбон, через который протекает дорога к замку. Городок этот очень удачно расположен. Въезжаешь в него по отлогой горе или, вернее, по склону довольно глубокого оврага, потому что гор здесь, строго говоря, нет. Оставляешь позади плоскогорье, где на тощей сырой земле растут низкорослые деревца и высокий кустарник, и спускаешься в длинное извилистое ущелье, которое местами так расплзается в ширину, что кажется долиной. На дне этого ущелья, которое скоро разветвляется, текут настоящие хрустальные реки; они не судоходные и вообще, пожалуй, не реки, а горные потоки, которые быстро несут свои пенистые воды, при этом совершенно безопасные. Мне, привыкшей к нашим широким равнинам и большим рекам в плоских берегах, всюду мерещатся пропасти и горы; маркиза же, выдавшая Альпы и Пиренеи, смеется надо мной и говорит, что все это миниатюрно, как ваза на столе. Поэтому, дабы не ввести тебя в заблуждение, я не стану продолжать свое восторженное описание, однако маркизе, довольно равнодушной к природе, не удастся умерить мое восхищение тем, на что я все время смотрю.

Это край листвы и трав, вечнозеленая колыбель, колеблемая ветром. Река, бегущая по оврагу, зовется Вуэзой и, сливаясь в

Шамбоне с речкой Тардой, принимает название Шар, которая в первой же долине переименовывается во всем известную Шер. Мне же больше нравится название Шар¹ — оно так удивительно подходит этой реке, которая, совсем как коляска на мягких рессорах, катит воды по отлогому склону, и ничто не в силах нарушить их безмятежного течения. Дорога тоже гладкая, песчаная, точно садовая аллея; она окаймлена величавыми буками, а меж их стволами сквозят настоящие луга, напоминающие в это время года пестрые ковры. Как это красиво, дорогая! Не то что наши искусственные газоны, где растет всегда одно и то же, а куртины тянутся правильными рядами. Здесь ноги топчут два, а то и три слоя мягкой земли, поросшей мхом, тростником, ирисами и самыми различными травами и цветами, одни красивее других: тут и водосборы и незабудки — чего только нет! Все, что душе угодно, и все растет безо всякого присмотра, появляясь аа свет каждый год. Землю тут не перепахивают каждые три-четыре года, не ворошат корни растений и не затевают чистку почвы, как того вечно требует наша ленивая земля. Больше того: ее часто вообще не возделывают или возделывают плохо; оттого, видно, на пустошах весело буйствует природа, цветя привольно и дико. То и дело цепляешься за разросшийся терновник и чертополох с такими широкими, жесткими и причудливо вырезанными листьями, что удивительной своей формой и рисунком они напоминают тропические растения.

Проехав долину (я пишу о вчерашнем дне), мы стали подыматься в гору по обрывистой дороге. Было влажно, туманно и красиво. Я попросила позволения выйти из экипажа и с пятисотшестисотфутовой высоты принялась разглядывать зеленый овраг. Внизу, в отдалении, по берегу реки жались друг к другу деревья, а деревенские мельницы и шлюзы наполняли воздух мерным, глухим шумом, и к их гудению примешивались звуки неизвестно откуда взявшейся волынки, которая без конца повторяла наивный мотив. Шедший передо мной крестьянин стал петь, верно вторя мотиву, словно решил помочь деревенскому волынщику довести песенку до конца. Ее слова, лишенные рифмы и смысла, так поразили меня, что я решила тебе их написать:

*Скалы мои твердые!
Нет, ни солнцу ясному,*

*Даже белу месяцу
Вас не растопить.
А полюбит парень,
Горю нет конца.*

В этих крестьянских песнях есть неизъяснимое очарование, и музыка, безыскусная как стихи, столь же очаровательна, чаще всего грустная, навевающая грезы. Даже я, которой можно мечтать только урывками, ибо время мое мне не принадлежит, была так поражена этой песенкой, что стала раздумывать, отчего это «даже белу месяцу» не растопить эти скалы; все потому, что и ночью и днем печаль влюбленного парня тяжела, как его скалы.

На самой вершине горы, ощеренной этими твердыми скалами (маркиза сказала, что они не больше песчинок, но я отродясь не видела такого прекрасного песка), мы выехали на тропу, которая была еще уже дороги, и, мигом вставив позади лесистые склоны, подъехали к замку. Отсюда он весь скрыт разросшимися деревьями и кажется не очень величественным, но зато как на ладони виден живописный овраг, который только что миновали.

Снова обводишь глазами его крытые скалистые склоны, поросшие кустарником, речку с деревьями над водой, луга, мельницы, извилистую теснину, где она струится меж берегов, которые становятся все уже и обрывистее. В парке бьет источник, который потом, срываясь со скалы, разбивается на тысячу брызг. В саду полно цветов, на скотном дворе много животных, за которыми мне можно ухаживать. У меня чудесная комната, уединенная, с красивым видом. Самое просторное помещение в замке отведено под библиотеку. Гостиная маркизы своим расположением и обстановкой напоминает парижскую; она только, пожалуй, шире, в ней больше воздуха и легче дышать. Наконец-то мне стало хорошо и спокойно, наконец я ожила! Подымаюсь на рассвете; маркиза, слава богу, встает тут не раньше, чем в Париже, так что, пока она спит, досуг свой я буду проводить самым приятным образом. Собираюсь вволю гулять, писать тебе письма и думать о вас! Как жаль, что здесь нет наших малышей Лили или Шарло — вот бы погуляли вместе, а я заодно познакомила бы их с деревенской жизнью. Привязаться к крестьянским детишкам, которых часто встречаю, никак не удастся. Стоит их сравнить с твоими, и я

понимаю, что опасных соперников в моем сердце у них не будет. А покамест мне так весело бегать по полям, хоть и грустно думать, что теперь я от вас еще дальше, чем прежде. Когда же мы увидимся?

Да, скалы мои тверды! Но, право, зачем бороться с теми, что встают преградой в жизни таких бедняков, как мы с тобой? Нужно исполнять свой долг и любить маркизу, а это не трудно. С каждым днем она все добрее ко мне, по-матерински балует меня, и я порой забываю о своем положении приживалки. Мы рассчитывали застать в Севале маркиза, который обещал матери приехать. Очевидно, он появится немного погодя. Герцог же, думаю, не преминет предстать перед нами на будущей неделе. Будем надеяться, что в деревне он станет так же обходителен со мной, как недавно был в Париже, и больше не захочет испытывать мое остроумие...

В другой раз Каролина писала сестре о том, как судит маркиза о сельской жизни.

— Дорогое мое дитя, — говорила она мне. — Чтобы любить деревню, нужно бессмысленно любить землю или слепо — природу. Между тупостью и чудачеством середины нет. Вы знаете, что по-настоящему меня занимают только светские дела, а к природе, живущей по незыблемым и непреложным законам, я довольно равнодушна. Эти законы учреждены господом богом, стало быть, они прекрасны и справедливы. Человек может постигать их, восхвалять и даже восторженно описывать, но изменить их он не в силах; они останутся такими, какие есть. Когда вы расточаете восторги цветущей яблоне, я не могу вас за это упрекнуть. Напротив, я считаю, что ваши восторги справедливы, но, право, стоит ли славословить яблоню, которая вас не слышит, цветет не для вашего удовольствия и будет цвести, если вы ничего и не скажете. Не забивайте, когда вы восклицаете: «Как прекрасна весна!», что это все равно как если б вы сказали: «Весна есть весна». Да, да, летом жарко, потому что господь создал солнце, в реке прозрачная вода, потому что она проточная, а проточная она потому, что река бежит по холмистому склону. Это красиво, потому что во всем есть великая гармония, а не будь этой гармонии, ничего бы и не было.

Как видишь, маркиза — натура прозаичная и всегда находит логические оправдания тому, что чего-то не чувствует и не понимает.

Этим она похожа на остальных людей, и, верно, мы поступаем точно так же, когда природа нас в чем-то обделит.

Пока маркиза рассуждала так, отдыхая на садовой скамье от утомительного моциона — а моцион-то весь сто шагов по песчаной дорожке — к калитке подошел крестьянин и предложил кухарке рыбу; та сразу же принялась торговаться. В нем я узнала того самого человека, который шел передо мной в день приезда и пел песенку про твердые скалы.

— О чем вы задумались? — спросила маркиза, перехватив мой взгляд, обращенный на крестьянина.

— Я думаю, — отвечала я, не спуская глаз с этого славного малого, — что хотя этот крестьянин не яблоня и не река, тем не менее в лице его есть что-то удивительное.

— Что же, позвольте узнать?

— Боже мой, если б я не боялась произнести модное словечко, которое вы так не любите, то сказала бы, что у этого человека явно есть характер.

— С чего вы это взяли? Не оттого ли, что он так упорно не сбавляет цену? Ах, простите, поняла! Вы хотите сказать, что у него характерный облик. Видите, у меня даже вышел невольный каламбур. Совсем запамятовала, что это словечко из лексикона сочинителей и живописцев. Теперь и ткань, и скамейка, и котелок обладают особой характерностью, а это, в свой черед, означает, что у котелка форма котелка, скамейка похожа на скамейку, а ткань действительно во всем подобна ткани. Или это неверно, и у ткани характерные черты облака, у скамейки — характерные признаки стола, а у котелка — характерные особенности колодца? Нет, с этим словом я никогда не примирюсь!

Потом маркиза заговорила о местных крестьянах.

— Люди они неплохие, не столько плуты, сколько хитрецы. Жадны до денег, оттого что живут в нужде, но заработанные гроши на ветер не бросают. Всё копят на покупки и в один прекрасный день, опьянев от радости, набирают всякой всячины, залезают в долги и разоряются. Кто поумнее и расторопнее, тот дает деньги в рост, наживается на этой жажде приобретательства, будучи в полной уверенности, что земля к нему вернется по даровой цене, потому что рано или поздно клиент обанкротится. Оттого-то некоторые крестьяне

выходят в богачи, а большая часть идет по миру. Да, такова печальная изнанка естественного отбора. Ведь эти люди живут инстинктами, роковыми инстинктами, почти теми же, что заставляют цвести эти яблони. Поэтому крестьяне и не интересуют меня. Я охотно помогаю калекам, вдовам, малым детям и юродивым, а здоровые люди пускай сами выпутываются. Их упрямству и ослы позавидуют.

— А есть что-нибудь интересное в деревне, сударыня?

— Ничего решительно. Люди ездят в деревню из-за хорошего воздуха, чтобы поправить здоровье и денежные дела. Так уж заведено, что все уезжают из Парижа в ту пору, когда он вполне сношен. Знаете, раз другие едут, значит, и тебе надо ехать.

Я заметила, что эта беседа порядком наскучила маркизе, и, желая развеселить ее, спросила:

— Неужели тут нет какого-нибудь смешного соседа, над которым и подшутить не грех?

— Никого нет, дорогая, увы! Какие там шутки, когда здесь свили себе гнездо только распутство или несчастье! Все ваша милая цивилизация! Понастроили железных дорог, и от бывшей провинции скоро следа не останется. Скоро провинциалов днем с огнем не сыщешь. Уж не знаю, куда и ехать, чтобы хоть плохонького найти. Теперь деревенский буржуа ничем не уступит буржуа из Маре, а светский человек везде себе найдет салоны не глупее парижских. То, что я смолоду повидала в деревне, того нынче и в помине нет.

— А кого вы там видели, расскажите!

— Кого? Очень колоритные личности там жили, буржуа, которые по три года готовились к тому, чтобы раз в жизни провести месяц в Париже. А перед тем еще завещание составляли, дорогая моя! Я вовсе не шучу и готова насчитать двадцать человек, которые и по сей день еще живы. Кого я близко в то время знала, так это наших деревенских «бар» — так их в ту пору величали, не иначе! Славные, добрые дворянчики были! В годы революции учиться они не могли и, как средневековые сеньоры, похвалялись тем, что едва умеют расписаться. С виду они больше крестьян напоминали: носили грубое платье, даже сабо иногда, и пудрились, между прочим. Только не было в них этой крестьянской нерасторопности и притворного смирения, ходили эдакими спесивыми фанфаронами, всем были недовольны, честили правительство с утра до вечера. Мы с сестрой очень веселились, глядя

на них, — были еще девчонками, о политике понятия не вмели. Помню, как мы прыскали со смеху, когда эти несчастные дворянчики грозились отомстить господину Буонапарту и клялись, что шпаги у них не заржавели. В ту пору соседи виделись реже, чем сейчас, зато гостили друг у друга подолгу. Приезжали на неделю с лишком, поневоле приходилось дружить со скучными людьми, которые при случае платили вам за это преданностью. Из-за бездорожья такой дворянин делал по восемь — десять миль верхом на лошадях, жена его восседала за ним на лошадином крупе, а впереди иной раз сидел и ребенок. Заглядывали и деревенские франты, одетые под стать «картавым щеголям» 1810 года, непременно верхом, в белых чулках и лакированных туфлях-лодочках, скрытых под толстыми суконными панталонами, которые застегивались сверху донизу; перед тем как войти в гостиную, их снимали на конюшне. Впрочем, оно гораздо приличнее, чем приходиться с утренним визитом в ботфортах и лосинах, от которых разит лошадь. Однако нынешние дамы этого не замечают: от вонючих мужских сигар им, видно, носы заложило. У сегодняшнего сельского дворянчика вид, конечно, намного отесанней, чем у тех, о ком я говорю: он знает то, о чем нынче говорят в обществе: читает газеты, получил образование или несколько раз наведалься в большие города, словом — пообтерся в светском потоке, который все булыжники обтачивает на один манер. От него не услышишь наивного вздора, который прежде забавлял всех: он не спросит вас, можно ли вечером появиться в Париже на улице, не опасаясь разбойников, и правда ли то, что по Елисейским полям гуляют голые женщины. Он уже не целует вашу перчатку, перед тем как передать ее вам, но он ее и не поднимает. Легкомысленных особ он больше не презирает, зато презирает всех женщин зараз, а воров просто не боится. Зачем их бояться, если в кармане у него ни гроша, да и приезжает он в Париж только затем, чтобы играть на бирже или взять деньги под залог у ростовщиков-евреев.

Я умышленно воспроизвела кусочек нашего разговора, сестрица, чтобы ты поняла, в каком черном цвете видит маркиза нашу современность. Ты заодно и составишь представление о нашей жизни, «пустословия» которой, как ты пишешь, никогда не сможешь понять. О чем бы ни зашла речь, маркиза все подвергает критике, иногда веселой и добродушной, а подчас язвительной и злой. Она слишком

много говорила в своей жизни, чтобы быть счастливой. Она всегда думала вслух совместно с двумя, тремя, а то и тридцатью собеседниками зараз, не имея ни минуты собраться с мыслями. Разве так можно растрчивать себя? Не успеваешь даже задаться вопросом, все только поддакиваешь — иначе спор прекратился бы, а беседа иссякла. Вынужденная вести эти словопрения, я не устояла бы перед сомнениями и отвращением к себе подобным, если бы у меня не было в распоряжении целого утра, чтобы прийти в себя и сосредоточиться. Хотя остроумие и доброта госпожи де Вильмер скрашивают наше бесплодное времяпрепровождение, я жду не дождусь приезда маркиза, который хоть изредка сможет присоединиться к нашему праздному велеречию».

Маркиз и вправду приехал через неделю, приехал озабоченный, отрешенный, и Каролина нашла, что с ней он обходится особенно холодно. Маркиз сразу же погрузился в свои любимые занятия и появлялся только перед обедом; его поведение огорчало Каролину, так как она видела, что маркиз еще тверже, чем прежде, отстаивает свои убеждения в споре с матерью, приводя этим в восторг госпожу де Вильмер, больше всего боявшуюся замкнутости и молчаливости Урбена. Заметив, что нет необходимости поддерживать эти беседы, и думая, что она скорее стесняет маркиза, нежели помогает ему, Каролина стала избегать его общества и позволяла себе уходить по вечерам раньше, чем обычно.

IX

Когда через две недели приехал в свой черед и герцог, домашняя обстановка его не на шутку озадачила. Растроганный письмом брата, которое тот отправил ему из Полиньяка, но догадываясь, что в Урбене больше душевного разлада, чем решимости, герцог оттягивал свой приезд в расчете на то, что сельское приволье и уединение подействуют на молодые сердца, растревоженные, как он думал, его вмешательством, и приведут их к полному согласию. Ему и в голову не приходило, что Каролина чужда кокетству или пустой мечтательности и что маркиз находится во власти глубоких сомнений, подлинного страха и внутренней раздвоенности.

«Что же произошло? — недоумевал герцог, заметив, что между маркизом и Каролиной нет теперь даже бывшего дружеского расположения. — Неужели требования морали так скоро погасили любовное пламя? Или, быть может, брат объяснился с ней и получил отказ? Отчего он так помрачнел — с досады или от страха? А может, мадемуазель де Сен-Жене жеманница? Не похоже. Честолюбива? Вряд ли. Видимо, маркиз не нашел нужных слов, весь свой ум приберегает для своих занятий, вместо того чтобы послать его на помощь зарождающейся страсти».

Герцог, однако, не спешил докопаться до истины. Он пребывал в большой нерешительности. Ему удалось разузнать, в каком состоянии находятся дела Урбена, который, как выяснилось, имел всего лишь тридцать тысяч ренты, из них двенадцать тысяч шли в виде пенсии герцогу. Остальные деньги почти целиком уходили на содержание матери, а сам маркиз жил в своем имении, тратя на себя не больше, чем если бы он был скромным гостем.

Герцог был удручен таким положением: ведь оно было делом его рук, а брат, казалось, даже и не вспоминал об этом. Собственное разорение герцог пережил стоически. Он вел себя как истинный аристократ и хотя утратил многих своих приятелей по кутежам, зато обрел нескольких верных друзей. Он сильно вырос во мнении света: герцог так мужественно и достойно искупал грехи своей шалой и порочной молодости, что ему простили и прежние скандальные

истории, и горе, причиненное нескольким семействам. Он умно играл свою нынешнюю роль, и лишь одно нарушало его равновесие: угрызения совести из-за брата, которые так истерзали его, что он утратил и решимость и проницательность. При всем своем безрассудстве, герцог по сути своей был добрый человек; поэтому он сейчас измышлял способы, как сделать брата счастливым. То он убеждал себя в том, что только любовь может скрасить уединенную и безрадостную жизнь маркиза, то собирался разжечь в нем честолюбие и, развеяв предубеждения Урбена, заговорить с ним о женитьбе не богатой особе.

Об этом же мечтала и маркиза. Мечтала давно, а теперь вынашивала этот замысел еще упорнее. Она твердо верила, что обязательно найдется какая-нибудь прелестная наследница, которая разделит с ней восхищение великодушием маркиза. Она доверительно сообщила Гаэтану о переговорах со своей приятельницей герцогиней де Дюньер, которая прочла в жены Урбену некую барышню Ксентрай, очень богатую и, по рассказам, красивую сиротку, скупавшую в монастыре и тем не менее весьма требовательную по части душевных качеств и происхождения претендента на ее руку. Судя по всему, женитьба Урбена на ней была делом вполне возможным, лишь бы маркиз дал согласие, а он не соглашался, говоря, что женится только в исключительном случае и что совершенно не способен явиться с визитом к незнакомой девушке в надежде ей понравиться.

— Постарайтесь, сын мой, победить его нелюдимость, — сказала госпожа де Вильмер герцогу на следующий день после его приезда. — Мое красноречие совершенно бессильно.

Герцог незамедлительно исполнил материнское поручение, но маркиз с недоверием и безучастием выслушал брата, не сказал ему нет, однако отказался что-либо предпринять, повторяя, что надо ждать, когда случай познакомит его с этой особой и что, если она ему понравится, он со временем попробует разузнать, взаимно ли его чувство. Сейчас все равно действовать невозможно: живут они в деревне, и спешить некуда: он не более несчастен, чем всегда, и занятий у него по горло.

Досадуя на проволочку, маркиза по-прежнему переписывалась с подругой и, не желая вмешивать в брачные переговоры Каролину,

избрала герцога секретарем.

Убедившись, что женитьба маркиза отодвигается по крайней мере на полгода, герцог снова вернулся к мысли временно развлечь брата деревенским романом. Героиня его была, можно сказать, под рукой, и она была очаровательна. Явное охлаждение маркиза, вероятно, немного задело ее, и герцогу не терпелось разгадать причину этой перемены. Он, однако, потерпел полное фиаско: маркиз был непроницаем. Вопросы брата, казалось, даже удивили его. Дело же заключалось в том, что Урбену и не приходило в голову поухаживать за мадемуазель де Сен-Жене. Ведь в этом случае ему пришлось бы самым серьезным образом поступиться совестью, а поступаться ею было не в его правилах. Земная прелесть Каролины невольно увлекала маркиза, и он отдался этому влечению безо всякой задней мысли. Потом благодаря стараниям герцога, попытавшегося пробудить в нем ревность, Урбен обнаружил, что бессознательное чувство к девушке пустило в его сердце глубокие корни. Несколько дней маркиз мучительно страдал. Он раздумывал, свободен ли он, и быстро пришел к выводу, что между ним и его свободой стоят госпожа де Вильмер, мечтающая о выгодном для него браке, и сын, которому он обязан отдать жалкие крохи своего состояния. К тому же маркиз предвидел, какое неодолимое сопротивление он встретит со стороны недоверчивой и самолюбивой мадемуазель де Сен-Жене. Хорошо изучив ее нрав, он был уверен, что Каролина никогда не согласится встать между ним и его матерью. Посему маркиз почел за благо не делать опрометчивых шагов: не докучать напрасной назойливостью Каролине и не совершать низкого поступка, воспользовавшись доверием этой чистой души. В трудной борьбе с самим собой маркиз, казалось, одержал почти немыслимую победу. Свою роль он сыграл так искусно, что провел даже герцога. Подобные твердость духа и благородство, очевидно, превосходили понятия Гаэтана о чувстве долга в таких обстоятельствах. «Я ошибся, — думал он. — Мысли брата заняты одной исторической наукой. С ним следует говорить только о его книге».

С тех пор герцог размышлял об одном: чем занять свое воображение, чтобы скоротать эти праздные полгода. Охота, чтение романов, беседы с матерью, сочинение романсов — всего этого было мало уму, столь безудержному в своих фантазиях, и, естественно,

мысли герцога постепенно заняла Каролина, единственная, с его точки зрения, особа, которая могла расшевелить и увлечь поэтичностью натуры его коснеющий мозг. Герцог дал себе слово шесть месяцев в году проводить в Севале — решение весьма благородное для человека, который любил жить в деревне только на широкую ногу. Он рассчитывал, что эти месяцы скромной жизни у брата позволят ему ежегодно отказываться от половины своей пенсии, то есть от шести тысяч франков; если же маркиз отвергнет его жертву, с помощью этих денег он приведет в порядок и перестроит замок Урбена. Но чтобы вознаградить себя за такую добродетель, ему нужна была любовная интрижка — без этого добродетель милого герцога обойтись не могла.

«Как же быть? — размышлял он. — Ведь я поклялся и брату и матушке оставить Каролину в покое. Есть только одно средство, вероятно более простое, чем все обычные способы. Нужно окружить Каролину вниманием, по виду совершенно бескорыстным, быть с ней почтительным без намека на волокитство и вести себя так дружественно и непринужденно, чтобы внушить ей полное доверие ко мне. Так как при этом не возбраняется проявлять остроумие, учтивость и преданность, которые я выказал бы, ухаживая за ней неприкрыто, то Каролину, вполне вероятно, тронет мое обхождение, и она сама постепенно освободит меня от данного обета. Женщина всегда удивляется, когда после двух-трех месяцев дружеской близости с ней не заводят речи о любви. Потом и она заскучает, видя, что брат продолжает смотреть на нее пустыми глазами... Словом, поглядим! Покорить сердце, за которым охотишься, не показывая вида, следить за тем, как добродетель уступает, и прикидываться, будто ты тут ни при чем — ощущения острые и новые. Я не раз наблюдал, как ведут себя при этом кокетки и жеманницы, — интересно поглядеть, как выйдет из такого положения мадемуазель де Сен-Жене».

Поглощенный этой самолюбивой мальчишеской затеей, герцог не испытывал скуки. Впрочем, грубый разврат ему всегда претил, и волокитство его неизменно отмечала печать изысканности. Он так рьяно прожигал свою жизнь, что изрядно растратил собственные силы, и теперь ему ничего не стоило обуздать свои порывы. Герцог сам говорил, что был бы не прочь восстановить утраченное здоровье и свежесть, а временами даже мечтал вернуть молодость и сердцу, ту

самую молодость, внешние признаки которой он сумел сохранить в своих речах и повадках. И так как теперь его мозг вынашивал бессовестную любовную интригу, герцог считал, что еще вполне подходит к роли романтического воздыхателя.

Он так искусно плел сети, что мадемуазель де Сен-Жене в душевной своей скромности сразу попала на крючок его мнимой добропорядочности. Видя, что герцог больше не ищет с ней встреч наедине, Каролина перестала его избегать. Герцог же, непрестанно наблюдая за ней исподтишка, как бы невзначай, сам того не желая, наталкивался на Каролину во время ее прогулок и, притворяясь, будто не хочет длить эти встречи, удалялся, подчеркнуто ненавязчивый и вместе с тем будто слегка опечаленный, так что его изысканная любезность граничила с вызывающим равнодушием.

Герцог действовал так хитро, что Каролина ничего не заподозрила. Да и как могла она, при ее прямоте, вообразить себе подобный план? Через неделю Каролине было с герцогом легко и спокойно, точно он никогда и не внушал ей недоверия, и она так писала госпоже Эдбер:

«После некоего семейного события герцог переменялся к лучшему. Он остепенился, или же госпожа де Д*** с самого начала взвела на него напраслину. Вероятно, так оно и есть: мне просто не верится, как такой благовоспитанный человек способен погубить женщину только ради того, чтобы похвастаться еще одной победой. Она (госпожа де Д**) уверяла, что распутный и тщеславный герцог поступал так со всеми своими жертвами. Право, не знаю, что такое распутство у высокородных господ. Я жила с людьми рассудительными и разгул видала только у бедняков-рабочих, которые напивались до потери сознания и в припадке неистовства избивали своих жен. Если порочность знатных господ заключается в том, что они компрометируют светских женщин, значит, многие светские женщины позволяют себя компрометировать — иначе откуда у герцога д'Алериа взялись бы его бесчисленные жертвы? По-моему, женщинами он интересуется весьма умеренно и при мне ни об одной плохо не говорил. Напротив, герцог превозносит добродетель и утверждает, что она для него превыше всего на свете. В вероломстве, по-моему, упрекать ему себя не приходится, так как он четко делит

женщин на тех, кто уступает мужским уловкам, и на тех, кто проявляет твердость. Не знаю, быть может, герцог всех морочит, но мне он кажется человеком, который любил искренно и преданно. Таким его, по-моему, считают мать с братом, да и я склонна думать, что натура он искренняя, хотя и непостоянная, и что нужно было быть очень доверчивой или очень тщеславной, чтобы надеяться прочно привязать его к себе. Я не сомневаюсь, что он сорил деньгами, играл в карты, пренебрегал семейными обязанностями, опьянялся роскошью и прочим вздором, недостойным серьезного человека. Все это плоды его легкомыслия и тщеславия, а они, в свой черед, порождены неправильным воспитанием и слишком беззаботной юностью. Этим людям нужна не привила чувства долга, а учили их лишь тому, что несовместно с понятиями бережливости и предусмотрительности. Наш бедный отец тоже разорился, но кто посмеет поставить это ему в вину? Герцога, как ни силюсь, я даже не могу упрекнуть в щегольстве — оно ему совершенно чуждо. Одевается он здесь как любой местный дворянчик. Ходит в вязаной куртке за тридцать франков и всех располагает к себе добродушием и простотой. О прошлых победах даже словом не обмолвится, достоинствами своими не кичится, а их у него не отнять: он остроумен, все еще очень красив, прелестно поет и вдобавок сочиняет романсы, правда, пустяковые, но не лишены известного изящества. В беседе он приятен, хоть глубиной мысли не блещет, так как читал одни легкомысленные книжки, в чем чистосердечно признается. Однако к серьезным материям герцог не безразличен, часто спрашивает брата о всякой всячине и слушает его внимательно и с полным уважением.

А маркиз? Он по-прежнему ничем не замутненное зеркало, образец всевозможных совершенств, доброты и редкой скромности. Он очень занят большим историческим сочинением, о котором герцог рассказывает чудеса, и я этому несколько не удивляюсь. Природа поступила бы безрассудно, лиши она маркиза способности выражать глубокие мысли и возвышенные чувства, которыми так щедро наделила его душу. Он сейчас как-то благоговейно сосредоточен на своей работе, поэтому, вероятно, и стал сдержаннее со мной и откровеннее с матерью и братом, чем прежде. За них я радуюсь, за себя не обижаюсь: вполне естественно, что он не ждет от меня глубоких мыслей о столь серьезных предметах и предпочитает

обсуждать их с людьми более зрелыми и сведущими в исторической науке. В Париже он весьма участливо относился ко мне, особенно в тот день, когда брат его осмелился дерзко поддразнивать меня. И хотя теперь он этого участия не проявляет, я не думаю, что интерес его ко мне полностью иссяк: возможно, при случае он проявится опять. Правда, новый случай вряд ли представится, потому что герцог образумился, тем не менее я очень благодарна маркизу за то, что тогда он оказал мне такую драгоценную поддержку».

Читатель видит, что если Каролина и была огорчена внезапным охлаждением маркиза де Вильмера, она сама не отдавала себе в этом отчета и подавляла смутное чувство обиды. Ее женское самолюбие не было задето, ибо Каролина знала, что у маркиза нет оснований относиться к ней с меньшим уважением, чем прежде, а так как ничего, кроме уважения, она не хотела и не ждала, то сдержанность маркиза приписывала его погруженности в глубокомысленные занятия.

Но как ни убеждала себя в этом Карелнна, тем не менее она тосковала. Писать об этом сестре она остерегалась, да Камилла и не сумела бы вселить в нее бодрость. Она писала Каролине нежные письма, полные сетований на ее самопожертвование и долгую разлуку. Каролина от всего оберегала мягкую и боязливую душу сестры, которую привыкла по-матерински любить и по мере сил поддерживать, неизменно выказывая твердость и спокойствие. Но и у Каролины бывали часы безмерной усталости, когда страх одиночества сжимал ей сердце. И хотя большую половину дня она была здесь более обременена обязанностями, чем дома, у нее оставались свободными утро и поздний вечер, когда можно было насладиться уединением и поразмыслить о собственной судьбе. Это была опасная свобода, которой она никогда не располагала в своей семье, где на руках у нее было четверо детей и где всегда царила нужда. В такие свободные часы Каролина предавалась поэтическим раздумьям и временами находила в них упоительную сладость, а временами они порождали беспричинную, смутную горечь, и тогда природа становилась ей враждебной, прогулки утомительными, а сок не приносил отдыха.

Она мужественно боролась с хандрой, но приступы ее не ускользнули от зорких глаз герцога д'Алериа. Порой он замечал у Каролины синеву под глазами и слабую, вымученную улыбку. Герцог решил, что пришло время действовать, и еще старательнее начал расставлять силки. Он стал держаться с Каролиной еще внимательнее и предупредительней, а заметив, как она ему благодарна, не преминул деликатно намекнуть, что любовь тут ни при чем. Но как герцог ни ухищрялся, он напрасно терял время. Каролина была так прямодушна, что попросту не видела этих хитроумных уловок. Когда герцог расточал ей утонченные знаки внимания, она приписывала их дружескому расположению, когда же он пытался уязвить ее нарочитой холодностью, она радовалась новому доказательству того, что он питает к ней только дружбу. Самолюбие мешало герцогу распознать, что его отношения с Каролиной вступили в новую фазу. Ее доверие к нему действительно вернулось, но если бы глаза ее вдруг прозрели, она испытала бы не горе, а лишь глубокое удивление и презрительную жалость. Каждое утро герцог чаял увидеть на ее лице выражение досады или нетерпения, однако обнаруживал лишь легкую печаль и, в детском своем эгоизме считал себя тому причиной, втихомолку радовался. Но ему этого было недостаточно. «А я-то считал ее пылкой! — размышлял он. — Даже в грусти ее есть какое-то безразличие, и кротости в ней гораздо больше, чем огня».

Но постепенно кротость эта начала пленять герцога. Ему чудились в ней неведомая доселе покорность судьбе, душевная скромность, неверие в свою привлекательность, мягкое смирение, и он был глубоко тронут.

«Она прежде всего добра, — твердил он себе, — сущий ангел! Какое счастье разделить жизнь с такой женщиной, насладиться ее благодарностью и нетребовательностью. Право, она даже не понимает, что можно приносить мучения другим, только сама терзается — и как стойко!»

Чем пристальнее герцог следил за своей жертвой, тем сильнее она его трогала и даже умиляла. Он поневоле признался себе, что робеет подле нее и тяготится своим жестоким замыслом. Через месяц он начал терять терпение и уверять себя, что нужно ускорить развязку, но вдруг понял, что это почти невозможно. Каролина все еще была

воплощенной добродетелью, и он не мог нарушить свое обещание, ибо, проявив излишнюю поспешность, разом загубил бы все.

Как-то раз, придя к матери, герцог сказал:

— Я только что объезжал жеребенка с вашей фермы. Очень он забавный. Ни дать ни взять вепрь, и аллюр такой же. Горячий малыш, прекрасные ноги, и в то же время спокойный. Если мадемуазель де Сен-Жене любит верховую езду, она могла бы на нем кататься.

— Очень люблю, — ответила Каролина. — Отец требовал, чтобы я ездила верхом, и я с радостью подчинялась ему.

— Значит, вы хорошая наездница?

— Нет, но я хорошо сижу в седле, и рука у меня легкая, как у всех женщин.

— Как у всех женщин-наездниц, потому что обычно женщины — создания нервные и хотят обуздывать лошадей точно так же, как мужчин. Но это, по-моему, не в вашем характере.

— Что касается людей, я боюсь вам что-либо сказать. Я никогда никого не обуздывала.

— Но когда-нибудь вы все же попытаетесь, не правда ли?

— Не думаю.

— И я не думаю, — вмешалась маркиза. — Это невозможно. Каролина не хочет выходить замуж, и согласитесь, что в ее положении это более чем рассудительно.

— О, конечно! — ответил герцог. — Когда нет состояния, семейная жизнь превращается в настоящий ад.

Герцог взглянул на Каролину — не отразится ли на ее лице огорчение после таких слов, но оно было безучастно. Каролина искренно и бесповоротно отказалась от замужества.

Герцог, желая выяснить, допускает ли она возможность непоправимой ошибки, но боясь попасть впросак, добавил:

— Да, это настоящий ад, если, конечно, нет сильной страсти, которая помогает все вынести до конца.

Каролина по-прежнему хранила спокойствие и, казалось, не слышала слов герцога д'Алериа.

— Ах, сын мой! — воскликнула маркиза. — Какой вздор вы говорите! Право, подчас вы рассуждаете, как малый ребенок.

— Вы прекрасно знаете, что я и есть малый ребенок, — ответил герцог, — и собираюсь остаться им до конца своих дней.

— Нет, вы просто младенец, если полагаете, что можно жить в нищете и быть при этом хоть капельку счастливым, — заметила маркиза, любившая поспорить. — О каком счастье речь, если нищета убивает все, даже любовь.

— Вы тоже такого мнения, мадемуазель де Сен-Жене? — спросил герцог.

— На этот счет у меня нет никакого мнения, — сказала Каролина. — Я ничего не знаю о жизни дальше определенной черты, но, пожалуй, больше согласна с вашей матушкой, нежели с вами. Я знала нищету, но страдала главным образом оттого, что видела, какой тяжестью она ложится на дорогих мне людей. Поэтому не следует усложнять нашу жизнь и выходить за положенные нам пределы, она и без того трудна. В противном случае тебя ждет одно отчаяние.

— Боже мой, все на свете относительно! — сказал герцог. — Что одни считают нищетой, то другим кажется роскошью. Имей вы двенадцать тысяч ренты, разве вы не чувствовали бы себя богатой?

— Конечно, чувствовала бы, — ответила Каролина, забыв, или, вернее, даже не зная, что этой цифрой исчислялся нынешний доход герцога.

— Хорошо, — продолжал герцог, желая одной фразой внушить надежду, а другой уничтожить ее, только бы смутить ясную или, может быть, робкую душу Каролины. — Представим себе, что некто предложил вам это небольшое состояние и в придачу к нему подлинную любовь?

— Я не смогла бы их принять, — ответила Каролина. — У меня на руках четверо детей, которых нужно кормить и воспитывать. Какому мужу понравится такое прошлое?

— Каролина прелестна! — умилилась маркиза. — Она говорит о своем прошлом, словно она вдова.

— Ах, а я и не упомянула о моей овдовевшей сестре. Со мной и старой, преданной служанкой, которая разделит с нами последний кусок хлеба, нас семеро, равным счетом семеро. Какой же молодой человек с двенадцатью тысячами дохода женится на мне? Он был бы просто безумцем!

Каролина всегда говорила о своем положении легко, даже весело, выказывая прямоту своего сердца.

— Пожалуй, вы правы! — ответил герцог. — С вашей завидной решимостью и стойкостью вы одна одолеете любые невзгоды. Думаю даже, что мы с вами единственные настоящие философы на свете. Для меня бедность тоже пустяк, когда приходится отвечать только за себя одного, и должен сказать, что никогда я не был так счастлив, как теперь.

— Вот и прекрасно, сын мой, — сказала маркиза с едва заметной тенью упрека, которую герцог тем не менее тотчас уловил и потому поспешно добавил:

— Но счастье мое станет безграничным в тот день, когда брат мой вступит в задуманный нами брак, а ведь он в него вступит, матушка?

Каролина повернула голову и взглянула на часы, но маркиза остановила ее:

— Нет, нет, они идут исправно. Отныне, милочка, у меня от вас нет никаких секретов, а посему вам следует знать, что сегодня я получила хорошие вести относительно того важного дела, которое я предприняла ради счастья моего сына. Я не прибегла к помощи вашей прелестной руки в этой переписке вовсе не потому, что вам не доверяю, — тут причины другие. Прочтите нам это письмо, о котором мой старший сын еще не знает.

Каролине не хотелось слишком глубоко проникать в тайны этого дома, особенно же в тайны маркиза, и она слабо воспротивилась:

— Здесь нет вашего младшего сына, сударыня, — сказала она, — и я, право, не знаю, одобрит ли он доверие, которым вы меня почтили...

— Конечно, одобрит, — ответила маркиза. — Если бы я в этом сомневалась, я не попросила бы вас прочесть нам письмо. Читайте, милочка!

Спорить с маркизой было невозможно, и Каролина прочла вслух следующее:

«Да, дорогая моя, нам нужно добиться успеха, и мы его добьемся. Состояние мадемуазель де К. и в самом деле превышает четыре миллиона, но она это знает и вовсе не кичится. Напротив, после очередных моих наводящих замечаний она сказала мне не далее как нынче утром: „Совершенно с вами согласна, дорогая крестная. Я и в

праве и в состоянии обогатить достойного человека. Ваши рассказы о сыне вашей приятельницы выставляют его в самом выгодном свете. Пока я в трауре, мне хотелось бы жить в монастыре, но вот осенью я охотно встречусь у вас с этим господином“. Разумеется, в беседах с ней я не называла имен. Но история ваших сыновей, да и ваша собственная, так широко известны, что милая Диана догадалась, о ком шла речь. Я же почла своим долгом расхвалить на все лады достойное поведение маркиза. Впрочем, герцог, брат его, тоже везде и всюду говорил о маркизе с большим чувством, что делает ему честь. Только не засиживайтесь в вашем севальском захолустье. Я не хочу, чтобы до встречи с маркизом Диана слишком много бывала в свете. Даже у самых чистых душ он отнимает ту младенческую доверчивость и великодушие, которыми я восхищаюсь и которые по мере сил поддерживаю в моей благородной крестнице. А когда она станет вашей дочерью, вы, драгоценный друг мой, доведете до конца мое начинание. Больше всего на свете хочу я дожить до того часа, когда ваш милый сын займет в обществе подобающее ему место. С его стороны было похвально утратить это положение, не моргнув глазом, но еще похвальнее, если родовитая особа вернет маркиза свету. Долг дочерей легендарных предков подавать великие примеры душевной гордости нынешним буржуазным выскочкам, а поскольку я одна из этих дочерей, то постараюсь, чтобы дело увенчалось успехом. Я вкладываю в него всю свою душу, всю веру и свою преданность вам.

Герцогиня де Дюньер, урожденная де Фонтарк»

Если бы герцог взглянул на Каролину, прочитавшую это письмо ровным, недрогнувшим голосом, он не заметил бы в ней ни малейшего напряжения или намека на чувство, которое шло бы вразрез с его собственной радостью. Но герцог даже не взглянул в ее сторону. При решении такого важного семейного дела бедняжка Каролина оказалась в его жизни чем-то второстепенным, и вспомни сейчас герцог о ее существовании, он был бы крайне недоволен собой, затем что видел в этих планах на будущее своего брата высший промысел, искореняющий то зло, которое он сам причинил.

— Да, да, матушка! — воскликнул он, радостно целуя руки маркизе. — Вы снова станете счастливы, а я перестану краснеть от стыда. Брат мой сделается настоящим мужчиной, главой семьи. Свет

признает его замечательные достоинства! Ведь большинство считает, что если нет денег, талант и добродетель мало чего стоят. Милый брат разом обретет все — славу, честь, влияние, власть, безо всяких уступок так называемым соображениям политики и назло шаркунам при дворе короля-мещанина. Матушка, вы показывали это письмо Урбену?

— Конечно, сын мой.

— Доволен ли он? Ведь делу дан такой удачный ход! Эта особа благоволит ему, заранее принимает и только желает с ним познакомиться.

— Да, друг мой, он дал слово представиться ей.

— Мы победили! — воскликнул герцог. — Давайте ж веселиться и делать глупости. Я готов подпрыгнуть до потолка, готов всех прижать к груди. Позвольте, матушка, мне пойти и обнять брата?

— Ступайте, сын мой, но не очень-то усердствуйте. Знаете, как Урбен боится всего нового.

— О, не волнуйтесь, матушка, уж я-то знаю!

И герцог, все еще подвижный, несмотря на легкую полноту и ревматизм, вприпрыжку выскочил из комнаты, как озорной школьник.

Он застал маркиза погруженным в занятия.

— Я тебе помешал? Не беда! — воскликнул герцог. — Мне не терпится прижать тебя к груди. Матушка только что прочла мне письмо герцогини де Дюньер.

— Но, дорогой друг, этот брак еще не заключен, — отвечал маркиз, пока брат обнимал его.

— Заключен, если ты того захочешь, а ты не можешь не захотеть.

— Друг мой, я могу хотеть сколько угодно. Но ведь нужно быть действительно обворожительным, чтобы поддержать ту блестящую репутацию, которую слишком, по-моему, в ущерб тебе создала мне эта старая герцогиня.

— Она поступила прекрасно, хотя следовало расхвалить тебя еще больше. Мне хочется самому нанести ей визит и все о тебе рассказать. Нет, он думает, что в нем недостаточно очарования! Ты положительно плохо себя знаешь.

— Я себя знаю очень хорошо, — возразил господин де Вильмер, — и вовсе не обманываюсь.

— Черт возьми, ты что ж, считаешь себя увальнем? Разве не ты покорил госпожу де Ж***, самую строгую женщину в свете?

— Умоляю, не говори мне о ней. Я сразу вспоминаю о том, сколько выстрадал, прежде чем завоевал ее доверие, и сколько натерпелся потом из-за боязни утратить его... Ты этого не знаешь: женщины всегда влюблялись в тебя с первого взгляда, а любви на всю жизнь ты и не искал. Я же могу сказать женщине одно-единственное слово «люблю», и если она не поймет, что в нем заключена вся моя душа, я буду уже не в силах сказать ей ничего другого.

— Хорошо! Ты полюбишь Диану де Ксентрай, и она поймет это твое слово.

— А если я ее не полюблю?

— Но, дорогой мой, она же прелестна. Я, правда, помню ее совсем ребенком, но это был сущий херувим.

— Все твердят, что она очаровательна. Но вдруг она мне не понравится? Не убеждай меня в том, что боготворить жену вовсе не

обязательно, что довольно к ней питать уважение и приязнь. Заводить спор я не желаю, он бесполезен. Обсудим только один вопрос: понравлюсь ли я ей. Если я не люблю женщину, то я не сумею ее завоевать, а стало быть, не женюсь на ней.

— Можно подумать, что ты просто мечтаешь об этом! — сокрушенно заметил герцог. — Бедная матушка! Она прямо воскресла, когда появилась надежда на этот брак. Да и я думал, что сама судьба отпускает мне мои прегрешения. Что ж, Урбен, выходит, мы все трое прокляты?

— Не надо отчаиваться, — промолвил растроганный маркиз. — Я и так изо всех сил стараюсь побороть свою нелюдимость. Честное слово, мне и самому хочется изменить это бесплодное и мучительное существование. Дай мне срок — за лето я попытаюсь справиться со всеми воспоминаниями, страхами, сомнениями, — право, я хочу сделать вас счастливыми, и, может быть, сам господь придет мне на помощь.

— Спасибо, брат, ты лучший человек на свете, — сказал герцог и снова обнял маркиза. И так как тот был взволнован, герцог увел его гулять, чтобы отвлечь от занятий и укрепить его в добрых намерениях.

Герцог прибегнул к уловке, которую некогда пустил в ход Урбен в тот день, когда, впервые откровенно беседуя с братом, старался ободрить его. На этот раз уже Гаэтан притворился слабым страдальцем, чтобы воскресить в брате душевную силу. Он красноречиво рассказал ему об угрызениях совести, о том, как велика в нем жажда моральной поддержки.

— Двое несчастных ничем не могут помочь друг другу, — говорил герцог брату. — Твоя хандра роковым образом заражает меня. В тот день, когда я увижу тебя счастливым, радость жизни возвратится ко мне.

Растроганный Урбен снова заверил брата, что не нарушит обещания, и так как сделал это скрепя сердце, то постарался отвлечься от мрачных мыслей и принялся весело болтать с Гаэтаном. Тот с радостью подхватил непринужденный тон и немедленно заговорил о том, что больше всего занимало его воображение.

— Послушай! — сказал он, глядя на улыбающегося маркиза. — Я уверен, что ты принесешь мне счастье. Сейчас я вспоминаю, что уже

несколько дней был не в ладу с собой, оттого и ходил такой насупленный и недовольный.

— Опять какая-нибудь история с женщиной? — спросил маркиз, пересиливая смутную и внезапную тревогу.

— А разве другие у меня бывают? Словом, брат, эта крошка де Сен-Жене занимает меня, вероятно, больше, чем следует.

— Только не это!.. — горячо возразил маркиз. — Ты же дал слово матушке... Она мне все рассказала... Неужели ты обманешь мать?

— Вовсе нет, но я хочу, чтобы обстоятельства принудили меня обмануть ее.

— Какие обстоятельства? Что-то я не возьму в толк.

— Господи, сейчас я тебе все объясню.

И герцог поведал брату, как в похвальном намерении влюбить его в Каролину он сначала прикинулся, будто влюблен в нее сам, а потом, когда из этой затеи ничего не вышло, он всеми способами стал добиваться ее любви, хотя и не был ею увлечен, и как в конце концов на самом деле влюбился в девушку без всякой уверенности в том, что она платит ему взаимностью. Тем не менее, закончил герцог, он рассчитывает на победу, только бы достало сил скрыть от Каролины свое чувство. Эту историю герцог поведал маркизу в выражениях столь целомудренных, что лишил того малейшей возможности, не показавшись смешным, сделать брату выговор. Но когда глубоко потрясенный, немного справившийся с собой маркиз попытался напомнить брату о материнском спокойствии, о благопристойности их домашнего очага, не решаясь, однако, в своем смятении даже заикнуться об уважении к Каролине, герцог, внезапно испугавшись, как бы маркиз не почел своим долгом предупредить Каролину, поклялся брату, что не станет ее соблазнять, но вот если она сама храбро и бескорыстно бросится в его объятия, он готов на ней жениться.

Так как герцог говорил вполне убежденно, маркиз не посмел возражать против этого безумного и столь неожиданно возродившегося замысла. Маркиз знал, что их мать рассчитывает на удачный брак лишь для того из своих сыновей, который выкажет известную твердость и волю, — герцог же вполне убедительно ему сейчас доказывал, что только тот хозяин своего будущего, кто отказался от честной игры.

— Теперь ты понимаешь, как это серьезно, — закончил свой рассказ герцог. — Я запутался в собственных силках и страшно мучаюсь. Помощи у тебя я не прошу, но во имя нашей дружбы, заклинаю, брат, отстранись от этого дела, так как если ты напугаешь мадемуазель де Сен-Жене, я, может быть, совсем потеряю душевное равновесие и тогда уже ни за что не ручаюсь; а если ты уговоришь меня от нее отказаться, в отчаянии она способна совершить какое-нибудь безумство и тем уронить себя в глазах нашей матери. Раз уж все так запуталось, нам остается лишь уповать на случай, который внезапно все уладит. Только ты не вмешивайся и твердо верь, что при всех обстоятельствах я поведу себя так, что не нарушу ни материнского покоя, ни требований оказанного тобой гостеприимства.

Пока герцог делал эти тягостные для маркиза признания, госпожа де Вильмер вела с Каролиной беседу, которая если не потрясла ее, то, во всяком случае, не обрадовала. Всецело поглощенная своим замыслом, маркиза выказала такое семейное тщеславие, о котором ее молодая наперсница даже не подозревала. Больше того — в маркизе Каролина ценила прежде всего бескорыстие и смирение перед утратой состояния, этим ударом, которым ее поразила судьба. Теперь Каролине пришлось горько разочароваться и признать, что вся благородная философия маркизы — лишь маскарадный костюм, красивый и ловко сидящий. Это, однако, не означало, что маркиза была лицемеркой. Будучи на редкость общительной, она не умела заранее обдумывать свой слова: уступая минутному расположению духа и не замечая своей нелогичности, маркиза утверждала, что предпочла бы умереть с голоду, чем видеть, как ее сыновья идут на всякие низости ради богатства, но тем не менее умирать с голоду очень тяжело, что ее теперешняя жизнь — сплошные лишения, а жизнь маркиза — настоящая пытка и что, наконец, не может человек чувствовать себя счастливым, когда доход его меньше двухсот тысяч ливров в год, пускай даже при этом он гордится чистой совестью и незапятнанной честью.

Каролина сочла возможным вставить несколько общих возражений, но маркиза живо отмела их.

— Разве не само собой разумеется, — говорила она, — что отпрыски знатных семейств должны первенствовать над всеми прочими общественными сословиями? Это должно быть для вас как догматы веры — ведь вы же дворянка. Вам-то следует понимать, что людям благородного звания не только нужно, но, вероятно, даже обязательно жить на широкую ногу и что чем выше их положение в обществе, тем необходимее им располагать состоянием, приличествующим родовитому дворянину. Когда я вижу, как маркиз сам рассчитывается со своими арендаторами, и даже вникает в подробности всяких кухонных дел, клянусь вам — сердце мое обливается кровью. Кто знает о нашем разорении, тот восхищается

маркизом, который старается ни в чем мне не отказывать, но тот, кому беда наша неведома, наверняка считает нас скрягами, и мы в его глазах просто-напросто мещане.

— Мне ваша жизнь всегда казалась достойной, даже великолепной, но если она вас так удручает, дай бог, чтобы этот брак удался. Ведь если возникнут затруднения, сколько вам опять понадобится душевных сил! Но если мне дозволено иметь собственное мнение...

— Всегда нужно иметь собственное мнение. Говорите, дитя мое.

— Так вот, я думаю, что благоразумнее и вернее всего считать ваше теперешнее положение вполне приемлемым, не отказываясь при этом от задуманного брака.

— Все наши разочарования — пустяки, дорогая. А вы боитесь, что я разочаруюсь? Но от этого не умирают, зато надежда вселяет силы. Однако почему вы сомневаетесь в успехе этой затеи?

— О, я ничуть не сомневаюсь, — ответила Каролина, — да и отчего мне сомневаться, если, судя по рассказам, мадемуазель де Ксентрай — само совершенство.

— Она и в самом деле совершенство. Посудите сами: она не стремится увеличить свое состояние и превыше всего почитает добродетель.

«По-моему, это не очень трудно», — подумала Каролина, но смолчала, и маркиза заговорила вновь:

— Да и само имя Ксентрай! Знаете ли вы, душечка моя, как оно знатно, и понимаете ли, что если такая родовитая особа обладает высокими достоинствами, то никто с ней не может сравниться. Впрочем, как мне случалось замечать, вы не вполне убеждены в том, что происхождение ставит нас выше всех других. Вы, вероятно, много об этом думали и перемудрили. Остерегайтесь, дитя мое, новомодных предрассудков и тщеславных притязаний нынешних выскочек! Что они там ни делай и ни говори, а простолюдину недоступно истинное душевное благородство — врожденная расчетливость и скупость убивает его в зародыше. Человек низкого происхождения ни за что не пожертвует состоянием и жизнью во имя веры, идеи, короля, во имя семейной чести... Из честолюбия он способен на славные деяния, но им всегда движет своекорыстие. Не обольщайтесь на этот счет.

Маркиза так запальчиво защищала права высокого происхождения, что это несколько покорило Каролину. Она сумела переменить тему разговора, но за обедом только и думала о том, что ее добрая приятельница и престарелая приемная мать беззастенчиво причисляет ее к людям низшего разбора.

И такое она заявила при ней — дочери дворянина, которая душой и телом чтит кодекс нравственных правил! Каролина, правда, твердила себе, что дворянский род ее действительно захудал: ее предки, старинные провинциальные эшеваны, были возведены в дворянство при Людовике XIV; у отца Каролины был титул шеваляе, чем он нисколько не гордился. Она прекрасно понимала, что презрение маркизы к людям более низкого происхождения совершенно очевидно и что бедная девушка, к тому же мелкая дворянка, была в ее глазах вдвойне ничтожной особой.

Это открытие не пробудило в мадемуазель де Сен-Жене глупой обиды, но ее врожденное чувство самоуважения взбунтовалось против такой несправедливости, которую вдобавок ей торжественно навязывали, точно долг ее совести.

«Неужели моя нищенская, самоотверженная, трудная и все-таки радостная жизнь, — раздумывала Каролина, — мой добровольный отказ от житейских удовольствий ничто по сравнению с подвигом какой-то Ксентрай, которая готова выйти замуж за достойнейшего человека, удовольствовавшись двумястами тысячами годового дохода? Она — мадемуазель де Ксентрай, поэтому ее выбор выше всех похвал; я всего-навсего Сен-Жене, поэтому моя жертва низменна и обязательна».

Каролина старалась развеять эти мысли, вызванные оскорбленной гордостью, но они легкой тенью то и дело омрачали ее выразительное лицо. Юная и неподдельная красота бессильна что-либо утаить, и герцог сразу заметил озабоченность Каролины и решил, что он тому виной. Когда же он увидел, что, несмотря на все старания сохранить прежнюю веселость, Каролина все больше грустит, герцог еще тверже укрепился в своем заблуждении. Однако истинная причина этой грусти заключалась в следующем: как-то раз Каролина обратилась к маркизу с обычным вопросом по хозяйству, и он, изменив обычной учтивости, заставил ее дважды повторить вопрос. Каролина решила, что маркиз чем-то озабочен, но, встретив несколько раз его ледяной,

высокомерный, почти презрительный взгляд, она, похолодев от удивления и ужаса, стала мрачнее тучи и была принуждена объяснить мигренью свое угнетенное состояние.

Герцог смутно догадывался о том, что творится с маркизом, но его подозрения разом рассеялись, когда он увидел, что брат внезапно повеселел. Даже отдаленно не представляя себе, что делается в измученной душе маркиза и как уныние сменяется в ней душевным подъемом, герцог решил, что пришла пора безнаказанно заняться Каролиной.

— Вы плохо себя чувствуете? — спросил он у нее. — Да, да, я вижу, что вам не по себе. Матушка, поглядите, как бледна мадемуазель де Сен-Жене последнее время.

— Вы находите? — сказала маркиза, участливо взглянув на Каролину. — Вам нездоровится, дитя мое? Скажите мне правду.

— Я совершенно здорова, — ответила Каролина. — Просто я слишком долго гуляла сегодня по солнцу, но это пустяки.

— Нет, не пустяки, — возразила маркиза, внимательно глядя на нее. — Мой сын прав: вы очень переменились. Пойдите куда-нибудь в тень или отдохните у себя в комнате. Здесь нестерпимо жарко. Сегодня вечером приедет с визитом множество соседей, но я обойдусь без вас. Вы свободны.

— Знаете, что вас разом излечит? — сказал герцог Каролине, раздосадованной тем, что она привлекла к себе всеобщее внимание. — Вам нужно покататься верхом. Я вам рассказывал о четвероногом деревенском малыше — у него спокойный нрав и замечательные ноги. Как вы на это смотрите?

— Каролина? Одна? — вмешалась маркиза. — На необъезженной лошади?

— Ручаюсь, что мадемуазель де Сен-Жене развлечется, — возразил герцог. — Я знаю, она смела и ничего не боится. К тому же я сам буду следить за ней и отвечаю за нее головой.

Герцог так настаивал, что маркиза спросила Каролину, по нраву ли ей эта прогулка верхом.

— Да, — ответила она, чувствуя, что ей необходимо стряхнуть с себя гнетущее уныние. — Я достаточно ребячлива, чтобы находить в таких вещах удовольствие. Но не лучше ли сделать это в другой раз?

Мне не хотелось бы устраивать спектакль для ваших гостей, тем более, что мой дебют окажется, вероятно, неудачным.

— Хорошо, тогда поезжайте в парк, — сказала маркиза. — Там тенисто, и никто не увидит вашей первой пробы. Только пусть вас сопровождает верховой — старый Андре хотя бы. Он наездник хороший, да и лошадь у него спокойная. Если ваша заупрямится, вы сможете пересесть на лошадь Андре.

— Отлично! — воскликнул герцог. — Андре оседлает старую Белянку. Превосходно! А я прослежу за вашим отъездом, и все пойдет как по маслу.

— А есть у нас дамское седло? — спросил, в свою очередь, маркиз, с виду равнодушный к этой затее.

— Есть. Я его видел в седельном чулане, — живо отозвался герцог. — Побегу отдать распоряжения.

— А есть ли амазонка? — спросила маркиза.

— Ее вполне заменит любая длинная юбка, — ответила Каролина, которой вдруг захотелось возразить недоброжелательно настроенному маркизу и избавиться от его присутствия. Госпожа де Вильмер отправила Каролину готовиться к верховой прогулке и, опершись на руку младшего сына, поспешила навстречу съезжавшимся гостям.

Когда мадемуазель де Сен-Жене спустилась по винтовой лестнице башенки, перед ее стрельчатой дверцей во дворе она увидела оседланную лошадь, которую герцог самолично держал под уздцы. Андре тоже был уже там, восседая на старой кляче, которая обычно возила капусту и отличалась как чудовищной худобой, так и нищенской упряжью: конюшня была совершенно запущена, на ней имелось только самое необходимое, но и эти вещи содержались в беспорядке. Маркиз, стесненный в средствах больше, чем в том хотел признаться, объяснял все своей бесхозяйственностью, а герцог, догадываясь об истинном положении дел, утверждал, что предпочитает ходить на охоту пешком, чтобы не располнеть еще сильнее.

Снарядить Жаке (так звали жеребенка, возведенного двенадцать часов назад в сан верховой лошади) оказалось делом нелегким, и Андре, растерявшись от этой барской затеи, сперва долго не мог найти дамское седло, а потом не знал, как привести его в порядок. Герцог

все сделал сам за четверть часа с завидной ловкостью и проворством. Он был весь в поту, и Каролина очень смущалась, когда герцог поддерживал ее ногу в стремя и, точно завзятый лакей, поправлял узду, подтягивал подпругу, смеясь над всеми этими пришедшими в негодность вещами и весело играя роль заботливого брата.

Когда мадемуазель де Сен-Жене, от души поблагодарив герцога и попросив его больше о ней не беспокоиться, пустила лошадь рысью, герцог, отослав Андре, проворно вскочил на клячу и, пришпорив ее, решительно устремился за Каролиной в тенистый парк.

— Как, это вы? — изумилась Каролина, остановившись после первого круга. — Зачем ваше сиятельство взяли на себя труд сесть в седло и сопровождать меня? Это совершенно невозможно, я этого не потерплю! Вернемся!

— Ах, так! — протянул герцог. — Значит, вы боитесь сейчас остаться со мной наедине? Ведь мы встречались уже не раз в этом парке. Разве я докучал вам своим красноречием?

— Конечно, нет, — с полной искренностью сказала Каролина. — Вы прекрасно знаете, что дело не во мне. Но эта лошадь... это просто мука для вас.

— А вам удобно на Жаке?

— Очень.

— Тогда все в порядке. А мне очень нравится кататься на Белянке. Разве я держусь на ней хуже, чем на кровной лошади? Долой предрассудки, пустимся галопом!

— А вдруг у Беянки подломятся ноги?

— Пустяки. А если я сломаю себе шею, что ж, буду утешаться тем, что это случилось, когда я верно служил вам.

Герцог так весело говорил эти льстивые слова, что Каролина ничуть не встревожилась. Они перешли в галоп и объехали храбро весь парк. Жаке вел себя отлично и не капризничал: впрочем, мадемуазель де Сен-Жене была прекрасной наездницей, и герцог сразу заметил, что ее грациозность не уступает легкости и хладнокровию. Каролина была в длинной юбке, которую смастерила сама, распустив подборы, плечи покрывал белый бумазейный казакин, а соломенная шляпка на белокурых волосах, растрепавшихся от скачки, необычайно красила ее. Раскрасневшаяся от удовольствия и быстрой езды, Каролина была чудо как хороша, так что герцог, не

отрывая взгляда от ее изящного стана и пленительной улыбки целомудренных губ, чувствовал, что теряет голову.

«Черт меня дернул дать это безрассудное обещание! — выговаривал он себе. — Кто бы мог подумать, что сдержать его будет так трудно?»

Но он во что бы то ни стало хотел, чтобы Каролина открылась ему первая, поэтому предложил сделать не спеша еще один круг по парку, чтобы дать лошадям перевести дух. Однако все было напрасно: Каролина болтала с полной непринужденностью и таким дружелюбием, которое, уж конечно, было несовместно с мучениями такой страсти.

«Ах, так! — злился герцог, снова пуская лошадь в галоп. — Ты думаешь, я стану увечиться на этой апокалипсической твари только для того, чтобы вести светские беседы под материнским надзором? Пускай этим занимаются другие. Я сейчас оставлю тебя одну и омрачу твое благодушное настроение, тогда ты хочешь не хочешь, а призадумаешься».

— Дружочек, — сказал он Каролине (герцог нередко называл ее так с милой непосредственностью), — по-моему, вы уже вполне освоились с Жаке, не так ли?

— Да, конечно.

— Он ведь покладистый и послушный?

— Да.

— Тогда, с вашего позволения, я предоставлю вас самой себе и пришлю Андре на мое место.

— Сделайте одолжение! — живо отозвалась Каролина. — И не присылайте даже Андре. Я сделаю еще один круг, а потом отведу лошадь на конюшню. Честное слово, мне будет приятно покататься без провожатого. К тому же я просто страдала, глядя, как немилосердно трясет вас эта лошадь.

— Какие пустяки! — ответил герцог, решив перейти в наступление, — я еще не в том возрасте, когда боятся норовистых лошадей. Но дело в том, что сегодня вечером приезжает госпожа д'Арглад.

— Нет, она приедет завтра.

— По-моему, сегодня, — повторил герцог, внимательно глядя на Каролину.

— В таком случае, вы осведомлены лучше меня.

— Вероятно, дружочек... Госпожа д'Арглад... Впрочем, довольно...

— Ах, так? — рассмеялась Каролина. — Я и не знала! В таком случае поезжайте скорее домой, а я исчезаю и приношу вам тысячу благодарностей за вашу любезность.

Каролина уже собралась дать шпоры, но герцог удержал ее.

— Очевидно, мой поступок кажется вам неучтивым? — спросил он.

— Не только учтивым, но и очень милым.

— Стало быть, вам наскучило мое общество?

— Я не то хотела сказать. По-моему, эта ваша неучтивость говорит о полном доверии ко мне, поэтому я вам за нее признательна.

— Как, по-вашему, госпожа д'Арглад красива?

— Очень.

— Сколько ей должно быть лет?

— Мы почти ровесницы. Мы вместе воспитывались в монастыре.

— Я знаю. Вы были большими друзьями?

— Нет, не очень. Но когда на меня посыпались беды, она приняла во мне искреннее участие.

— Да, она вас и порекомендовала матушке. Отчего же вы ненавидели друг друга в монастыре?

— Никакой ненависти не было — просто мы не очень дружили, вот и все.

— А теперь?

— А теперь она же мне добра и, стало быть, я ее люблю.

— Значит, вы любите тех, кто к вам добр?

— Что ж в этом удивительного?

— Значит, вы и меня немного любите: по-моему, я никогда не делал вам ничего худого.

— Конечно, вы всегда вели себя безупречно, и я вас очень люблю.

— Нет, каким тоном она это говорит! Я очень люблю свою няню, но еще больше люблю ездить верхом на палочке. Скажите, пожалуйста, а вам не придет в голову ославить меня перед вашей милейшей госпожой д'Арглад?

— Ославить? Таких слов даже нет в моем словаре, не в пример вашему.

— Вы правы, простите. Но, видите ли, госпожа д'Арглад — особа подозрительная... чего доброго, она спросит вас обо мне. Надеюсь, вы не преминете сказать ей, что я никогда за вами не ухаживал?

— О, можете рассчитывать, что я скажу ей чистую правду! — ответила Каролина, прищпоривая лошадь. И герцог услышал, как, взяв в галоп, она рассмеялась.

«Ну вот! Я покривил душой и совершенно напрасно! — сердился на себя герцог. — Вообразил себе бог знает что... Она никого не любит... или где-нибудь держит про запас возлюбленного на тот день, когда раздобудет тысячу золотых на обзаведение хозяйством. Бедная девушка! Имей я эту тысячу, я отдал бы ей всё, не раздумывая... Впрочем, так или иначе, но я был смешон. Она, вероятно, это заметила и наверняка теперь посмеется надо мной вместе со своим сердечным другом, расписав меня тайком в одном из тех писем, которые то и дело строчит... Если это так... Но все равно, я дал честное слово!»

И герцог хлестнул лошадь, пытаясь иронизировать над собой, однако был задет за живое и почти удручен.

Выезжая из густых зарослей, он заметил, как туда опасно юркнул какой-то незнакомец. Уже стемнело, и герцог не разглядел пришельца, а лишь услышал, как тот осторожно крадется в чаще деревьев.

«Смотри-ка! — подумал он. — Наверняка злополучный любовник прибыл к ней на тайное свидание. Ну нет, я этого так не оставлю и выведаю всю подноготную».

Герцог слез с лошади, вытянул хлыстом Белянку, которая сразу же побрела на конюшню, и, прячась за деревьями, двинулся в ту сторону, куда ускакала Каролина. Найти в зарослях незнакомца было невозможно, к тому же эти поиски могли его насторожить. Гораздо вернее было бесшумно пройти в темноте вдоль аллеи и поглядеть на то, как любовники встретятся и заговорят друг с другом.

А Каролина уже не думала о герцоге. Отъехав на порядочное расстояние, чтобы избавить себя от нескромных излишней, мало подобающих такому благовоспитанному человеку, как герцог д'Алериа, Каролина пустила лошадь шагом, боясь впотьмах наткнуться на ветки и, кроме того, чувствуя потребность не столько в быстрой езде, сколько в раздумье. На душе у Каролины было сумрачно

и беспокойно. Обхождение маркиза казалось ей непонятным, даже оскорбительным. Она искала объяснение ему в глубине своей совести и, ничего не найдя, упрекнула себя за то, что слишком много думает о маркизе. Вероятно, все люди, поглощенные серьезной работой, отличаются странностями, ну, а если маркиз и впрямь испытывает к ней неприязнь, то ведь он собирается жениться, и, значит, маркиза будет так счастлива, что бедная компаньонка сможет уйти от нее, не зная за собой греха неблагодарности.

Размышляя о будущем и о том, что ей нужно посоветоваться с госпожой д'Арклад, которая, вероятно, сумеет приискать ей новое место, Каролина вдруг почувствовала, что лошадь ее внезапно остановилась, и увидела рядом какого-то человека; он сделал резкое движение, и ей стало не по себе.

— Это вы, Андре? — спросила девушка, замечая, что лошадь как бы повинуется знакомой руке; неизвестный, чью одежду в темноте невозможно было разглядеть, молчал, и голос Каролины дрогнул:

— Это вы, герцог? Зачем вы остановили меня?

Ответа не последовало: человек отпустил лошадь и исчез. Каролину охватил страх, смутный, но непреодолимый; не смея обернуться назад, она дала шпоры Жаке и, так никого и не увидев, помчалась вперед.

Герцог был в десяти шагах от того места, где произошла эта странная встреча. Он ничего не разглядел, но слышал, каким испуганным голосом говорила мадемуазель де Сен-Жене в ту минуту, когда внезапно остановилась ее лошадь. Герцог опрометью кинулся к незнакомцу и, очутившись с ним нос к носу, схватил его за ворот.

— Кто вы такой? — крикнул он.

Незнакомец упорно старался вырваться из рук и скрыться, но герцог, обладавший силой поистине геркулесовой, вывел своего противника из чащи на середину аллеи. Каково же было его удивление, когда он увидел перед собой брата!

— Боже мой, Урбен! — воскликнул он. — Я тебя не ударил? Кажется, нет... Отчего ты молчал?

— Не знаю, — отвечал очень взволнованный маркиз де Вильмер. — Я не узнал твоего голоса... Ты со мной разговаривал? За кого ты меня принял?

— Клянусь честью, за обыкновенного вора! Это ты только что напугал мадемуазель де Сен-Жене?

— Я, вероятно, невольно напугал ее лошадь. А где же сама мадемуазель?

— Черт возьми, от страха помчалась прочь. Неужели ты не слышишь, как она скачет к дому?

— Зачем же ей бояться меня? — спросил маркиз со странной горечью в голосе. — Я не хотел ее обидеть, — и, устав вести эту игру, маркиз добавил: — я хотел только с ней поговорить.

— О ком? Обо мне?

— Да, если хочешь, о тебе. Я хотел узнать, любит ли она тебя.

— Отчего же ты не заговорил с ней?

— Не знаю. Я не мог произнести ни слова.

— Тебе нездоровится?

— Да, я болен, очень болен сегодня.

— Пойдем, брат, домой, — сказал герцог. — Ты, я вижу, весь горишь, а уже выпала роса.

— Это не важно, — сказал маркиз, усаживаясь на пенек у обочины аллеи. — Я хочу умереть.

— Урбен! — воскликнул герцог, которого внезапно осенило. — Так ты любишь мадемуазель де Сен-Жене!

— Я? Люблю? Разве она не твоя... разве ей не суждено стать твоей любовницей?

— Разумеется, нет, если ты ее любишь. Для меня это прихоть, я волочился за ней от безделья и от тщеславия, но она совершенно равнодушна ко мне и даже не поняла меня любовных ухищрений. Клянусь, это правда, как правда то, что я сын своего отца. Она так же чиста, свободна и горда, как в тот день, когда переступила порог нашего дома.

— Зачем же ты заманил ее в чашу и оставил одну?

— Я тебе только что поклялся — я говорю правду, а ты мне не веришь! По-моему, от любви ты ума решился.

— Ты дал слово вставить девушку в покое и изменил ему! Я знаю, ты нарушишь любую клятву, если дело касается любовной интриги. Иначе вы, счастливые волокиты, не смогли бы вскружить голову стольким женщинам! Для вас любые обязательства — пустой звук. Разве ты действовал честно, пуская в ход нелепые, а возможно,

изошренные уловки — я ведь ничего в этом не понимаю, — играя на самолюбии, на легковерии, на всех слабых или дурных сторонах женской натуры, чтобы заманить мадемуазель де Сен-Жене в свои сети? Для тебя нет ничего святого. В твоих глазах добродетель — смешной недуг, от которого нужно излечить беспомощную и неопытную простушку. Разве пропасть, в которую ты пытался завлечь эту девушку без приданого и родовитых предков, не казалась тебе естественным для нее исходом, неважно, счастливым или роковым? Разве ты не издевался надо мной нынче утром, когда уверял, что женишься на ней? А теперь ты говоришь: «Так ты ее любишь? А для меня это прихоть, я волочился за ней от безделья и тщеславия». Вот оно какво, ваше чудовищное тщеславие распутников! Из-за него вы готовы вывалить в грязи все, что попадается вам под руку! Ваши взгляды — и те пятнают женщину. Ты мысленно унизил эту девушку, большего для меня не нужно. Я уже ее не люблю!

Впервые в жизни так поговорив с братом, маркиз поднялся и быстро ушел, полный мрачной, неистребимой ненависти.

Разгневанный герцог тоже вскочил на ноги, собираясь потребовать у брата сатисфакции. Он сделал несколько шагов, потом вдруг остановился и сел на тот самый пень, где только что сидел маркиз. Душой герцога овладела мучительная борьба; раздосадованный и взбешенный, он вместе с тем чувствовал, что брат для него неприкосновенен. Герцог не совсем понимал, в чем же его вина, тем не менее был сильно подавлен, невольно сознавая, что правда на стороне Урбена. Он ломал себе руки, и крупные слезы горя и ярости текли по его щекам.

Явился Андре и сообщил, что его ищет маркиза. Гости уже разъехались, но прибыла госпожа д'Арглад. Все удивляются его исчезновению, и маркиза, зная, что герцог оседлал Белянку, опасается, как бы у несчастного животного не подломились ноги.

Герцог машинально последовал за слугой и уже на пороге спросил:

— А где мой брат?

— Он недавно вернулся и заперся у себя, ваше сиятельство.

— А мадемуазель де Сен-Жене?

— Она тоже у себя. Но ваша матушка велела ей сообщить о приезде госпожи д'Арглад, и она, конечно, спустится в гостиную.

— Хорошо. Скажите моему брату, что я хочу с ним поговорить и через десять минут буду у него.

XII

Госпожа д'Арглад была женой важного провинциального чиновника. С маркизой де Вильмер она познакомилась на юге, когда маркиза проводила там лето в своем обширном поместье, позднее проданном в уплату долгов старшего сына. Госпожа д'Арглад отличалась тем особенным, ограниченным и упорным тщеславием, которое нередко свойственно женам чиновников, как крупных, так и мелких. Пробриться в высший свет, чтобы блистать, и блистать, чтобы пробриться в свет, — было единственной целью, единственной мечтой, единственным помыслом и надеждой этой маленькой женщины. Богатая и неродовитая, она отдала свое приданое разорившемуся дворянину; ему это обеспечило денежное место, а ей позволило поставить дом на широкую ногу, так как она прекрасно понимала, что лучший способ нажать большое состояние в нынешнем обществе — это иметь приличный достаток и по-барски его расточать. Пухленькая, энергичная, привлекательная, хладнокровная и ловкая, госпожа д'Арглад считала, что положение обязывает ее к некоторой доле кокетства, и в душе гордилась высоким искусством все обещать глазами и ничего губами или пером, разжечь безудержное желание, не вызвав глубокой привязанности, и, наконец, ненароком заполучить выгодное местечко, делая при этом равнодушный вид и никогда не унижаясь до хлопот. Чтобы при случае всегда иметь поддержку нужных друзей, она всюду искала их, принимала у себя без особенного разбора, изображая добрую или легкомысленную хозяйку и в конце концов ловко проникала в самые недоступные дома, без труда становясь там незаменимым человеком.

Так госпожа д'Арглад втерлась в доверие к маркизе де Вильмер, хотя благородная дама и относилась с предубеждением к происхождению Леони, ее положению в обществе и должности ее супруга. Но Леони д'Арглад ловко подчеркивала полное свое равнодушие к политике и вечно просила у всех прощения за свою глупость в этих вопросах; это позволяло ей не только никого не отталкивать, но даже примирять людей с тем вынужденным усердием, которое проявлял ее муж на службе у нынешнего правительства.

Веселая, ветреная, подчас неумная, Леони громко высмеивала самое себя, смеялась в душе над простоватостью других и слыла по-детски бескорыстной простушкой, хотя эта простушка рассчитывала каждый свой шаг и обдумывала каждую шалую проделку.

Леони прекрасно понимала, что при всех своих внутренних распрях светское общество крепко спаяно родственными и прочими узами и что при надобности все приносится в жертву сословным привилегиям и семейным связям. Из этого она сделала вывод, что ей необходимы знакомства в Сен-Жерменском предместье, где ее мужа принимали крайне неохотно, и с помощью маркизы де Вильмер, чье расположение ловко приобрела своей болтовней и неутомимой услужливостью, проникла в некоторые салоны, снискала там благоволение и прослыла милой, хотя и пустенькой девочкой.

Этой девочке было уже двадцать восемь лет, и она успела пресытиться балами, но ей с виду все еще давали не больше двадцати двух — от силы двадцати трех. Леони умудрилась сохранить такую живость и непосредственность, что никто даже не замечал, как она располнела. Она любила смеяться, не забывая при этом показать ослепительно белые зубки, по-детски шепелявила и, казалось, была без ума от нарядов и всевозможных развлечений. Все питали к ней полное доверие, да и ее не следовало бояться, так как больше всего на свете она хотела слыть доброй и безобидной; но остерегаться все же было необходимо, чтобы в один прекрасный день не оказаться в ее сетях.

Вот так маркиза де Вильмер, продолжая клясться, что ноги ее не будет у министров короля-мещанина, незаметно для самой себя была вынуждена действовать без околичностей, дабы выволить госпожу д'Арклад из провинции. Стараниями маркизы и герцога д'Алериа господин д'Арклад получил недавно назначение в Париж, и супруга его написала госпоже де Вильмер такое письмо: «Дорогая маркиза, вам я обязана жизнью, вы мой ангел-хранитель. Я покидаю юг, но в Париж загляну лишь на несколько дней, так как, прежде чем устроиться, порадоваться и повеселиться, словом, прежде всего, я мечтаю поблагодарить вас, целые сутки пролежать у ваших ног в Севале, неустанно повторяя, что люблю вас и благословляю. Я буду у вас десятого июня. Герцогу скажите, что приеду девятого или

одиннадцатого и что заочно благодарю его за доброту к моему мужу, который напишет ему своим чередом».

Намеренно не уточняя день своего приезда, госпожа д'Арглад кокетливо намекала на те шутки, которые герцог нередко отпускал по поводу того, что Леони не знает счета ни часам, ни дням: и хотя герцог был весьма искушен по части женщин, Леони и его обвела вокруг пальца. Он считал ее ветреницей и обычно разговаривал с ней так: «Значит, вы приедете к матушке сегодня, в понедельник, вторник или воскресенье, седьмого, шестого или пятого ноября, сентября, декабря, в вашем голубом, сером или розовом платье, и окажете нам честь, поужинав, пообедав или позавтракав с нами, с ними или еще с кем-нибудь».

Влюблен в нее герцог не был. Она его забавляла, но, посмеиваясь над ней, лукаво ее поддразнивая и вышучивая, герцог нащупывал в Леони слабое звено, а она притворялась, будто ничего не замечает, но на деле отлично оберегала себя от герцогских козней.

Здороваясь с госпожой д'Арглад, герцог все еще был озабочен, и перемена в его лице поразила маркизу.

— Боже мой! — воскликнула она. — Должно быть, случилась какая-то беда.

— Не тревожьтесь, дорогая матушка. Все обошлось благополучно, только я немного продрог — вот и все.

Герцога действительно немного знобило, хотя от гнева у него на лбу еще блестели капельки пота. Он подошел к камину, который круглый год топили по вечерам в гостиной маркизы, но через несколько минут привычка сдерживать свои порывы — а ведь это целая наука! — взяла свое, и фейерверк шуток и смешков Леони развеял его горькие мысли.

Пришла и мадемуазель де Сен-Жене обнять свою старую подругу по монастырю.

— Господи, на вас тоже лица нет! — заметила маркиза Каролине. — Вы что-то от меня утаиваете. Я уверена, что из-за этих проклятых кляч произошел несчастный случай.

— Ничего страшного не произошло, сударыня, — ответила Каролина. — Честное слово, ничего, и, чтобы вы не тревожились, я расскажу вам, как было дело. Я сильно испугалась.

— Правда? Чего же? — полюбопытствовал герцог. — Надеюсь, не вашей лошади?

— Нет, не лошади, а скорее всего вас, сударь! Скажите, не вы ли шутки ради остановили Жаке, когда я одна ехала шагом по зеленой аллее?

— Ну конечно, я! — ответил герцог. — Мне захотелось проверить, вправду ли вы такая храбрая, какой кажетесь на первый взгляд.

— Как видите, храбрости во мне ни на волос, и я, как курица, кинулась наутек.

— Однако вы не закричали и не потеряли голову. Это что-нибудь да значит.

Рассказали о верховой прогулке и госпоже д'Арплад. Леони, как всегда, выслушала эту историю с притворно рассеянным видом, а на самом деле ловила каждое слово, мысленно решая важный для себя вопрос: соблазнил ли герцог Каролину или только собирается, и как при случае можно будет этим воспользоваться. Герцог оставил женщин одних и поднялся к брату.

Леони и Каролина не дружили в монастыре только потому, что не были сверстницами. В отрочестве четыре года — серьезная помеха для дружбы. Каролина утаила эту правду от герцога, боясь, как бы ее не заподозрили в желании состарить приятельницу: она хорошо знала, что ничто так не уязвляет обычно хорошеньких женщин, как напоминание об их точном возрасте. Более того — пока госпожа д'Арплад всем и каждому повторяла в Севале, что она младше Каролины, та добродушно потворствовала сей ошибке памяти и никак ее не опровергала.

Итак, Каролина плохо знала свою покровительницу: они не встречались с той поры, когда Каролина училась еще в младшем классе, а мадемуазель Леони Леконт готовилась покинуть монастырь и, в опьянении от предстоящего брака с дворянином, ни о ком не сожалела, но, уже тогда ловкая и дальновидная, нежно прощалась со своими товарками. В то время Каролина и Камилла де Сен-Жене, девушки из хорошей семьи и с достатком, могли ей пригодиться. Поэтому, узнав о кончине их отца, Леони написала им теплое, участливое письмо. Отвечая ей, Каролина чистосердечно призналась, что осталась не только круглой сиротой, но и совершенно без средств.

Бросить ее в беде госпожа д'Арклад сочла неразумным. Другие монастырские подруги, с которыми она встречалась довольно часто, не раз говорили ей, что барышни де Сен-Жене прелестны и что Каролина с ее красотой и талантами в конце концов удачно выйдет замуж. Болтовня юных и неопытных женщин! Леони не сомневалась, что они ошибаются, но можно было попробовать найти Каролине хорошую партию, а заодно втереться в доверие к различным семействам, став посредницей в их переговорах, не подлежащих разглашению. Тогда Леони только и думала о том, как ей пошире раскинуть свои сети и добиться доверия других, делая вид, что она поверяет им свои тайны. Она решила завлечь Каролину к себе в провинцию, любезно и деликатно предложив ей кров и домашний уют.

Каролина была тронута ее добротой, но ответила, что с сестрой расстаться не может, а замуж выходить не хочет, но что если окажется в крайней нужде, то непременно прибегнет к помощи великодушной Леони и попросит ей приискать небольшую должность.

Тут Леони поняла, что Каролина лишена делового разума, и, по-прежнему расточая в письмах обещания и похвалы, совсем перестала интересоваться ее судьбой, пока в один прекрасный день все те же монастырские подруги, очевидно искренне жалевшие Каролину, не сообщили Леони, что мадемуазель де Сен-Жене готова пойти гувернанткой в какую-нибудь почтенную семью или лектрисой к старой и приятной даме. Леони любила опекать ближних: она вечно что-то для кого-то просила — это был для нее удобный случай показать себя в лучшем свете и понравиться. Очутившись в ту пору в Париже, Леони проявила необычайное рвение в поисках места для Каролины и вскоре напала на маркизу де Вильмер, которая как раз в это время распросилась со своей компаньонкой. Маркиза искала пожилую особу, так как герцог чересчур уж любил молоденьких. Леони красочно расписала недостатки зрелого возраста — из-за него, по ее словам, прежняя компаньонка, Эстер, была так сварлива — и намеренно умалила красоту и молодость Каролины. По ее рассказам, это была девушка лет тридцати, которая прежде была весьма недурна собой, но, хлебнув много горя, должно быть, уже увяла. Затем Леони отправила письмо Каролине, в котором обрисовала госпожу де Вильмер и посоветовала девушке поскорее представиться маркизе, а

остановиться в Париже предложила в своем доме. Читатель уже знает, что госпожу д'Арглад Каролина не застала, что представилась маркизе сама, поразила ее своей красотой, пленила чистосердечием, словом, добилась прелестью и благородством большего, нежели рассчитывала Леони.

Увидев располневшую, нарядную и развязную госпожу д'Арглад, которая все еще по-детски жеманилась и шепелявила пуще прежнего, Каролина очень удивилась и сперва даже заподозрила ее в лицемерии, но потом в простоте душевной забыла и думать об этом, сделав ту же ошибку, что и окружающие. С Каролиной Леони держалась чрезвычайно приветливо, так как уже успела расспросить маркизу и узнать, каким расположением пользуется Каролина у старой дамы. Госпожа де Вильмер заявила Леони, что Каролина — само совершенство, что она благоразумная, живая, кроткая, чистосердечная, на редкость образованная и удивительно благородной души. Она горячо поблагодарила госпожу д'Арглад за то, что та приискала для нее этот «перл Востока», а Леони подумала: «Что ж, тем лучше! Я вижу, Каролина может мне быть весьма полезной. Впрочем, она уже мне полезна, так что никем не следует пренебрегать и никого не нужно презирать».

И Леони осыпала Каролину ласками и льстивыми похвалами, которые звучали в ее устах наивными излияниями пансионерки.

Перед тем как подняться к брату, герцог минут пять разгуливал по двору. Решив помириться с маркизом, но еще не остыв от гнева, он боялся потерять самообладание, если маркиз начнет опять его отчитывать. Наконец он собрался с духом, поднялся по лестнице и миновал длинную переднюю: кровь у него в висках стучала так сильно, что герцог не слышал даже собственных шагов.

Урбен был один в библиотеке, продолговатой сводчатой комнате, которую тускло освещала небольшая лампа. Маркиз не занимался, но, увидев вошедшего герцога, положил книгу перед собой.

Герцог остановился, не смея заговорить с братом, и внимательно поглядел на него. Матовая бледность лица и полные горя глаза Урбена тронули сердце герцога. Он уже хотел протянуть маркизу руку, но тот поднялся и прочувствованно сказал ему:

— Брат, я вас очень оскорбил час назад. Я поступил, вероятно, несправедливо. Во всяком случае, распекать вас у меня не было права:

я за всю свою жизнь любил одну-единственную женщину, но и на нее навлек позор и стал виновником ее смерти. Признаю нелепость, жестокость и суетность своих обвинений и искренно прошу у вас прощения.

— Ну и слава богу! Благодарю тебя от всего сердца, — ответил Гаэтан, сжимая руки маркиза. — Ты мне оказываешь великую услугу, так как я сам пришел просить у тебя прощения. Только бы еще знать, за что, черт побери! Но я понял, что наша стычка в парке привела тебя в крайнее раздражение. Я, может быть, даже сделал тебе больно, у меня тяжелая рука... Но отчего ты со мной сразу не заговорил? И потом... потом... по моей милости ты так мучился и, очевидно, уже давно. А я ничего не знал... Да и как тут было догадаться!.. И тем не менее я должен был понять, что с тобой происходит, и за свою недогадливость искренно прошу у тебя прощения, милый брат! Ах, отчего ты перестал мне верить — ведь мы же поклялись в вечной дружбе!

— Отчего я перестал тебе верить? — воскликнул маркиз. — Неужели ты не видишь, что только о доверии я и мечтал, а рассердился на тебя от горя?.. Когда доверие к тебе исчезло, я оплакал его! Верни мне его, брат, — без него я не могу жить.

— Но что я должен сделать? Говори... пытай меня огнем и железом. Я готов. Только, прошу, не пытай водой, если ее придется пить.

— Вот видишь! Ты все смеешься!

— Да, смеюсь... Уж такой я человек, смеюсь, когда мне весело... А раз ты меня снова любишь, все остальное вздор. Ты любишь эту прелестную девушку? На то твоя воля. Хочешь, чтобы я с ней больше не встречался, не разговаривал, не смотрел в ее сторону? Изволь — вот тебе честное слово. Если этого недостаточно, я завтра же уеду, а хочешь, сию же минуту уеду верхом на Белянке. Страшнее пытки для меня трудно измыслить!

— Нет, не уезжай, не покидай меня! Неужели ты не видишь, как мне плохо!

— Господи! Что ты такое говоришь? — закричал герцог, поднимая абажур лампы и вглядываясь в лицо брата. Потом Гаэтан торопливо взял брата за запястье и, не сразу обнаружив пульс,

приложил руку к груди маркиза: сердце внезапно занемогшего Урбена билось беспорядочно и прерывисто.

Когда маркиз был совсем молод, подобные припадки серьезно угрожали его жизни. Затем недуг прошел, но остались физическая хрупкость, нервные недомогания, неожиданно возникающая слабость, хотя вообще здоровье маркиза мало чем отличалось от здоровья сотен других людей, которые внешне выглядят более деятельными, а на самом деле гораздо менее закалены и стойки, ибо их не поддерживают могучая воля и сила духа, свойственные таким избранным натурам, как Урбен. Однако на сей раз старая болезнь вернулась, сказавшись притом с такой силой, что оправданы были и ужас Гаэтана и ощущение тоски и близости смертного часа, охватившего Урбена.

— Ни слова матушке! — сказал маркиз, вставая и распахивая окно. — Не думаю, что смерть унесет меня завтра. У меня еще есть довольно сил, и я владею собой. Куда ты собрался?

— Черт возьми, оседлаю лошадь и поеду за доктором...

— Куда? За каким доктором? Он убьет меня, если возьмется лечить по своей системе. Даже если мне станет совсем плохо, пуще всего бойся довериться этим деревенским эскулапам: кровопускание унесет меня. Десять лет назад меня упорно лечили, и теперь я сам знаю, что мне нужно, сам могу себя вылечить. Сейчас ты в этом убедишься, — добавил маркиз, показывая герцогу порошки в одном из ящиков письменного стола. — Это успокоительные лекарства и возбуждающие снадобья, и теперь мне известно, когда и в каких дозах их надо применять. Я превосходно знаю свою болезнь и умею с ней справляться. Будь уверен, если у меня еще есть шанс выздороветь, я выздоровею в сделаю для этого все. Не тревожься! Я рассказал тебе о моем опасном недомогании, чтобы ты простил мне сегодняшнюю вспышку гнева. Сохрани эту тайну, прошу тебя. Не следует понапрасну волновать нашу бедную матушку. Когда пробьет час подготовить ее... я почувствую это и предупрежу тебя. А покамест, брат, прошу тебя, успокойся!

— И это он говорит мне! — возразил герцог. — Спокойствие нужно прежде всего тебе, а ты сгораешь от страсти. Она разбередила тебе сердце. Теперь тебе нужны только любовь, счастье, опьянение жизнью, нежность. Ну ладно, еще не все потеряно... Скажи, ты

хочешь, чтобы эта девушка любила тебя? Она тебя полюбит. Да что я говорю? Она любит и всегда любила тебя... с первой вашей встречи. Теперь я все припоминаю и ясно вижу. Это тебя...

— Полно, полно! — сказал маркиз, снова опускаясь в кресло. — Мне тяжело тебя слушать. От твоих слов мне делается душно.

Он с минуту молчал, и герцог в тревоге не спускал с него глаз. Потом Урбену полегчало, и он с улыбкой произнес:

— Да, брат, ты сказал правду! Это, вероятно, любовь, и другим словом мое чувство не назовешь. Ты убаюкал меня своими фантазиями, и я, как ребенок, поверил им. Послушай теперь, как бьется мое сердце. Кажется, оно успокоилось. Мечты освежили его, как дуновение ветра.

— Если тебе действительно легче, — сказал герцог, убедившись, что маркиз пришел в себя, — не теряй времени и постарайся заснуть. Ты совсем не спишь. Нередко по утрам, уезжая на охоту, я вижу, что в твоём окне все еще горит лампа.

— Да, но сколько ночей я уже не работаю!

— Хорошо! Если это бессонница, больше ты не будешь бодрствовать в одиночестве, обещаю тебе! Пойдем, я помогу тебе лечь.

— Это невозможно.

— Ах, да, в постели тебя душит. Тогда устройся поудобнее в кресле и закрой глаза, а я сяду рядом и буду рассказывать о Каролине, пока ты не заснешь.

Герцог отвел брата в спальню, посадил в просторное кресло и принялся по-матерински ухаживать за ним. Тут-то и проявилось доброе сердце герцога, и Урбен в знак благодарности сказал ему:

— Сегодня вечером я был отвратителен. Скажи, что ты простил меня.

— Я скажу больше: я люблю тебя, — ответил Гаэтан, — и не только я. В этот час она тоже думает о тебе.

— Боже мой, ты лжешь, убаюкивая мою душу этой ангельской песнью. Но ты лжешь... Она никого не любит и никогда не полюбит меня.

— Хочешь, я сейчас же пойду к ней и скажу, что ты серьезно болен? Бьюсь об заклад, через пять минут она будет здесь.

— Возможно, — кротко ответил маркиз. — В ней столько милосердия и преданности. Она придет из жалости, а видеть, что она только жалеет меня, еще тяжелее.

— Ба, да ты, я вижу, ничего в этом не понимаешь. Жалость и есть начало любви. Если бы ты послушался меня, то через неделю...

— Зачем ты надрываешь мне душу? Ведь если б добиться ее любви было так легко, я не мечтал бы о ней день и ночь.

— Хорошо, ты по крайней мере простился бы с иллюзиями и успокоился. А это уже кое-что.

— Это был бы мой конец, Гаэтан, — воодушевившись, возразил маркиз крепнувшим голосом. — Как мне бесконечно жаль, что ты не можешь понять меня, точно между нами пролегла пропасть. Будь осторожен, мой бедный друг. Любая опрометчивость, легкомысленность, любая нечаянная ошибка с твоей стороны убьют меня скорее, чем пуля, пущенная тобой из револьвера.

Герцог был в полном замешательстве. Он думал, что раз молодые люди испытывают друг к другу сердечное влечение, то достаточно отбросить в сторону маловажные, с его точки зрения, предубеждения, и все уладится само собой. Но маркиз, как казалось Гаэтану, из-за свойственной ему странной щепетильности только осложняет дело. Ведь, судя по его словам, если мадемуазель де Сен-Жене отдалась бы ему без любви, страсть маркиза пошла бы на убыль, а, выздоровев от чувства, истерзавшего его сердце, он еще сильнее мучился бы и страдал. Этот непонятный ему тупик тем более огорчал герцога, что ему приходилось принимать в расчет как волю, так и убеждения Урбена. Поговорив с ним еще и осторожно заглянув в тайники его сердца, герцог пришел к заключению, что осчастливить маркиза можно только одним способом: помочь ему удостовериться в ответном чувстве Каролины и внушить надежду на то, что, проявив терпение и деликатность, Урбен добьется успеха. Пока фантазия Гаэтана витала в саду романической любви, маркиз охотно предавался убаюкивающим душу радужным мыслям.

Но едва только брат склонял его к тому, что пора, собравшись с духом, открыть Каролине сердце, маркизом овладевали мрачные предчувствия того, что случится неотвратимая беда, и, к несчастью своему, он не обманывался. Ведь Каролина должна была либо отказать маркизу и покинуть Севаль, либо принять его предложение

(соблазнить девушку даже не приходило Урбену в голову) и повергнуть в страшное отчаяние престарелую госпожу де Вильмер, которая, вероятно, не переживет утраты своих иллюзий.

Погруженный в эти размышления, герцог сидел у постели брата: тот уже дремал, предварительно вырвав у Гаэтана обещание уйти к себе и отдохнуть, как только сам он заснет. Не зная, как помочь маркизу, Гаэтан злился на самого себя. Самым надежным казалось ему рассказать обо всем Каролине, воззвать к ее милосердию, попросить ее вдохнуть силы в душу болящего, скрыть от него будущее и утешить смутными обещаниями и поэтическими речами. Это, однако, в свой черед, означало толкнуть бедную девушку на опасный путь; да и Каролина, уже достаточно взрослая, немедленно поймет, что на этом пути рискует и своей репутацией и, может быть, покоем собственной души.

Судьба, которая весьма деятельно вмешивается в драмы такого рода, сделала то, что не решался сделать герцог д'Алериа.

XIII

Хотя герцог пообещал брату никому не говорить о его недуге, он не посмел сдержать слово, побоявшись слишком тяжелой ответственности. Утверждая, что не верит в медицину, герцог верил в любого лекаря, поэтому решил отправиться в Шамбон и посоветоваться с тамошним молодым врачом, который со знанием дела и осмотрительностью лечил его в свое время от легкого недомогания. Врачу можно будет рассказать под секретом о здоровье маркиза, пригласить его на следующий день в замок под предлогом, будто он хочет продать клочок луговины, вклинившийся в земли севальского поместья, и устроить так, чтобы он увидел маркиза, внимательно присмотрелся к его лицу и поведению, ничего при этом не говоря больному. Его частное мнение герцог сумеет сообщить потом Урбену, и тот, возможно, перестанет упрямяться и прислушается к нему. Размышлять в безмолвии ночи было не в натуре герцога. Чтобы унять свое беспокойство, ему нужно было действовать. Он рассчитал, что через полчаса будет в Шамбоне и что ему хватит часа на то, чтобы разбудить врача, договориться с ним и вернуться в замок. Он мог приехать домой до того, как его брат, заснувший, как ему казалось, спокойно и крепко, пробудится от первого сна.

Герцог бесшумно покинул спальню маркиза, вышел через сад, стараясь никого ненароком не разбудить, торопливо спустился к реке и через мостик возле мельницы выбрался на тропинку, ведущую в Шамбон. От лошади и обычной дороги герцог отказался только по одной причине: он не хотел подымать на ноги спящий дом.

Маркиз спал чутко и слышал, как брат на цыпочках выбирался из комнаты, но, не подозревая о его плане и желая, чтобы он отдохнул, притворился, будто ничего не замечает.

Было уже за полночь. Простившись с маркизой, госпожа д'Арлад последовала за Каролиной в ее каморку, чтобы еще немного поболтать.

— Ну, душечка моя, — сказала она, — признавайтесь! Вам и вправду так нравится тут жить или вы только делаете вид? Может, что-нибудь вам не по нраву, говорите начистоту. Господи, в каждом

доме есть свои изъяны... Пользуйтесь тем, что я здесь, и выкладывайте всё без околичностей. Маркиза прислушивается к моему мнению. У меня счастливое преимущество: самой ничего не надо, и я безо всякого стеснения могу помогать своим друзьям.

— Вы очень добры, — ответила Каролина, — но здесь со мною все так мило, что если б мне что-то было неприятно, я сказала бы об этом без обиняков.

— И слава богу, благодарю вас, — ответила Леони, отнеся последние слова Каролины на свой счет. — Ну, а герцог? Небось этот красавчик волочился за вами?

— Право, самую малость, и к тому же теперь с этим покончено.

— Ваша откровенность меня радует. После того как я посоветовала вам в письме пойти компаньонкой к маркизе, меня, знаете, просто загрызла совесть. Я ведь даже не обмолвилась об этом сердцеде.

— Да, вы точно боялись со мной заговорить о нем.

— Бояться не боялась, но забыла совершенно. Не голова у меня, а решето. Потом себе же выговаривала: «Господи, только бы мадемуазель де Сен-Жене не обидели его ухватки». Он ведь всех так поддразнивает!

— Только, слава богу, не меня.

— Вот и хорошо, — промолвила Леони, не поверив ни одному слову Каролины. Она заговорила о тряпках, потом вдруг сказала: — Господи, как я хочу спать! И не мудрено после такой дороги! До завтра, милочка. Вы рано подымаетесь?

— Да, а вы?

— Я, к сожалению, не очень, но как открою глаза... скажем, меж десятью и одиннадцатью, сразу прибегу к вам.

С этими словами госпожа д'Арглад ушла, решив подняться чуть свет, повсюду побродить и как бы невзначай подглядеть все мелочи жизни этой семьи. Каролина проводила свою приятельницу, помогла ей устроиться, а затем вернулась в свою каморку, которая находилась довольно далеко от апартаментов маркиза, но окнами выходила на ту же лужайку, что и его спальня.

Перед тем как лечь в постель, Каролина уложила стопкой несколько книжек: она старалась образовать свой ум и много читала. Пробил час ночи, и Каролина пошла закрыть ставни. В ту же минуту

она услышала какой-то треск и, взглянув на освещенное окно напротив, увидела, что из него со звоном посыпались стекла. Удивленная этим происшествием и наступившей вслед тишиной, Каролина напрягла слух. Всё было тихо, и только немного погодя она различила смутные звуки: казалось, кто-то слабо стонал, потом сдавленно вскрикнул и захрипел. «Маркиза убивают!» — пронеслось в голове Каролины, так как зловещие шорохи явственно доносились из его спальни. Что делать? Звать на помощь, кинуться к герцогу, жившему от брата еще дальше, чем она?.. Это заняло бы слишком много времени.

Она быстро прикинула на глаз расстояние: от маркиза ее отделяли от силы двадцать шагов. Злодеи могли проникнуть к маркизу только по лестнице в башне Грифа, которая возвышалась напротив башни Лиса. Обе башенки получили свои названия от эмблем, грубо высеченных на дверных тимпанах. Из комнаты Каролины был прямой выход на лестницу Лиса, так что никто не поспел бы к маркизу раньше, чем она, а её появление сразу вспугнет убийц. К тому же на башне Грифа есть веревка от пожарного колокола. Все это твердила себе Каролина, пробегая по траве к дверце в башню Грифа, которая оказалась распахнутой настежь. Открыл ее герцог, который, выйдя через эту дверь, хотел тем же путем вернуться на рассвете домой, — разбойников он не боялся, так как здесь о них даже слуху не было.

Каролина же, еще сильнее укрепившись в своем заблуждении, мигом поднялась по витой каменной лестнице. В коридоре было тихо, и миновав его, Каролина в замешательстве остановилась у спальни маркиза. Собравшись с духом, она постучала, но ответа не последовало. Значит, злодеи ей просто примерещились, но кто же тогда кричал? Вероятно, произошел несчастный случай, притом серьезный и требующий немедленного вмешательства. Каролина толкнула дверь и увидела маркиза, распростертого на полу: почувствовав внезапное удушье, он пытался открыть окно, чтобы плотнуть свежего воздуха, и разбил стекло.

Однако сознания маркиз не потерял. Страх смерти оставил его, жизнь и дыхание постепенно возвращались к нему. Лежа лицом к окну, он не видел вошедшей Каролины и, думая, что это герцог, сказал слабым голосом:

— Не пугайся, скоро все пройдет. Помоги мне подняться, я совсем ослабел.

Ощувив прилив сил, Каролина бросилась к маркизу и поставила его на ноги, а он узнал ее только в ту минуту, когда опустился в кресло. Вернее сказать — принял ее за призрак, ибо перед затуманенными глазами еще плыли синие круги, а тело было таким одеревеневшим, что он не почувствовал ни рук Каролины, ни прикосновения ее платья.

— Боже мой, мне это, наверное, снится, — воскликнул маркиз, изумленно глядя на девушку. — Это вы? Вы?

— Ну, конечно, я, — ответила она. — Я услышала, как вы стонали... Господи, что нужно сделать? Позвать брата? Но я боюсь оставить вас одного. Что с вами?

— Ах, да, да, мой брат, — заговорил маркиз, окончательно приходя в себя. — Это он привел вас ко мне? Но где же он?

— Его тут нет. Он ничего не знает.

— Вы с ним виделись?

— Нет. Хотите, я велю позвать его?

— Нет. Не уходите от меня.

— Хорошо, но вам нужно помочь.

— Не нужно. Я знаю, что со мной. Все пустяки. Не пугайтесь, видите, я совершенно успокоился. А... вы здесь? И вы ничего не знали?

— Абсолютно ничего. За последние дни вы странно переменились. Я думала, вы больны, но не смела спросить...

— А сейчас... я, стало быть, позвал на помощь. Да?.. Что я говорил?

— Ничего. Вы, очевидно, упали и разбили стекло. Вы не поранились?

И Каролина, поднеся лампу, внимательно осмотрела руки маркиза. Правая была довольно сильно порезана; Каролина промыла рану, ловко вынула осколки стекла и принялась перевязывать руку. Урбен не противился, глядя на девушку благодарными и изумленными глазами.

— И мой брат ничего не говорил вам, ничего? — то и дело спрашивал маркиз слабым голосом.

Каролина никак не могла взять в толк этот вопрос, который, казалось, мучил сознание маркиза, и, чтобы успокоить его, рассказала, как ей померещилось, будто маркиз попал в лапы разбойников.

— Конечно, это глупые бредни, — говорила она, стараясь развеселить Урбена, — но, понимаете, я ужасно испугалась и прибежала сюда как на пожар, даже никого не предупредив.

— А если бы и вправду здесь были убийцы? Неужели вы пришли бы, пренебрегши опасностью?

— В тот момент я меньше всего опасалась за себя — я думала только о вас и о вашей матери. Не знаю, чем, и не знаю, как, но защититься вам помогла бы, придумала бы что-нибудь, схитрила... Ну вот, рука и перевязана. Порез у вас пустячный. Но скажите, в чем главный недуг? Надо же известить ваших близких — они-то знают, как помочь. Может, ваш брат...

— Да, да, герцог все знает. Это матушка ничего не знает.

— Понимаю. Вы не хотите... Я ничего не скажу ей. Но если вы позволите, я сама буду ходить за вами, и вместе с герцогом мы сумеем найти средства против вашей болезни. Я докучать вам не стану — ухаживать за больными мне не привыкать. Все будет хорошо... Только не судите меня строго за мой необдуманый приход... Через некоторое время вы и сами поднялись бы, я уверена, но так тяжело страдать в одиночестве! Вот вы и улыбнулись. По-моему, сударь, вам немного лучше. Скорей бы вам полегчало!

— Я просто в раю, — ответил маркиз, и, не отдавая себе отчета, который теперь час, добавил: — Посидите со мной, еще не очень поздно. Вечером моей сиделкой был брат, он скоро придет вам на смену.

Каролина не стала перечить маркизу. Она даже не подумала о том, что вообразит герцог, застав ее в этой спальне. В минуты, когда друг был в опасности, Каролина просто забыла о возможности оскорбительных подозрений на свой счет. Она осталась.

Маркиз пытался продолжить беседу, но силы изменили ему.

— Молчите, — сказала Каролина, — и постарайтесь уснуть. Честное слово, я не уйду от вас.

— Вы хотите, чтобы я заснул? Но я не могу... Стоит мне задремать, как я начинаю задыхаться.

— Но вы же изнемогаете от усталости, и глаза у вас слипаются. Не надо бороться с природой. А если припадок повторится, я помогу вам справиться с ним. Я буду рядом.

Доброта и доверчивость Каролины подействовали на больного как чудодейственное лекарство. Маркиз уснул и проспал до утра. Каролина просидела всю ночь, облокотившись на стол. Теперь она уже знала, что за болезнь подтачивала маркиза и как ее нужно лечить: на столе она нашла запись простых средств лечения, которое прописал Урбену один из лучших врачей Франции. Бумажку эту, на которой стояло авторитетное имя, маркиз показывал герцогу, дабы убедить его в том, что способ самостоятельного лечения ему известен; она так и осталась лежать на столе и невольно попала на глаза Каролине. Девушка внимательно прочитала ее и поняла, что маркиз давно нарушал режим, предписанный врачом: он мало двигался, плохо ел, бодрствовал ночами. Каролина опасалась, как бы новый приступ недуга не оказался роковым для больного, но дала себе слово, ежели маркиз поправится, быть настороже и неустанно заботиться о нем, не обращая внимания на его мрачность и холодность, которую теперь она объяснила его постоянным недомоганием.

Герцог вернулся на рассвете. Доктора он дома не застал, нужно было ехать за ним в Эво, но прежде Гаэтан хотел взглянуть на брата. Белой полоской на горизонте занималась заря, когда герцог тихо поднимался по лестнице к маркизу. На сей раз Урбен и вправду спал так крепко, что не слышал его шагов, и Каролина поспешно вышла к нему, дабы тот не вскрикнул от неожиданности, застав ее в спальне брата. Герцог и в самом деле крайне изумился, когда Каролина появилась перед ним. Что тут произошло, он решительно не понимал. Первой его мыслью было, что маркиз утаил от него правду и что Каролина, зная о его любви и страданиях, пришла утешить Урбена.

— Дружочек мой! — сказал герцог, взяв Каролину за руки. — Не тревожьтесь! Он мне во всем признался. Вы пришли к нему, добрая душа, и вы спасете его.

И герцог с нежностью прижал ее руки к губам.

— Но если вы знали, как ему плохо, — спросила слегка озадаченная Каролина, — зачем же оставили его ночью одного? А если вы рассчитывали на меня, тогда отчего не предупредили?

— Что тут стряслось? — воскликнул герцог, видя, что они не понимают друг друга.

Каролина коротко рассказала ему о происшедшем, и пока герцог провожал девушку через двор до лестницы Лиса, уже проснувшаяся госпожа д'Арклад внимательно следила за ними из окна. Она видела, как они перешептывались с таинственным и доверительным видом, затем остановились у двери, но даже там не прервали беседы. Герцог рассказывал мадемуазель де Сен-Жене о том, как он пытался привести к маркизу врача, а Каролина отговаривала его от этого, уверяя, что предписанное маркизу лечение вполне надежно и что весьма опрометчиво прибегать к новым способам, если прежний уже не раз помогал больному. Герцог тут же пообещал последовать этому совету. Госпожа д'Арклад видела, как они обменялись рукопожатиями и как герцог, вернувшись назад, поднялся по лестнице Грифа.

«Так! — подумала Леони. — С меня довольно. Теперь не надо мучить себя и бегать по росе; я могу спокойно выспаться. Ай да Каролина! — думала она засыпая. — Какая лгунья! Но я сразу раскусила ее. Так герцог и пощадит ее добродетель, дождись! Но теперь я все знаю, и если мне понадобятся услуги Каролины, она у меня в руках».

А Каролина меж тем немедленно легла в постель с намерением сразу же уснуть и пораньше прийти к больному.

В восемь часов утра она была уже на ногах и, поглядев на окно спальни Урбена, увидела герцога, который показывал знаками, что будет ждать ее внизу, в библиотеке. Каролина тотчас отправилась туда и узнала от Гаэтана, что маркиз чувствует себя превосходно. Он только что проснулся со словами: «Господи, какое чудо! После целой недели мук я впервые выспался. Все прошло, я дышу свободно и, по моему, совершенно здоров. Этим я обязан ей одной».

— И это правда, дружочек, — добавил герцог, — вы спасли его, вам его и беречь, если вы хоть капельку нас жалеете.

Поклявшись маркизу молчать, герцог держал слово, но думая, что ничего не сказал лишнего, случайно проговорился Каролине. Его слова поразили девушку.

— Что вы такое говорите, сударь? — изумилась она. — Кто я такая и какое место занимаю в этом доме, чтобы иметь на маркиза такое влияние?

От испуганного взгляда Каролины герцог даже оробел.

— Полноте, что с вами? — спросил он, снова притворившись спокойным и веселым. — Что я такого сказал? Я имел в виду только одно: брата я обожаю, безмерно боюсь его потерять, и так как вы его выходили этой ночью, я разговариваю с вами как с сестрой. Видите ли, Урбен убивает себя работой, к моим советам едва прислушивается и даже запрещает сообщить матушке, что его опять мучает старая болезнь. Конечно, сказать ей об этом — значит серьезно ее встревожить. Она очень слаба и тем не менее захочет, конечно, ухаживать за Урбеном и быть при нем сиделкой... Вы понимаете, что через две ночи она сама сляжет... Поэтому лишь нам двоим под силу спасти брата. Только никому ни слова — ни слугам, ни горничным. Я уже убедился в том, что вы особа добрая и рассудительная. Хотите ли вы, сможете ли, хватит ли у вас смелости помочь мне тайком от всех выходить маркиза, сидеть около него в очередь со мной вечерами, а при надобности и ночами, не оставлять одного ни на час, чтобы даже часа он не держал в руках своих проклятых книжек? Я совершенно уверен, что маркизу нужно только одно: полный умственный покой, крепкий сон, короткие прогулки и хорошая еда. А переупрямить брата может только человек деспотической воли, да, да, деспотической, человек, который не постесняется что-то запретить ему, если нужно, человек преданный... не обидчивый, не самолюбивый, который, если придется, станет терпеть его вспышки своеволия и выслушивать горячие изъявления благодарности. Короче говоря, брату нужен настоящий друг, у которого хватит деликатности, рассудительности и милосердия, чтобы заставить его принять и даже полюбить эту докучную опеку. Только вы, Каролина, сможете быть ему этим другом. Мой брат почитает вас, глубоко уважает и, думаю, питает к вам искреннюю дружбу. Попробуйте взять его под свое крылышко на неделю, на две или на месяц: ведь раз он сегодня утром встал на ноги, значит, вечером он уже засядет в библиотеке, займется своими книгами и выписками. Если нынешнюю ночь он крепко проспит, то решит, что полностью выздоровел и уже на следующую ни за что не станет ложиться. Видите, какую трудную задачу мы должны взять на себя! Я к ней готов и ни перед чем не остановлюсь, но один я ничего не смогу сделать. Мое постоянное присутствие наскучит ему; он начнет раздражаться, и мои добрые начинания пойдут прахом. А

вы — женщина, вы его сиделка, великодушная, упорная и терпеливая, какой может быть только женщина, и я уверяю, что он станет безропотно слушаться вас, а потом, когда поправится, еще благословит вас за то, что вы его переупрямили.

Эта речь герцога полностью рассеяла смутные подозрения Каролины.

— Вы правы, — твердо ответила она. — Я стану его сиделкой, можете на меня рассчитывать. Я признательна вам за ваш выбор, но не думайте, что вы передо мной в долгу. Сидеть у постели больного мне не привыкать. Я, как и вы, бесконечно уважаю маркиза, считаю его на голову выше всех, кого знаю, так что служить ему почту за великую честь. Теперь, сударь, давайте договоримся о том, как разделить нам обязанности, чтобы никто не заподозрил о болезни вашего брата. Прежде всего, на ночь вам следует устраиваться в его спальне.

— Он этого не потерпит.

— Хорошо. В библиотеке тоже слышен каждый его шаг. К нашим услугам широкий диван, где можно отлично выспаться, укрывшись плащом. Будем дежурить здесь по очереди, а там посмотрим.

— Превосходно!

— Вам нужно рано подымать его с постели, чтобы он привык спать по ночам, и приводить завтракать с нами.

— Постарайтесь вырвать у него это обещание!

— Попробую. Ему совершенно необходимо есть хотя бы два раза в день. Мы его будем выводить на прогулку, или пускай он сидит с нами до полудня в саду. В полдень вы с ним наносите визит маркизе, затем до пяти часов с ней буду я, потом я переодеваюсь...

— У вас на это и часа не уйдет. Вы просто заглянете к Урбену в библиотеку, а я к тому времени уже буду там.

— Хорошо! Мы вместе пообедаем, задержим его в гостиной до десяти часов вечера, а после вы проводите маркиза в спальню.

— Чудесно! А когда матушка принимает гостей и мы совершенно свободны, вы сможете поболтать с нами часик-другой.

— Болтать с вами я не стану, — ответила Каролина, — я лучше почитаю ему книгу. Вы понимаете, что маркиз не сможет все это время сидеть без дела, а я постараюсь читать так, что нагоню на него сон, и он задремлет. Решено! Только сегодня нам очень помешает госпожа д'Арплад.

— Сегодня я сам все улажу, а госпожа д'Арлад завтра утром уезжает. Итак, мой брат спасен, а вы ангел!

XIV

Маркиз, узнавший от брата о его союзе с Каролиной, с благодарностью подчинился их решению. Он был еще очень слаб и медленно приходил в себя от сердечного приступа, который не столько подорвал телесные его силы, сколько привел в такое подавленное состояние духа, точно болезнь длилась много времени. Он больше не мог бороться со своей любовью и, будучи столь слабым, что не помнил уже, с какими бурями и опасностями сопряжена истинная страсть, с радостью препоручил себя заботливым рукам Каролины. О будущем герцог запретил ему думать.

— В таком состоянии ты ничего не можешь решить и не судья своим поступкам, — говорил ему герцог. — Когда человек болен, в голове у него туман. Позволь же нам тебя вылечить. Поверь, выздоровев, ты найдешь в себе силы, чтобы либо победить свое влечение, либо отказаться от ненужной щепетильности. Раз мадемуазель де Сен-Жене ничего не подозревает и по-сестрински ухаживает за тобой, твоя совесть перед ней чиста.

Эта *mezzoterminé*² рассеяла тревоги больного. Он даже встал с постели, чтобы навестить мать, и убедил маркизу в том, что черты его заострились от пустячного недомогания. Госпожа де Вильмер позволила ему остаток дня провести у себя, и маркиз мог целые сутки, то есть до отъезда госпожи д'Арклад, наслаждаться полным покоем.

Целый день Каролина с герцогом вели себя как заговорщики, то и дело переглядываясь друг с другом; они-то думали при этом только об Урбене, но Леони окончательно утвердилась в своих подозрениях и уехала, не сказав маркизе ничего такого, что могло выдать ее осведомленность.

Через неделю господин де Вильмер поправился. Все признаки аневризмы исчезли: выполняя врачебные предписания, маркиз постепенно обрел физическую крепость и душевное спокойствие, каких у него не было давным-давно. Вот уже десять лет никто не ухаживал за ним так преданно, так терпеливо, как мадемуазель де Сен-Жене. Говоря по правде, такой умной и сердечной заботы маркиз никогда не знал, поскольку мать его была недостаточно сильна телом

и бодра духом и к тому же не умела сдерживать порывов любви и тревоги, когда жизни Урбена угрожала опасность. Она и на сей раз смутно подозревала, что сын опять недомогает, так как он слишком много времени проводил у нее, а стало быть, с меньшим усердием занимался своей работой. Но эти подозрения возникли у нее в ту пору, когда самое страшное было позади: между герцогом и Каролиной царило полное взаимопонимание, занятые хозяйством слуги ничего не знали, а маркиз казался олицетворением безмятежности, — словом, все способствовало успокоению маркизы, а когда через две недели она заметила, что ее младший сын помолодел и даже повеселел, госпожа де Вильмер окончательно воспрянула духом.

Госпожа д'Арпад так ничего и не узнала о болезни маркиза. Герцог не оставлял надежд женить брата на богатой наследнице и, считая Леони болтушкой, не хотел, чтобы свет пронюхал о столь хрупком здоровье Урбена.

Об этом Гаэтан предупредил Каролину. Ради благополучия брата герцог вел с ней двойную игру: он хотел, насколько возможно, расположить ее к маркизу, постепенно завоевать безграничную преданность девушки, не забывая, однако, напоминать ей, что будущее их семейства целиком и полностью зависит от задуманного брака.

Каролина ни на минуту не забывала об этом и, бескорыстно исполняя то, что почитала своим долгом, стремительно шла к пропасти, которая могла поглотить ее жизнь. Вот так и получилось, что герцог, добрый от природы и движимый лучшими намерениями по отношению к брату, хладнокровно подготавливал гибель бедной девушке, наделенной редкостными душевными качествами.

Хотя совесть Урбена спала, но, к счастью для мадемуазель де Сен-Жене, сном достаточно чутким. Впрочем, к страсти его примешивались такое восхищение Каролиной и такая неподдельная привязанность к ней, что, казалось, она совсем исчезла или по крайней мере подчинилась его воле. Маркиз требовал, чтобы герцог не оставлял его наедине с Каролиной, и в своем прямотушии чуть не лишил себя ее опеки: сперва он твердил, что даст ей слово без ее позволения не братья за книгу, а потом действительно дал его, дабы избавить Каролину от обязанности постоянно дежурить в библиотеке, где часто заставлял ее, своего неусыпного и доброго стража, карающего книги и тетради маркиза, «опечатанные», как она в

шутку говорила, до нового распоряжения. Впрочем, герцог шепнул Каролине, что доверяться слову Урбена не стоит: хотя он и дал его с полной искренностью, сдержать обещание не в его власти.

— Вы даже не знаете, до какой степени он рассеян, — говорил герцог. — Если какая-нибудь мысль ему засядет в голову, он так увлекается, что забывает все свои клятвы. Стоит мне только отвернуться, как он сразу начинает рыться в книгах, и когда я кричу ему: «Ай-ай-ай, какой мошенник!», он смотрит на меня так изумленно, точно просыпается от глубокого сна. И такое с ним бывало уже раз двадцать!

Словом, Каролина не сложила с себя обязанностей ревностного стража. Библиотека находилась рядом с кабинетом маркиза, располагаясь почти в середине замка, и слуги нимало не удивлялись тому, что «чтица» зачастила в комнату для занятий. Порой она сидела там одна, порою с герцогом или с маркизом, но чаще с тем и другим, хотя Гаэтан и находил тысячу предлогов, чтобы оставить Каролину и Урбена наедине. В такие часы Каролина сидела с книгой при настежь распахнутых дверях и читала, но ничто так не пресекало любое поползновение опорочить ее дружбу с маркизом, как естественность их отношений, которая была сильнее самых хитроумных наветов.

Каролина была счастлива дружбой с Урбеном, а позднее вспоминала это время как самую безмятежную пору своей жизни. Если раньше холодность Урбена омрачала ей душу, то теперь маркиз был к ней добр и сердечен сверх всяких ожиданий. И как только Каролина перестала тревожиться за его здоровье, между ними установились отношения, казавшиеся ей безоблачными. Маркизу очень нравилось слушать ее чтение, а вскоре он даже позволил девушке помогать ему в работе. Она выписывала для Урбена всевозможные сведения, чутко угадывая, что именно ему нужно. Благодаря Каролине занятия превратились в сплошное удовольствие для маркиза: скучные выписки она приняла на себя, и теперь маркиз снова взялся за перо.

Урбен нуждался в секретаре гораздо больше, чем его мать, однако до сих пор и помыслить не мог о посреднике между ним и его работой. Меж тем он скоро заметил, что Каролина не только не сбивала его изложением чужих мыслей, но освобождала от лишней работы. Каролина отличалась замечательной ясностью суждений, и

эта ясность сочеталась в ней с умением упорядочить свои мысли — качеством, довольно редким у женщин. Она умела подолгу работать, не уставая и не отвлекаясь. Маркиз сделал открытие, которое произвело на него неизгладимое впечатление: он впервые встретил женщину, обладающую умом, неспособным к творчеству, но прекрасно усваивавшим чужие идеи, разбиравшимся в них и даже сообщавшим им стройность, короче говоря — умом, необходимым маркизу, чтобы придать известный порядок и его собственным мыслям.

Пора наконец сообщить читателю, что маркиз де Вильмер был наделен огромными способностями, которые оставались втуне и лишь поджидали случая проявиться. Поэтому он был в таком разладе с самим собой, потому так медленно работал. Думал и писал он быстро, но никак не мог привести в согласие пыл ревностного историка с философскими и нравственными убеждениями. Подобно искренно верующим, но наделенным болезненным воображением, людям, которым постоянно кажется, что они не открыли всей правды своему исповеднику, маркиза измучили сомнения. Он жаждал поведать человечеству некую социальную истину, не отдавая себе отчета в том, что истина эта, не только абсолютная, но даже и относительная, меняется в зависимости от эпохи. Маркиз никак не мог додумать это до конца. Он старался добраться до сути событий, скрытых в тайниках прошлого, и, удивляясь тому, что найденные с огромным трудом факты часто противоречат друг другу, сомневался в собственном здравомыслии, не решался прийти к окончательным выводам и откладывал работу, по неделям, а то и месяцам терзаясь от неуверенности в себе и тягостных раздумий.

Со свойственной ему болезненной застенчивостью маркиз никому не показывал своей книги, написанной лишь наполовину; тем не менее, Каролина догадалась о том, что его мучает: для этого ей было достаточно бесед с ним и тех замечаний, которые он отпускал во время ее чтений. Она тут же, по какому-то наитию, поделилась с маркизом своими мыслями, такими простыми и ясными, что оспорить их было невозможно. Ее нисколько не смущали проступок великого человека или неяркая вспышка разума в век, пораженный безумием. Она считала, что на прошлое надо смотреть издали, как на полотно художника, избрав точку зрения, удобную для глаза, чтобы схватить

всю картину целиком, и что следует, по примеру старых мастеров живописи, жертвовать незначительными подробностями, хотя и существующими в природе, но тем не менее нарушающими гармонию и даже логику самой природы. Каролина утверждала, что реальный пейзаж на каждом шагу поражает нас неправдоподобной игрой света и тени и что только профаны задаются вопросом: «Сможет ли художник изобразить это на полотне?», на что живописец вправе ответить: «Смогу, если не стану это изображать».

Она была согласна с Урбенем, что историк в гораздо большей степени, чем художник, скован точностью фактов, но оспаривала, что взгляд на мир у того и другого различен. По мнению Каролины, прошлое и даже настоящее человека или общества имеют смысл и определенное значение лишь в своей целокупности и в своих результатах. Случайности и даже отклонения в сторону входят в сферу необходимости, иначе говоря — законов конечного. А вот чтобы понять человеческую душу, народ или эпоху, их нужно рассматривать в свете некоего определенного события, как поля — в свете солнца.

Эти мысли Каролина высказывала очень осторожно: она как бы задавала вопросы, сомневаясь в собственной правоте, и была готова пойти на попятный, если маркиз не одобрит ее. Но господин де Вильмер был ими поражен: чувствуя, что за словами Каролины стоит глубокая убежденность и что даже если бы она умолчала о своих взглядах, они тем не менее остались бы непоколебимыми, маркиз, однако, пытался спорить с нею, представляя на ее суд множество фактов, которые не поддавались объяснению и смущали его. Каролина растолковала их так непредвзято, умно и прямодушно, что маркиз, взглянув на брата, воскликнул:

— Она так легко постигает истину, потому что истина в ней самой. А это первое условие ясного взгляда на мир. Человек с нечистой совестью и предубежденным умом не в силах понять историю.

— Поэтому, вероятно, не стоит писать историю, доверяясь мемуаристам, — сказала Каролина. — Ведь почти все мемуары — плоды предубеждений или преходящих страстей.

— Вы правы, — согласился маркиз. — Если историк, изменив своей вере и высоким идеалам, попадает в сети к обыденным мелочам

и запутывается в них, истина утрачивает все, чем ее наделила действительность.

Эти разговоры мы изложили читателю, дабы он понял, какие серьезные и безмятежные отношения сложились в замке Севаль между ученым эрудитом и скромной лектрисой, хотя герцог не жалел сил, стараясь заманить Каролину и брата в силки молодости и любви. Маркиз понимал, что душа его принадлежит Каролине не только потому, что он мечтает о ней, восхищается ею, склонен боготворить ее красоту и неподдельное изящество; нет, он понял, убедился и свято уверовал в то, что встретил свой идеал. Отныне Каролина была спасена: она внушила Урбену уважение к своим замечательным достоинствам, и он больше не боялся, что эгоистическая любовная горячка может одержать верх над рассудком.

Герцог сначала изумлялся тому, какой неожиданный оборот приняли отношения его брата и Каролины. Маркиз выздоровел, был совершенно счастлив и, казалось, победил свою любовь силами той же самой любви. Но герцог был умен и быстро уразумел, что произошло с маркизом. Он сам проникся немалым уважением к Каролине, начал прислушиваться к тому, что она читала, и уже не клевал носом с первых же страниц; более того — он хотел читать с нею в очередь и потом делиться своими впечатлениями. Собственных мыслей у него никогда не было, но чужие захватывали его и будоражили в нем воображение художника. За свою жизнь он прочитал мало серьезных книг, но зато великолепно запоминал имена и даты. Его отличная память до некоторой степени походила на крупно сплетенную сеть, за ячейки которой цеплялись отдельные ниточки знаний маркиза. Иначе говоря, он схватывал все, но глубинную логику истории постичь не мог. Герцог был не чужд предрассудков, но чувство прекрасного преобладало над ними, и красноречивая страница, принадлежала ли она Боссюэ или Руссо, равно приводила его в восторг.

Таким образом, герцог с удовольствием принимал участие в занятиях брата и проводил время в обществе мадемуазель де Сен-Жене. Но с того самого дня, когда он узнал о любви маркиза к Каролине, она перестала для него быть женщиной. В течение нескольких дней он загорался при виде ее, но потом стал гнать от себя дурные мысли и, тронутый тем, что после ужасной сцены ревности

маркиз снова проникся к нему безграничным доверием, впервые в жизни познал, что такое чистое и возвышенное чувство дружбы к красивой женщине.

В июле месяце Каролина писала своей сестре:

«Не тревожься, дорогая. Я уже давно не ухаживаю за больным, ибо мой подопечный никогда так хорошо себя не чувствовал, как теперь. Погода превосходная, и я по-прежнему подымаюсь чуть свет и каждое утро по нескольку часов сижу за работой с маркизом, которую он позволяет разделить с ним. Он теперь хорошо высыпается, так как ложится спать в десять часов, и в то же время уходить к себе разрешено и мне. Днем тоже нередко удается выкроить драгоценные свободные минутки: неподалеку от замка расположено Эво, где находятся лечебные ванны и дорога в Виши, поэтому гости приезжают к нам в те часы, когда в Париже маркиза обычно отдыхала. Она так занята, что ей даже некогда писать письма, но с тех пор, как ведутся переговоры о женитьбе маркиза, переписка сократилась сама собой. Госпожа так поглощена этим важным делом, что сообщает о нем всем старым друзьям без разбору, потом сама же раскаивается, говоря, что такая болтливость до добра не доведет и что вряд ли все ее многочисленные знакомые умеют хранить тайну. Словом, продиктованные ею письма мы бросаем в огонь. Поэтому маркиза мне часто говорит: „Больше писать не станем. Уж лучше помолчать, чем не говорить о том, что меня занимает“.

Когда приезжают гости, она дает мне знак, что можно удалиться в кабинет маркиза, так как знает, что я делаю для него выписки. Сын ее вполне здоров, и зачем мне скрывать от маркизы такую малость, как мою помощь ему? Госпожа признательна мне за то, что я избавила маркиза от докучных занятий, неизбежных в его работе. Она постоянно у меня выпытывает, что за таинственную книгу он пишет, но я, если бы и хотела, не могла бы ничего сказать, так как не читала ни строчки. Знаю только, что сейчас мы занимаемся историей Франции, вернее — временем Ришелье, и, уж конечно, умалчиваю про то, как разительно отличаются взгляды маркиза на многие вопросы от суждений его матери.

Не жалею меня, сестричка, хотя забот моих действительно прибавилось, и я стала, как ты выразилась, «служанкой двух господ».

Занятия с маркизой — моя священная обязанность, которую я исполняю с большой любовью; занятия с ее сыном — обязанность весьма приятная, которая внушает мне подлинное благоговение. Так радостно думать, что я помогла выходить маркиза и постепенно убедила в том, что жить надо так, как живут другие, иначе погубишь свое здоровье. Я использовала в своих целях даже его страсть к истории, твердя, что недуг вредит таланту и что ясность мысли несовместима с болезнью. Знала бы ты, как он был добр ко мне, как покорно выслушивал выговоры и нагоняи от твоей сестры, как послушно исполнял все мои распоряжения. Даже за столом он глазами спрашивает меня, что ему можно есть, а в парке, совсем как ребенок, гуляет со мной и герцогом ровно столько, сколько мы ему позволяем. И этого человека я почитала за упрямца и капризника, меж тем как ему, бедняге, грозил сердечный приступ! На самом же деле нрав у маркиза кроткий и на редкость уравновешенный, а прелесть его обхождения можно лишь сравнить с красотой реки, которая спокойно и безбурно несет прозрачные, глубокие воды по здешней долине, не зная омутов и круговоротов. А если продолжить сравнение, то у его ума есть и свои цветущие берега, островки зелени, где можно отдохнуть и вволю помечтать, — ведь маркиз настоящий поэт, и я только диву даюсь, как его буйному воображению не тесно в русле исторической науки.

Он, впрочем, уверяет, что это я открыла в нем поэтическую жилку и что теперь он сам начинает ее в себе замечать. На днях, спустившись в овраг, который пересекает долину реки Шар, мы любовались красивыми пастбищами, где щипали траву овцы и козы. В глубине этой обрывистой балки есть скалистый массив; в овраге он кажется горой, а его чудесные серовато-лиловые скалы так высоко вздымаются над плоскогорьем, что образуют внушительный кряж. Отсюда не видно и просторного нагорья, и порой кажется, будто ты в Швейцарии. Так по крайней мере говорит мне в утешение маркиз де Вильмер, поскольку знает, как высмеивает мои восторги его мать.

— Не обижайтесь, — твердил он, — и не верьте, когда говорят, что оценить истинное величие может только тот, кто много видел величественных ландшафтов на своем веку. Человек, наделенный чувством величия, замечает его везде, и это не игра его воображения, а подлинная прозорливость. Только человеку с неразвитыми

чувствами нужны необузданные проявления царственности и мощи. Поэтому многие, отправляясь в Шотландию, ищут там пейзажи, описанные Вальтером Скоттом, и, не найдя их, упрекают поэта за то, что он приукрасил свою родину. А между тем я ни секунды не сомневаюсь, что эти пейзажи не вымысел и, случись вам оказаться в этой стране, вы сразу отыскали бы их.

Я призналась маркизу, что подлинно грандиозные пейзажи будоражат мою фантазию, что мне часто снятся неприступные горы и головокружительные пропасти, а перед гравюрами, изображающими бурные шведские водопады или плавающие ледяные глыбы северных морей, я всегда погружалась в мечты о вольной жизни, что все путешествия в дальние страны, о которых я читала в книжках, не только не отпугивали меня тяготами пути, а напротив, будили сожаление, что я их так и не изведала.

— И тем не менее, когда вы только что глядели на этот прелестный ландшафт, — сказал маркиз, — вы показались мне такой счастливой и умиротворенной. Неужели волнения нужнее вашей душе, чем покой и умиленная безмятежность? Посмотрите, какая тишина царит вокруг! В этот час, когда солнечные блики словно тают в густеющих тенях, и туманные испарения ласково льнут к скалистым склонам, а листва беззвучно пьет золото последних лучей, просветленная торжественность природы, как в зеркале, отражает все прекрасное и доброе, что в ней сокрыта. Прежде я этого не видел и прозрел совсем недавно. Я жил среди пыльных книг, а грезилась мне лишь исторические события да миражи прошлого. Порой на горизонте проплывали передо мной корабли Клеопатры, а в ночной тишине из Ронсевальского ущелья доносились воинственные призывы рога. Но то было царство грез, а действительность ничего мне не говорила. И вот я увидел, как вы молча следите за небосклоном, как умиротворенно ваше лицо, и тогда я невольно спросил себя, откуда снизошла на вас эта радость. А если говорить правду, ваш недужный себялюбец немного ревновал вас к тому, что пленило ваш взор. И тогда, полный тревоги, он тоже стал смотреть на мир и покорился своей участи, ибо понял, что любит то же самое, что любите вы.

Ты, конечно, сестричка, понимаешь, что, говоря это, господин де Вильмер бесстыдно погрешил против истины: ведь он подлинный художник, равно благоговеющий перед природой и истинной

красотой. Но из чувства благодарности он так по-детски добр ко мне, что простодушно кривит душой, воображая, будто я и впрямь чем-то обогатила его духовную жизнь».

Однажды утром маркиз писал за большим столом в библиотеке, а Каролина, сидя напротив, рассматривала географический атлас. Внезапно Урбен отложил перо и взволнованно произнес:

— Мадемуазель де Сен-Жене, вы, помнится, не раз говорили мне о своем благосклонном желании познакомиться с моим сочинением, а я думал, что никогда не решусь вам его показать. Но теперь я почти за счастье представить его на ваш суд. Эта книга в гораздо большей степени создание ваших рук, нежели моих, — ведь я в нее не верил и только благодаря вам перестал противиться страстному желанию написать ее до конца. Вы помогли мне, и за один месяц я написал столько, сколько не сделал за последние десять лет, и теперь наверняка закончу свой труд, с которым, не будь вас рядом, вероятно, провозился бы до своего последнего часа. Впрочем, он был не за горами, мой смертный час. Я чувствовал, что он пробьет не сегодня-завтра, и лихорадочно спешил, ибо в отчаянии видел, что все ближе конец моего существования, но не труда. Вы повелели мне жить, и вот я живу, приказали успокоиться, и я спокоен, захотели, чтобы я поверил в бога и самого себя, и я поверил. Отныне я знаю, что мои мысли несут в себе истину, и теперь вам следует убедить меня в том, что я действительно обладаю талантом, ибо хотя содержание для меня важнее формы, все же почитаю форму звеном весьма существенным — ведь она делает истину и весомой и притягательной. Вот вам моя рукопись, прочитайте ее, мой друг!

— Прекрасно! — живо откликнулась Каролина. — Видите, я без колебаний и боязни берусь ее прочитать. Я настолько убеждена в вашем таланте, что, не страшась, даю слово чистосердечно высказать потом свое мнение, и настолько верю в наше единомыслие, что даже льщу себя надеждой понять те идеи, которые не уразумела бы при другом положении вещей.

Но, взяв сочинение маркиза, Каролина вдруг оробела от такой его доверительности и робко спросила, не разделит ли с ней досточтимый герцог д'Алериа столь приятное и интересное занятие.

— Нет, — ответил маркиз, — брат сегодня не придет — он на охоте, а я как раз хочу, чтобы вы прочитали книгу в его отсутствие. Брат ее не поймет, у него слишком много предрассудков. Правда, он думает, что мысли у него «передовые», как брат выражается; осведомлен он и в том, что я ушел еще дальше, чем он, но, конечно, и вообразить не может, что я отказался ото всех заповедей, внушенных мне воспитанием. Мой крамольный отказ от прошлого приведет его в ужас, и тогда, вероятно, я уже не смогу завершить свой труд. Впрочем, даже вас... может быть... покоробят некоторые мои мысли.

— У меня нет никаких предубеждений, — ответила Каролина, — и, вполне вероятно, что, познакомившись с вашей книгой, я соглашусь со всеми выводами. А сейчас, сударь, я прочитаю вслух вашу книгу. Надо же вам послушать, как ваши мысли звучат в чужих устах. Помоему, это хороший способ перечитать самого себя.

В то утро мадемуазель де Сен-Жене прочла половину тома. Она читала его после обеда и на следующий день. Так в три дня благодаря Каролине маркиз прослушал все свое сочинение, над которым трудился несколько лет. Неразборчивый почерк маркиза Каролина разбирала легко, читала внятно, толково, удивительно просто, оживляясь и даже волнуясь там, где повествование о грандиозных исторических катаклизмах достигало поистине лирической напряженности, поэтому автора словно озарили солнечные лучи уверенности, сотканые из тех разрозненных лучиков, которыми порой были пронизаны его рассуждения.

Нарисованная им картина была оригинальна и преисполнена подлинного величия. В своей книге, названной «История сословных привилегий», маркиз смело рассматривал многие щекотливые вопросы для того лишь, чтобы доказать неотвратимость и справедливость тех идей, которые привели Францию к революционной ночи 4 августа 1789 года. Отпрыск знатного семейства, всосавший с молоком матери аристократическую гордыню и презрение к плебейам, маркиз де Вильмер вынес на суд своих современников исторические документы, изобличавшие патрициев в том, что они вершили неправый суд, чинили произвол, стяжательствовали и не гнушались должностными преступлениями; во имя справедливости, во имя человеческой совести и прежде всего во имя евангельской доктрины маркиз обличал аристократию в

полном нравственном упадке. Он клеймил ханжество восемнадцати веков, на протяжении которых идею равенства, провозглашенную апостолами, старались примирить с идеей гражданских и теократических иерархий. Утверждая право на существование лишь политической и административной иерархии, иными словами — право, предоставляющее высшие должности людям согласно их личным достоинствам и общественной полезности, маркиз бичевал сословные привилегии, не щадя нынешних их носителей и защитников; он рисовал историю беззаконий и произвола, чинимого самовластием феодального дворянства со дня его рождения и по сию пору. Маркиз переписывал французскую историю под своеобразным углом зрения: руководимый высокой и непреложной идеей, он писал, исходя из религиозных соображений, которые дворянство никоим образом не могло опровергнуть, ибо оно ссылается на божественное право как на основу своих привилегий.

Мы не станем больше говорить о сути этого сочинения. Но как ни относиться к убеждениям автора, трудно было не признать за ним поразительного таланта, сочетавшегося с огромными познаниями и подвижнической одержимостью могучего духа. Особенно хорош был стиль, выразительный и разработанный; просто не верилось, что все это написал маркиз, столь немногословный и сдержанный в обществе. Но даже и в книге маркиз избегал словопрений. Изложив коротко, со сдержанным пылом задачи и посылки своего сочинения, он сразу же переходил к фактам, оценивая их точно и образно. Его красочное повествование не уступало в занимательности драме или роману, даже когда, используя неведомые доселе семейные архивы, маркиз рисовал читателю все ужасы феодальных времен, всю глубину страданий и приниженности плебеев. Ревностный и беспристрастный историк, маркиз де Вильмер глубоко чувствовал каждое посягательство на справедливость, целомудрие, любовь, и на многих страницах душа его, взыскующая истины, правосудия и красоты, открывалась до дна в бурных потоках вдохновенного красноречия. Много раз во время чтения Каролину начинали душить слезы, и она откладывала книгу, чтобы прийти в себя.

Мыслей автора она не оспаривала — так ее поразили талант маркиза и таким огромным уважением она прониклась к нему. Он так вознесся в ее глазах, стал настолько выше всех, кого она знала, что с

той минуты Каролина решила безоговорочно посвятить ему всю свою жизнь.

Хотя мы и сказали «безоговорочно», все же была одна оговорка, которую Каролина обязательно бы сделала, приди она ей на ум. Но она не пришла. Опасение, что такой человек, как маркиз де Вильмер, мог пожелать, чтобы она принесла ему в жертву свою честь, ни на секунду не омрачило незапятнанного восхищения им. Мы, однако, не посмеем утверждать, что это восхищение не прибавлялось к ее любви к Урбену — ведь таково свойство истинной любви, — но не она была причиной благоговения Каролины перед маркизом. До сих пор девушка не могла оценить все очарование его ума и натуры — он все время был скован, смятен и болен, и Каролина не сразу заметила перемены, которые незримо происходили в душе маркиза, пока наконец в один прекрасный день он не явился ей красноречивым, молодым, неотразимым; с каждым часом и днем Урбен становился все крепче физически, все увереннее в себе, в своих силах и обаянии, — так оно нередко бывает с благородными натурами, которых счастье излечивает от долгих и мрачных сомнений.

Когда же Каролина обнаружила эти пленительные изменения, она, сама того не сознавая, покорилась чарам маркиза. Между тем наступила осень, и пора было возвращаться в Париж. Госпожа де Вильмер каждый день говорила своей молодой наперснице:

— Через три недели... через две недели... через неделю состоится знаменательная встреча моего сына с мадемуазель де Ксентрай.

В такие минуты Каролина чувствовала, как ее обуревают смятение и ужас — предвестие сердечного чувства к маркизу, в котором она не смела себе признаться. Девушка настолько свыклась со смутной мыслью о женитьбе маркиза в далеком будущем, что даже не спрашивала себя, станет ли она страдать. Для нее женитьба эта была так же неизбежна, как старость или смерть. Но и со старостью и смертью люди мирятся, лишь когда они приходят, а Каролине казалось, что она умирает при одной мысли о близкой разлуке с маркизом на всю жизнь.

Но в конце концов она вместе с госпожой де Вильмер уверовала в то, что это неотвратимо. Маркизу она даже не заикнулась об этом — впрочем, герцог запретил ей спрашивать Урбена во имя дружбы,

которую она питала ко всей их семье. Герцог считал, что если не донимать брата уговорами, он потом согласится на брак, но вместе с тем отлично понимал, что прояви Каролина малейшее неудовольствие по этому поводу, и маркиз разом переменит решение.

Прежде Гаэтан искренно восхищался чистотой отношений между Каролиной и маркизом, но теперь они стали его тревожить.

«Их взаимная привязанность, — думал он, — становится такой сильной, что нельзя ручаться за ее последствия. Для брата было бы лучше утолить эту страсть — тогда она перестала бы препятствовать его будущему. А может статья, добродетель убила его любовь? Нет, нет, напротив, в подобных случаях добродетель лишь удваивает силу любви».

Герцог не ошибался. Предстоящий брак ничуть не огорчал маркиза, ибо теперь он твердо решил не вступать в него. Урбена удручал только переезд в Париж, где сразу же переменятся его отношения с Каролиной: их братская непринужденность, совместные занятия, неповторимая свобода общения — все пойдет прахом. Маркиз говорил об этом девушке с большой грустью, да и она сожалела о том же, но приписывала свою тайную печаль расставанию с деревенской жизнью, такой тихой и благообразной.

Однако в Париже ее поджидал сюрприз: Каролина там встретила сестрой и детьми. Камилла сообщила ей, что отныне они будут жить в Этампе, совсем рядом, в красивом, полудеревенском домике, окруженном довольно большим садом. До Парижа по железной дороге какой-нибудь час езды, Лили она поместила в пансион — ей удалось выхлопотать стипендию в одном из парижских монастырей. Каролина сможет навещать ее каждую неделю; обещали Камилле стипендию и для маленького Шарля, так что и он будет со временем определен в лицей.

— Я просто не могу прийти в себя от счастья! — воскликнула Каролина. — Но кто же совершил эти чудеса?

— Ты, как всегда, ты одна, — ответила Камилла.

— Ничего подобного! Я надеялась получить эти стипендии, вернее, их обещала в ближайшее время раздобыть Леони — она ведь так услужлива. Но о таком скором успехе я и не смела помышлять!

— Нет, — возразила госпожа Эдбер. — Леони тут ни при чем.хлопоты вел кто-то из живущих в замке.

— Невероятно. Я словом не обмолвилась маркизе. Зная, как она не любит нынешнее правительство, я не посмела бы...

— Значит, кто-то другой посмел разговаривать с министрами, а этот неизвестный... Он хочет, правда, остаться инкогнито, потому что действовал тайком от тебя, но я все-таки его выдам. Этот таинственный благодетель — маркиз де Вильмер.

— О!.. Значит, ты ему писала, просила...

— Боже сохрани! Он сам написал мне, сам расспрашивал о моем положении с такой добротой, деликатностью и учтивостью... Ах, Каролина, я тебя понимаю — этого человека нельзя не уважать... Постой-ка, я привезла его письма, мне очень хочется, чтобы ты их прочла.

Прочитав письма маркиза, Каролина поняла, что с того дня, как она стала ухаживать за ним, он занялся делами ее семьи и окружил Камиллу постоянной и нежной заботой. Он предупреждал тайные желания Каролины, беспокоился о воспитании детей, сам затеял переписку с важными особами и стал хлопотать, даже не упомянув об этом Камилле и ограничившись лишь тем, что расспросил ее подробно о должности ее покойного мужа. Потом он сообщил Камилле, что прошения его увенчались успехом, но и слушать не желал слов признательности, твердя, что долг благодарности по отношению к мадемуазель де Сен-Жене еще далеко не оплачен.

Домик в Этампе тоже был делом рук маркиза. Он написал, что в Этампе у него есть крошечное имение, не приносящее никакого дохода и доставшееся ему от престарелого родственника, и попросил госпожу Эдбер оказать ему честь и поселиться в этом доме. Камилла согласилась и написала, что перестройку его возьмет на себя, однако жилище оказалось в прекрасном состоянии, полностью обставлено и даже с годовым запасом дров, овощей и вина. Когда Камилла справилась у тамошнего управляющего о плате, он ответил, что господин де Вильмер не велел брать никаких денег, так как сумма пустяковая, да и сдавать внаем дом своего покойного кузена он не намерен.

Как ни была Каролина тронута добротой своего друга, как ни радовалась удачному обороту дел Камиллы, все же сердце ее сжалось от боли. Ей вдруг показалось, что тот, с кем она должна была расстаться навеки, сделал ей прощальный подарок и как бы погасил

долг благодарности. Но она гнала прочь тягостные мысли, каждое утро гуляла с сестрой и детьми, покупала приданое маленькой пансионерке, и наконец устраивала ее в монастыре. Маркиза пригласила к себе госпожу Эдбер вместе с прелестной Элизабет, которой предстояло распрощаться в монастыре со своим детским именем Лили. Госпожа де Вильмер была обворожительно любезна с сестрой Каролины, а девочке сделала чудесный подарок. Она дала Каролине два дня отпуска, дабы та могла заняться семейными делами, попрощаться с близкими и проводить их на вокзал. Маркиза даже съездила в монастырь и представила там Элизабет Эдбер как свою подопечную.

С маркизом и герцогом Камилла тоже познакомилась у их матери. Своему благодетелю она осмелилась представить только Лили, считая остальных детей еще недостаточно разумными. Но господин де Вильмер пожелал видеть их всех. Он нанес визит госпоже Эдбер в гостинице, где она остановилась, и встретился там с Каролиной, окруженной детьми, которые не чаяли в ней души. Каролина заметила, что маркиз не то чтобы рассеян, а словно погружен в созерцание того, как она ухаживает за ними и ласкает. Каждого ребенка он рассматривал нежно и внимательно, со всеми разговаривал так, как свойственно человеку, в ком уже развились отеческие чувства. Не зная о существовании Дидье, Каролина с горечью думала, что маркиз предвкушает семейные радости.

Когда на следующий день сестра ее села в поезд и уехала в Этамп, Каролина ощутила вдруг свое безысходное одиночество и впервые поняла, что для нее женитьба маркиза — непоправимое несчастье. Не желая плакать на людях, она поспешно вышла из здания вокзала, но столкнулась с маркизом де Вильмером.

— Ну вот, — сказал он, предлагая ей руку. — Я так и знал, что вы будете плакать, потому дожидался вас тут, где наша встреча не привлечет внимания. Мне хочется поддержать вас в трудную минуту и напомнить, что в Париже у вас остались преданные друзья.

— Так вы пришли сюда из-за меня? — спросила Каролина, вытирая слезы. — Мне, право, стыдно, что я так раскисла. Вы осыпали милостями мою семью, поселили их недалеко от Парижа, — мне бы радоваться да благословлять вас, а я, неблагодарная, расстроилась из-

за отъезда сестры, с которой мы к тому же скоро увидимся. Нет, нет, больше я не стану грустить — ведь вы же осчастливили меня.

— Что же вы опять плачете? — спросил маркиз, провожая Каролину к фиакру, нанятому специально для нее. — Пойдемте на вокзал, сделаем вид, будто кого-то разыскиваем. Я не хочу оставлять вас в слезах. Первый раз в жизни вижу, как вы плачете, и меня это очень удручает. Пойдите, мы же в двух шагах от Ботанического сада. В восемь часов утра там наверняка мы не встретим знакомых, а в этом плаще и под вуалью вас никто не узнает. Погода прекрасная, пойдемте в Швейцарский овраг, полюбуемся природой и будем думать, что мы снова в Севале. Уверю вас, вы скоро успокоитесь. Я по крайней мере надеюсь.

В голосе маркиза было столько дружеского участия, что Каролина не посмела отказаться от прогулки. «Может статься, — размышляла она, — перед вступлением в новую жизнь маркиз хочет по-братски проститься со мной. Ничего в этом дурного нет, нам даже необходимо потолковать. Он ведь еще не говорил со мной о женитьбе. С его стороны было бы странным умолчать о ней, а с моей — его не выслушать».

XVI

Велев кучеру следовать за ними, маркиз отправился с Каролиной пешком, участливо расспрашивая ее о сестре и о детях. Но за все время этой короткой прогулки, и даже в Ботаническом саду, в тенистых аллеях Швейцарского оврага, маркиз не обмолвился о себе. И только на обратном пути, остановившись с Каролиной под раскидистыми ветвями кедра Жюссье, маркиз улыбнулся и с полным равнодушием промолвил:

— А вы знаете, что сегодня я должен официально представиться мадемуазель де Ксентрай?

Ему показалось, что рука Каролины задрожала, однако девушка ответила ему искренно и твердо:

— Нет, я не знала, что сегодня.

— Я говорю с вами об этом, — сказал маркиз, — только потому, что, насколько мне известно, матушка с братом посвятили вас в их замечательный план. Сам я вам не говорил о нем — это не имело смысла.

— Значит, вы думали, что ваше счастье для меня безразлично?

— Счастье? Разве я могу найти его в браке с незнакомой особой? Вы, друг мой, хорошо знаете меня. Как же после этого вы такое говорите?

— Тогда... вероятно, счастье вашей матери, ибо оно зависит от вашей женитьбы.

— Это уже другое дело, — живо согласился маркиз де Вильмер. — Не угодно ли посидеть на этой скамейке? Мы здесь с вами одни, и я позволю себе рассказать вам коротко о своем положении. Вы не озябнете? — спросил маркиз, усаживаясь с Каролиной и бережно закутывая девушку в ее плащ.

— Нет, а вы?

— О, благодаря вам у меня теперь крепкое здоровье, потому мои близкие и задумали сделать из меня отца семейства. Однако это счастье мне не так необходимо, как некоторым кажется. В жизни есть дети, которых любишь... хотя бы так, как вы любите детей вашей сестры. Но не о том речь. Предположим, что я действительно мечтаю

о многочисленном потомстве! Но вы-то знаете, как я отношусь к дворянству, стало быть даже продолжение нашего знатного рода меня нимало не занимает. К несчастью для близких, взгляды мои резко расходятся с общепринятым мнением.

— Мне это известно, — ответила мадемуазель де Сен-Жене, — но у вас слишком возвышенная душа, чтобы не стремиться узнать самые святые и самые обыкновенные житейские привязанности.

— Думайте, как вам угодно, — продолжал маркиз, — и можете даже считать, что выбор жены, достойной стать матерью моих будущих детей, — самое важное дело в моей жизни. Допустим! Но неужели вы полагаете, что этот священный и очень ответственный выбор я сделаю не сам, а доверю кому-то? Неужели вы думаете, что, проснувшись в одно прекрасное утро, моя матушка может сказать: «В свете есть весьма родовитая барышня с изрядным состоянием, и она будет женой моего сына, поскольку этот брак кажется мне и друзьям выгодным и достойным. Правда, мой сын незнаком с этой особой, но не велика беда. Может быть, она вообще ему не понравится, или, возможно, он ей не понравится, — зато будут рады мой старший сын, моя подруга герцогиня и все завсегдашние моего салона. Если же сын мой, воспротивившись моей причуде, не простится со своей неприязнью к женитьбе, он будет просто чудовище! А если мадемуазель де Ксентрай посмеет не плениться совершенствами моего сына, тогда она недостойна носить свое славное имя!» Неужели вы не видите, друг мой, как это все глупо, и я удивляюсь, как вы могли поверить в подобную нелепость!

Каролина изо всех сил старалась побороть в себе несказанную радость, которую пробудило в ней признание маркиза, и, вспомнив о герцогском наставлении и своем долге, совладала с волнением.

— Ваши слова меня тоже удивляют, — промолвила она. — Если я не ошибаюсь, вы сами пообещали вашей матушке и брату представиться мадемуазель де Ксентрай в назначенный день?

— Поэтому я и увижусь с ней сегодня вечером. Однако это не официальное знакомство, а обыкновенный визит, который меня ни к чему не обязывает.

— Эта увертка с вашей стороны, а маркизу де Вильмеру, по моему, не пристало вступать в сделки со своей совестью. Вы дали

слово сделать все возможное для того, чтобы эта особа оценила вас по достоинству, а вы отдали должное ее очарованию.

— Именно это я по мере сил и постараюсь сделать, — ответил маркиз, добродушно смеясь и так хорошея от этой улыбки, что Каролина просто теряла голову.

— Выходит, вы посмеялись над матушкой? — продолжала Каролина, противясь чарам маркиза. — Как это на вас не похоже!

— Конечно, не похоже! — ответил господин де Вильмер серьезным тоном. — Когда они у меня вырвали это обещание жениться, клянусь, мне было не до смеха. Я был тогда глубоко несчастен и жестоко болен: мне казалось, что близок мой смертный час, и даже мнилось, что душа моя уже мертва. Я уступил настояниям родственников только потому, что надеялся на скорую кончину. Но теперь я воскрес для жизни, друг мой. С ней заключен новый договор, и сегодня я полон молодых сил и упований на будущее. Любовь бродит во мне, как соки в этом огромном дереве. Да, да, любовь, то есть вера, силы, ощущение бессмертия моей души, и за нее мне держать отчет перед господом богом, а не пред людьми, ослепшими от предрассудков. Я хочу быть счастливым, понимаете? Хочу жить и хочу стать супругом только в том случае, если полюблю от всего сердца...

— Только не напоминайте мне о том, — продолжал он, не давая Каролине вставить словечко, — что свои желания должно принести в жертву долгу. Я человек не слабый и не легкомысленный. Я не придаю значения пышным словам, освященным традицией, и не намерен быть рабом честолюбивых химер. Моя мать мечтает вернуть свое богатство — в этом-то и заключается ее ошибка. Ведь ее истинное счастье и подлинная добродетель состоят в том, что она отказалась от него и тем самым спасла своего старшего сына. С тех пор как я отдал ей почти все, что у меня было, матушка стала несравненно богаче, чем раньше, когда она с ужасом взирала на свое бедственное положение и считала, что оно должно стать еще хуже. Посудите сами, разве я не сделал для нее все, что мог? У меня есть святые убеждения, которые созрели во мне за жизнь и окрепли в годы учения. О них я никогда никому не говорил. Душевные терзания замучили меня, но, щадя матушку, я скрывал от нее свои горести. Я страдал по ее вине и не проронил ни одной жалобы. Разве я не видел с детства, что она явно

предпочитает брата, разве не знаю, что по сей день она больше любит старшего сына, потому что у него более высокий титул? Я проплотил свои обиды, и в тот день, когда брат наконец приблизил меня к себе, полюбил его от всего сердца. Но прежде — сколько тайных оскорблений и язвительных насмешек я вынес от брата с матушкой, которые вместе ополчились на мою жизнь и мои взгляды! Но я на них не обижался. Я понимал, что они заблуждаются и живут в плену предрассудков.

Среди этого моря сокрушений только одно могло прельстить такого отшельника, как я, — поприще литературы. Я чувствовал, что во мне есть какой-то талант и страстная тяга к красоте, и это, мнилось мне, могло расположить ко мне многих. Я понимал, что мои занятия литературой оскорбляют убеждения моей матушки, и решил сохранить строжайшее инкогнито, дабы никто не заподозрил, что я сочинил книгу. Вам единственной я доверил тайну, которую вы никогда не выдавайте. Я даже не хочу добавить «при жизни матушки», ибо питаю отвращение к подобным мысленным уловкам и нечестивым оговоркам, которые могут невзначай накликать смерть тем, кого следует любить больше самих себя. Поэтому я сказал «никогда», чтобы никогда у меня не возникала даже самая робкая надежда на то, что личное счастье облегчит скорбь по утрате моей матушки.

— Хорошо, — сказала мадемуазель де Сен-Жене. — Я восхищена вашими словами и полностью с ними согласна. Но мне кажется, что эта ваша женитьба может и, вероятно, должна удовлетворить обе стороны — и вас самих и вашу семью. Если, по рассказам, мадемуазель де Ксентрай вполне достойна быть вашей женой, зачем же заранее утверждать, что этот брак невозможен? А вдруг и вправду вы увидите перед собой совершенство? Вот чего я не возьму в толк и не думаю, что вы сможете привести серьезные доказательства своей правоты.

Каролина говорила так убежденно, что намерения маркиза разом переменялись. Окрыленный слабой надеждой, он уже был готов храбро открыть ей сердце. Но Каролина обескуражила его, и маркиз опечалился и даже помрачнел.

— Вот видите, — продолжала Каролина, — вам мне нечего сказать.

— Вы правы, — сказал маркиз, — напрасно я убеждал вас в том, что мадемуазель де Ксентрай будет мне наверняка безразлична. Об этом знаю только я, а вы не можете судить о тех моих сокровенных мыслях, которые придают мне уверенность в том, что я говорю. Но не будем больше спорить об этой особе. Я лишь хотел доказать вам, что душа моя свободна, а совесть в этом деле чиста, и мне было бы крайне неприятно, если бы вы подумали обо мне так: маркиз де Вильмер должен жениться на деньгах, ибо ему нужно положение в свете и влияние. Друг мой, умоляю вас никогда не думать обо мне так низко! Ваше столь нелестное суждение равносильно наказанию, которого я ничем не заслужил, ибо не знаю за собой вины ни перед вами, ни перед близкими. Я также хочу, чтобы вы не осудили меня, если обстоятельства принудят меня открыто воспротивиться желаниям моей матери. Я не знаю, сможете ли вы оправдать меня заранее: ведь рано или поздно я скажу матушке и брату, что готов отдать им свою кровь, последние крохи состояния, даже свою честь, но не свою нравственную свободу, не свою веру. Этим я не поступлюсь никогда. Это мое единственное достояние, ибо даровано оно богом и люди на него не имеют прав.

Говоря эти слова, маркиз порывисто прижал руку к сердцу. Его выразительное и прелестное лицо светилось неколебимой верой. Каролина в смятении боялась правильно понять маркиза и в то же время боялась ошибиться; впрочем, при чем тут было ее волнение, если прежде всего она должна была сделать вид, будто далека от мысли, что маркиз думает о ней. И огромная решимость и непобедимая гордость возобладали над Каролиной. Она ответила, что о будущем говорить не решается, но что сама она так любила своего отца, что умерла бы, не раздумывая, если бы эта жертва могла продлить его жизнь.

— Остерегайтесь принять неправильное решение, — горячо прибавила она, — и всегда думайте о том, что, когда наших дорогих родителей нет уже в живых, точно грозное обвинение возникает перед нами все то, чего мы не сделали, дабы облегчить их жизнь. Тогда самые ничтожные ошибки кажутся нам роковыми, и нет счастья и покоя тому, кто живет в плену воспоминаний о тяжком горе, некогда причиненном матери, которой уже нет на свете.

Маркиз, не проронив ни слова, судорожно стиснул руку Каролине. Его сердце сжалось от боли: Каролина нанесла ему верный удар. Она поднялась, и маркиз, предложив ей руку, молча проводил ее до фиакра.

— Будьте спокойны, — сказал он на прощание, — я никогда не посмею ранить сердце моей матушки. Молитесь, чтобы в урочный час у меня достало сил склонить ее на свою сторону. Если же постигнет неудача... Впрочем, вам это безразлично. Тем хуже для меня.

Маркиз сказал кучеру адрес и скрылся из виду.

XVII

Теперь Каролина уже ни минуты не сомневалась в том, что маркиз страстно ее любит, и скрыть свое ответное чувство она могла только одним способом: никогда не показывать вида, что догадывается о любви маркиза, и никогда не давать ни малейшего повода для того, чтобы он еще раз заговорил о ней, пускай даже обиняками. Она поклялась держаться с маркизом неприступно, не позволяя ему даже заикнуться о своем чувстве, и никогда не оставаться с ним подолгу наедине.

Решив впредь вести себя с маркизом только так, а не иначе, Каролина тешилась надеждой, что обрела покой, но природа одержала над ней верх, и Каролина почувствовала, что ее сердце разрывается от боли. Она безраздельно предалась своему горю, утешая себя тем, что раз так нужно, лучше уступить минутной слабости, чем долго бороться с собой. Она хорошо знала, что в такой открытой борьбе в человеке невольно просыпаются инстинкты, которые заставляют его искать выход и толкают на сделки с неукоснительностью долга или судьбы. Каролина запретила себе думать и мечтать о маркизе — лучше было заживо похоронить себя и плакать.

Господина де Вильмера она увидела около полуночи, когда разъезжались гости. Маркиз появился вместе с братом — оба были во фраках, так как оба вернулись от герцогини де Дюньер. Каролина хотела тотчас же уйти, но маркиза удержала ее, говоря:

— Оставайтесь, дорогая, сегодня вы ляжете спать немного позже. Дело стоит того. Надо же узнать, как развернулись события.

Рассказ последовал незамедлительно. У герцога был нерешительный и как бы удивленный вид, маркиз хранил ясное и открытое выражение лица.

— Матушка, — сказал он, — я познакомился с мадемуазель де Ксентрай. Она прекрасна, учтива, очаровательна, и, право, не знаю, какие чувства должны обуревать человека, которому посчастливилось ей понравиться, но мне это счастье не улыбнулось. Она на меня едва взглянула.

И так как опечаленная маркиза молчала, Урбен поцеловал ей руки и добавил:

— Только не нужно огорчаться из-за этого. Напротив, я принес вам целый ворох надежд и планов на будущее. В воздухе носится — и я сразу это учуял — совсем другой брак, который доставит вам бесконечно большую радость.

Каролине казалось, что она умирает и воскресает при каждом слове маркиза, но, чувствуя, что герцог внимательно следит за ней, и утешаясь тем, что и маркиз между фразами, вероятно, тоже украдкой поглядывает на нее, Каролина сохраняла самообладание. У нее были заплаканные глаза, но ведь она говорила, как ей тяжело было расставаться с сестрой, и к тому же сам маркиз видел, как она плакала на вокзале.

— Сын мой, — сказала маркиза. — Не томите меня, к если вы говорите серьезно...

— Нет, нет, — промолвил герцог с милым жеманством, — он шутит.

— Ничего подобного! — воскликнул Урбен, который был настроен необыкновенно весело. — Мне кажется это дело совершенно возможным и совершенно восхитительным.

— Все это довольно странно и... пикантно! — добавил герцог.

— Полноте, прекратите ваши загадки! — взмолилась маркиза.

— Ну, хорошо, рассказывай, — сказал герцог брату с улыбкой.

— Да я только того и жду, — ответил маркиз. — Это целая новелла, и надо ее рассказать по порядку. Представьте себе, дорогая матушка, приходим мы к герцогине этакими красавчиками, какими вы нас видите, нет, еще красивее, потому что явились мы с видом победителей, что особенно идет моему брату, которому я тоже решил подражать впервые в жизни, но, как вы убедитесь в дальнейшем, мои старания не увенчались успехом.

— Еще бы! — подхватил герцог. — У тебя был на редкость рассеянный вид, и не успел ты войти, как сразу уставился на портрет Анны Австрийской, а на мадемуазель де Ксентрай даже не взглянул.

— Ах, — вздохнула маркиза, — очевидно, портрет был очень красив?

— Необыкновенно, — ответил Урбен. — Вы скажете, что не время было его разглядывать, но потом, матушка, увидите, что сама

удача подвела меня к нему. Мадемуазель де Ксентрай сидела в уголке у камина с мадемуазель де Дюньер, рядом с ними были две-три барышни из знатных семейств, — кажется, англичанки. Пока я рассеянно рассматривал кругленькое личико покойной королевы, Гаэтан, думая, что я следую за ним, повел себя, как подобает старшему брату: сначала поклонился герцогине, потом дочери и ее молодым подругам, тотчас разглядев своими орлиными глазами красавицу Диану, которую видел последний раз пятилетней девочкой. Обворожительно улыбнувшись девическому цветнику, он подходит ко мне, уже собравшемуся подступить к герцогине, и с досадой шепчет: «Иди же, что ты медлишь!». Я бросаюсь к хозяйке дома, тоже кланяюсь ей и ищу взглядом свою невесту, но в этот момент она поворачивается ко мне спиной. «Дурное предзнаменование», — думаю я и отступаю к камину, дабы показаться перед ней во всем своем блеске. Герцогиня что-то говорит мне, надеясь, что я на них обрушу целый каскад красноречия. Боже мой, я уже был готов витийствовать, только это не имело смысла. Мадемуазель де Ксентрай даже не смотрела в мою сторону и, уж конечно, не собиралась слушать меня, а шушукалась со своими подругами. Наконец она оборачивается ко мне и окидывает меня изумленным и ледяным взглядом. Меня представляют ее соседке, мадемуазель де Дюньер, молоденькой горбунье, очень умной с виду. Она довольно заметно толкает локтем Диану, но та не обращает внимания, и я поневоле снова возвращаюсь к своей трибуне, то есть к камину, не вызвав у Дианы ни малейшего интереса к своей особе. Я не теряю самообладания и, заговорив с герцогом, роняю несколько глубокомысленных замечаний о заседаниях палаты, и тут вдруг слышу, как из угла, где сидят барышни, доносится взрыв мелодичного смеха. Очевидно, меня сочли глупцом, но я не смущаясь продолжаю говорить и, выказав все свои ораторские таланты, принимаюсь расспрашивать о портрете Анны Австрийской к неопишуемому удовольствию герцога де Дюньера, который только и ждал, чтобы с кем-нибудь потолковать о своей покупке. Пока он меня ведет к портрету, чтобы полюбоваться вблизи прекрасной работой живописца, брат занимает мое место, а я, обернувшись, вижу, как он уже сидит в кресле между герцогиней и ее дочерью, в двух шагах от мадемуазель де Ксентрай, и оживленно болтает с барышнями.

— Это правда, сын мой? — спросила маркиза с тревогой в голосе.

— Чистая правда, — прямодушно ответил герцог. — Я начал осаду и занял позиции, думая, что Урбен сманеврирует и придет мне на помощь. Ничуть не бывало. Этот предатель бросает меня одного под перекрестным огнем, и, честное слово, я выкручивался как мог. А что произошло тем временем, он вам сейчас расскажет.

— Развязку, увы, я знаю, — печально промолвила маркиза. — Урбен думал о другом.

— Простите, матушка, — ответил маркиз, — на то у меня не было ни желания, ни времени, так как герцогиня отвела меня в сторону и, едва сдерживая смех, сказала несколько фраз, которые я передаю вам слово в слово: «Дорогой маркиз, сегодня вечером тут происходит нечто напоминающее сцену из комедии. Вообразите себе: эта молодая особа — называть ее не имеет смысла — приняла вас за вашего брата и упрямо продолжает принимать вашего брата за вас. Она не хочет слушать никаких увещаний и твердит, что мы ее обманываем и надо ли уверять вас...»

«Конечно, нет, сударыня. Будучи близким другом моей матушки, вы не станете вводить меня в заблуждение...»

«Именно. Мне было бы это крайне неприятно, и предупредить вас — мой долг. Диана просто без ума от герцога, а на вас...»

«Смотрит как на пустое место? Так? Договаривайте, пожалуйста, до конца».

«Она даже не смотрит на вас — вы для нее не существуете. Диана видит и слышит одного герцога, и не знай я, как вы нежно любите брата, я даже не заикнулась бы об этом».

Я так горячо уверил герцогиню, что счастлив и рад успеху моего брата, что она сказала:

«Боже мой, все перепуталось, как в романе! А вдруг, когда узнают, что Диана предпочла герцога и отвергла вас, все станут на дыбы?»

«Кто же это все? Вы, герцогиня?»

«Я? Вполне возможно, но Диана уж наверняка. Пойдемте посмотрим, что происходит. Дальше нельзя продолжать это *qui pro quo*».

«Простите, сударыня, — ответил я герцогине, — извольте сначала выслушать меня. Мой долг защищать здесь интересы брата, а вы

только что произнесли слова, которые очень встревожили и огорчили меня и которые я умоляю вас взять обратно. Если я правильно понял, вы не одобрите выбор вашей крестницы даже в том случае, если она простит герцогу, что он не я. Поскольку я совершенно уверен, что она, не колеблясь, простит брата, если уже не простила, я хотел бы узнать, отчего вы так предубеждены против него, и по мере сил разуверить вас. Мой брат предками с отцовской стороны несравненно более знатен, чем я; он обладает достоинствами чистокровного дворянина и к тому же необыкновенно хорош собой. Я же человек, чуждый света, и вдобавок, если говорить правду, грешен по части либеральных взглядов...» Герцогиня в ужасе отпрянула от меня, потом же рассмеялась, думая, что я шучу...

— Видя, что вы шутите, сын мой! — с упреком промолвила маркиза.

— Вероятно, я пошутил неудачно, — продолжал маркиз, — но меня не осудили, и герцогиня учтиво выслушала мой рассказ о достоинствах брата, и мы даже с ней сошлись на том, что дворянин, не уронивший своей чести, имеет право разориться, что в большом свете вовсе не возбраняется вести легкомысленную жизнь, если умеешь вовремя остановиться, благородно сносить безденежье и возвыситься над самим собой... Наконец, я заклил герцогиню дружбой к вам, матушка, и ее желанием породниться с вами, и мое красноречие, по счастью, было настолько убедительным, что герцогиня пообещала мне не мешать выбору мадемуазель де Ксентрай.

— Ах, сын мой, что вы наделали! — задрожав, воскликнула маркиза. — Я узнаю ваше доброе сердце, но это же чистая фантазия. Девушка, воспитанная в монастыре, наверняка испугается такого сердцеда, как этот страшный повеса... Она никогда не посмеет довериться ему.

— Погодите, матушка, — продолжил маркиз, — но я еще не довел рассказа до конца. Когда мы вернулись к барышням, Диана называла брата его сиятельством герцогом д'Алериа, смеялась и непринужденно болтала с ним, а я помогал брату показаться перед ней во всем своем блеске. Впрочем, он отлично это делал без меня. Она сама понуждала его гарцевать перед нею, и я видел, что она не прочь пококетничать с ним.

— Весь ужас в том, — сказал герцог тоном повесы, уверенного в своей неотразимости, — что эта крошка Диана просто восхитительна. Я еще видел, как она играла в куклы, и, не желая скрывать от нее свой возраст, напомнил ей об этом.

— А я, — продолжал маркиз, — сказал, что ты лжешь и что это я видел ее кукол, а ты в это время играл в серсо. Но мадемуазель де Ксентрай, желая дать мне понять, что знает, с кем говорит, сказала с улыбкой: «Нет, сударь, вашему брату тридцать шесть лет, и мне это хорошо известно!» Причем, она произнесла это таким тоном и с таким видом...

— Что я чуть с ума не сошел, честное слово! — воскликнул герцог, вскакивая с места и подбрасывая к потолку материнские очки, которые тут же поймал на лету. — Но это чистое безумие! Диана — прелестная, наивная кокетка, настоящая пансионерка, которая настолько опьянена своим скорым появлением в свете, что готова кружить головы всем подряд, пока не закружится ее собственная... Но до этого еще далеко. Завтра утром она все обдумает... И потом, ей наверняка наговорят обо мне много гадостей!

— Ты увидишь ее завтра вечером, — сказал маркиз, — и сумеешь рассеять эти дурные толки, но я не думаю, что в этом будет необходимость. Не старайся, сударь, казаться интереснее, чем ты есть! Впрочем, герцогиня уже явно к тебе благоволит. Помнишь, что она сказала тебе на прощание? — «До скорого свидания! Мы принимаем по вечерам, а выезжать начнем лишь после рождественского поста». На хорошем французском языке это означает: «Моя дочь и крестница появятся в свете только через месяц, и пока они еще не потеряли голову от балов и туалетов, вы сможете завоевать расположение Дианы. Юнцов мы не принимаем, так что вы будете у нас самый молодой, а стало быть, самый желанный и удачливый».

— Боже мой, боже мой, — приговаривала маркиза, — все как во сне! Бедненький мой герцог, а я о тебе и не думала! Мне казалось, что ты обманывал столько, что тебе уже не встретить простую, умную особу... Но ты исправился, и я готова биться об заклад, что теперь ты сделаешь счастливой герцогиню д'Алериа.

— Да, матушка, ручаюсь вам головой! — воскликнул герцог. — Меня испортили мои сомнения, моя пресыщенность, записные кокетки и тщеславные женщины. Но если эта прелестная девушка, это

шестнадцатилетнее дитя, доверится мне, разоренному... я сам готов помолодеть на двадцать лет! Ах, и вы, матушка, тоже были бы счастливы, правда? И ты, Урбен, ведь ты так боялся этой женитьбы!

— Что ж он, обет безбрачия дал? — спросила маркиза.

— Вовсе нет, — запальчиво ответил Урбен, — но если мой старший брат одерживает такие победы, значит, у меня все еще впереди. И когда вы дадите мне несколько месяцев на размышления...

— Твоя правда, спешить некуда... — сказала маркиза. — И раз уж нам выпала такая удача, я уповаю на будущее и... на тебя, мой драгоценный друг!

Маркиза обняла сыновей — она была так счастлива и окрылена надеждой, что даже заговорила с детьми на ты. Она обняла и Каролину, сказав ей:

— И ты, моя белокурая крошка, радуйся вместе с нами!

Каролина была готова радоваться гораздо сильнее, чем смела в том признаться. Устав от такого суматошного дня, она крепко уснула, успокоив себя тем, что женитьба теперь некоторое время не возникнет роковой и неодолимой преградой между ней и маркизом де Вильмером.

XVIII

За ночь маркиза не сомкнула глаз: она не могла дожидаться завтрашнего дня. Бессонница привела ее в угнетенное расположение духа — она все видела в черном цвете и готовилась к неудаче. Но когда утром Каролина принесла письма, среди них она сразу же заметила послание герцогини и приободрилась.

«Дорогая, — писала госпожа де Дюньер, — декорации переменились, как в опере. Оказывается, нужно заняться вашим старшим сыном. Сегодня утром я разговаривала с Дианой. Герцога я не порочила, но, верная своим убеждениям, не могла утаить от крестницы правды. Она ответила, что слыхала об этом из моих рассказов о маркизе, что добавить мне нечего, так как она все взвесила, а по размышлении пленилась обоими братьями и особенно их дружбой; к тому же, обдумав положение герцога, она решила, что гораздо похвальнее нести бремя благодарности, нежели оказать услугу по велению долга. Поскольку я советовала Диане осчастливить лишь достойного человека, она почувствовала влечение к тому, кто наверняка заплатит ей большей признательностью. Вдобавок неотразимые чары вашего злодея окончательно покорили Диану. Кроме того, она считает, что титул герцогини больше подойдет ее королевской осанке. И еще одно: Диану влекут к себе светские развлечения, и так как ей стало известно, что маркиз их терпеть не может, она была встревожена, и я, видя ее грусть, не понимала, в чем дело. Она во всем мне призналась и добавила, что о таком брате, как маркиз, можно лишь мечтать, но супругом она избирает герцога, ибо жизнь с ним обещает много веселья. Коротко говоря, дорогая, Диана, по-видимому, твердо решила выйти замуж за вашего старшего сына, и я употреблю все свое влияние, дабы этот нечаянный оборот дела увенчался успехом.

Завтра утром я появлюсь у вас с дочерью, и так как Диана будет с нами, вы познакомитесь с ней, не показывая вида, что все уже знаете. Я уверена, что вы ее плените».

Пока госпожа де Вильмер с герцогом вели долгие разговоры, Каролина, чувствуя себя немного одинокой и лишней, играла на фортепьяно или писала письма сестре в гостиной. Там она никому не мешала и могла прийти к маркизе по ее малейшему зову.

Как-то раз Урбен вошел с книгой и, усевшись с решительным видом за стол, где писала Каролина, спросил, не позволит ли она поработать ему в этой комнате, в которой не так душно, как в его тесном кабинете.

— Я останусь при условии, что вы не исчезните, — добавил маркиз, — поскольку последнее время вы стали избегать меня. Не отпирайтесь, — добавил он, видя, что Каролина хочет возразить. — Вероятно, у вас есть на то причины, которые я уважаю, но, право же, они неосновательны. В Ботаническом саду я откровенно рассказал вам о себе и случайно смутил вашу совесть. Вы решили, что я собрался доверить вам личный план, который мог потревожить спокойствие моих близких, и не захотели оказаться даже невольной сообщницей в моем дерзостном начинании.

— Да, — ответила Каролина. — Вы совершенно правильно поняли меня.

— Тогда я вам ничего и не говорил, — продолжал Урбен. — Прошу вас забыть о нашем разговоре, но пусть он вас не тревожит, вы не должны бояться, что я воспользуюсь вашей драгоценной дружбой, чтобы как-то опорочить вашу преданность матушке.

Прямодушие маркиза покорило Каролину. Она не поняла ни того, что происходило в его душе, ни того, что скрывалось за его словами. Каролина решила, что ошиблась и что ее предосторожность по отношению к маркизу излишня, так как он сумел пересилить свое чувство. Обещание Урбена послужило ей надежным свидетельством его полного душевного равновесия, и с тех пор их дружба снова стала прелестной и безоблачной.

Они виделись каждый день, иногда по нескольку часов сидели в гостиной, не смущаясь присутствием маркизы, которая радовалась тому, что Каролина по-прежнему помогает Урбену в работе. На самом же деле Каролина помогала только его памяти: все материалы для книги были собраны еще в деревне, и маркиз писал третий и последний том на диво легко и быстро. Каролина была для него источником вдохновения и творческой энергии. Рядом с ней он не

знал ни усталости, ни сомнений; она стала ему необходима, и Урбен даже признался девушке, что в ее отсутствие в голову ему не идут никакие мысли. Он был счастлив, и когда Каролина разговаривала с ним во время занятий, ее милый голос не только не беспокоил его, но сообщал мыслям ясность, а стилю — возвышенность. Маркиз даже заставлял Каролину отвлекать его от работы, просил ее играть с листа на фортепьяно, не боясь причинить ему малейшего беспокойства. Напротив, когда он мог наслаждаться ее присутствием, сердце Урбена ликовало, ибо Каролина стала не просто помощницей, а как бы его собственной душой, живущей рядом.

Уважение к книге маркиза, которой Каролина была восхищена, постепенно переродилось в уважение к самому Урбену, и отныне Каролина заботилась только о том, чтобы ничем не нарушить его душевное равновесие. Она почитала это своей священной обязанностью и даже не задавалась вопросом, достанет ли у нее сил в нужный момент отказаться от этой удивительной дружбы, которая заполнила все ее существование.

Радостное событие — свадьба герцога д'Алериа и мадемуазель де Ксентрай — было уже не за горами. Красавица Диана влюбилась в герцога и не желала слушать о нем ничего дурного. Герцогиня де Дюньер, в свое время вышедшая замуж по сердечной склонности за бывшего кутилу, который с той поры исправился и сделал ее совершенно счастливой, всячески поддерживала свою крестницу и так отстаивала ее интересы, что дальним родственникам и опекунам пришлось покориться своевольной наследнице.

Хотя жених и не заикался о своих долгах, Диана заявила ему, что хочет заплатить их маркизу, и Урбену пришлось уступить желанию Дианы. Он убедил ее только в том, что ему не следует возвращать его долю в материнском наследстве, ибо он отказался от нее в то время, когда госпожа де Вильмер была вынуждена в первый раз заплатить долги старшего сына. Урбен полагал, что при жизни маркиза могла располагать своим состоянием как ей угодно, и считал себя вполне удовлетворенным: ведь отныне матушка не потребует от него никаких затрат, поскольку поселится в родовом особняке своей невестки или в одном из ее многочисленных замков, которые располагались гораздо ближе и были несравненно роскошнее, чем бедное именье в Севале.

Устраивая эти семейные дела, все вели себя предельно великодушно. Каролина почла своим долгом сказать об этом маркизу, дабы он написал в своей книге несколько строк относительно семейных договоров, где дворянская честь была залогом подлинной добродетели.

И действительно, все сложилось так, что каждый исполнил свой долг; мадемуазель де Ксентрай не хотела видеть такой брачный договор, который оберегал бы ее состояние от мотовства супруга и тем оскорблял бы его самолюбие, а герцог со своей стороны настаивал, чтобы оговорка о приданом невесты подрубила крылья его расточительности. И в бумагах было указано, что подобное условие внесено по настоятельной просьбе будущего супруга.

После того как все было улажено, маркиза с детьми поставила свою жизнь на широкую ногу и хотя твердила, что вполне полагается на благопорядочность своих сыновей, тем не менее ей был определен значительный доход в том же брачном договоре, где все так чудесно было устроено невестой. Маркиз тоже получил крупный капитал, который позволял ему жить в полном довольстве. Незачем подчеркивать, что он принял это состояние так же невозмутимо, как в свое время отказался от него.

Пока хлопотали с приданым невесты, герцог был серьезно занят свадебной корзиной — маркиз насильно вручил ему необходимую для этого сумму, объяснив брату, что это его свадебный подарок. С какой радостью герцог принялся выбирать кружева, бриллианты и кашемиры! В этом деле он знал толк лучше любой модницы, посвященной в высокое искусство женского туалета. Он даже забывал о еде — все время уходило на разговоры с ювелирами и фабрикантами, на ухаживание за невестой и беседы с маркизой, которая, потеряв голову от всей этой суматохи, непрестанно обсуждала с ним удивительные неожиданности и даже нечаянные драмы, связанные с его чудесными покупками. И в эту свадебную кутерьму вмешалась госпожа д'Арплад.

Важное событие перевернуло жизнь и планы Леони. В самом начале зимы ее супруг скончался от долгого и изнурительного недуга, оставив ей довольно запутанные дела, из которых госпожа д'Арплад вышла победительницей, ибо давно втайне от мужа играла на бирже и наконец вытащила счастливый билет в этой лотерее. Одним словом,

Леони оказалась в положении молодой и еще привлекательной вдовушки, весьма преумножившей капиталец, что, впрочем, не помешало ей проливать горькие слезы на свою несчастную участь. В свете же с восхищением говорили о ней: «Бедняжка Леони, такая ветреница с виду, а какое у нее чувство долга! Ведь господин д'Аргляд был вовсе не сахар, но она так убивается по нему и страдает!» И ее жалели, старались развлечь, а маркиза, разжалобившись, действительно просила Леони проводить с ней первую половину дня. Большого Леони и не желала: для нее это не означало бывать в свете, ибо маркиза принимала после четырех или пяти, и не значило даже выезжать, поскольку можно было, наняв фиакр, навещать маркизу в затрапезье и как бы инкогнито. Леони выслушивала ласковые слова и утешения, не без удовольствия следя за предсвадебной суетой, а герцогу порой даже удавалось рассмешить ее, что было весьма на руку Леони, так как она могла разыграть нервический припадок и, рыдая, прятать лицо в носовой платок, жалобно приговаривая:

— Ах, как это жестоко смешить меня! От этого я страдаю вдвойне!

Прикинувшись безутешной. Леони втерлась в самое глубокое доверие к госпоже де Вильмер и постепенно вытеснила Каролину, которая была далека от мысли о том, какой план был на уме у госпожи д'Аргляд. А она задумала вот что.

Округлив свое собственное состояние и видя, что ее ворчливый супруг долго не протянет, Леони принялась размышлять, кого же взять ему в преемники, и, ничего не зная о том, что брак Гаэтана и мадемуазель де Ксентрай уже предрешен, остановила свой выбор на герцоге д'Алериа. Она понимала, что жениться на молодой, знатной девушке с приданным ему совершенно невозможно, а потому умно рассудила, что богатая, бездетная вдова чистокровного дворянина будет блестящей партией для этого разорившегося кутилы, который от безденежья ходит пешком. Леони была уверена в успехе и, со знанием дела помещая капиталы, твердо говорила себе: «Денег у меня теперь много — с игрой и прочими аферами покончено. По этой части мое тщеславие удовлетворено, и следует ему облюбовать новую жертву. Нужно вывести буржуазную родинку, которая мешает моему продвижению в свете, а для этого необходим титул — титул герцогини. Право, об этом стоит подумать!»

Леони об этом подумала вовремя, но господин д'Арклад протянул со своей кончиной. Едва миновали первые дни траура, как Леони сразу нанесла визит маркизе де Вильмер и поняла, что о герцоге ей нечего мечтать.

Тогда она обратила свою артиллерию против маркиза де Вильмера. Задача была менее соблазнительная и более сложная, но на худой конец титул маркизы не так уж плох, а заполучить его она сумеет. Неприязнь Урбена к браку серьезно тревожила госпожу де Вильмер, и о своих опасениях маркиза откровенно рассказала госпоже д'Арклад.

— Это его безразличие меня просто пугает. Боюсь, нет ли у него предубеждения против брака или, чего доброго, против женщин вообще. Он просто нелюдим, но каким чудесным супругом он будет, если удастся его приручить! Ему нужна женщина, которая полюбила бы его первая и своей решимостью добилась бы его любви.

Эти излияния маркизы были на руку Леони.

— Ах, боже мой, — беспечно отвечала она, — ему нужна особа более знатная, чем я, и, уж конечно, не вдова лучшего из смертных, но женщина моих лет, с моим характером и состоянием.

— Для такого угрюмца у вас, милочка, чересчур веселый нрав.

— Только женщина с моим нравом и могла бы его спасти. Знаете, по закону противоположностей... Ах, если бы я могла кого-нибудь полюбить, что теперь, увы, невозможно, я любила бы человека рассудительного, с холодным сердцем. Боже мой, да ведь таким был мой покойный муж! Его серьезность умеряла мою живость, а я своим весельем, точно солнечным лучом, разгоняла его грусть. Это его выражение, и он мне часто его повторял. До знакомства со мной он никого не любил и тоже дичился брака. Увидев меня в первый раз, он даже испугался моего легкомыслия, а потом точно пелена у него спала с глаз. Он понял, что я ему необходима, потому что мое легкомыслие — одна лишь видимость, а на самом деле, как вам известно, у меня доброе сердце, и веселость моя была для мужа как бальзам. Это тоже его слова. Бедный мой, бедный! Ах, не будем больше говорить о браке — я сразу начинаю думать, как я одинока, непоправимо одинока!

Леони ухитрялась так часто заводить разговор на эту тему, каждый раз меняя тактику, намекая на возможность этого брака так

услужливо, так кстати и в то же время сохраняя незаинтересованный и беспечный вид, что эта мысль стала невольно приходить на ум маркизе де Вильмер, а когда госпожа д'Арклад заметила, что маркиза почти готова претворить ее в действительность, она начала прямую атаку на господина де Вильмера, пустив при этом в ход все те же хитрости, невинные ужимки и недомолвки относительно вдовьей участи.

Но болтовня госпожи д'Арклад всегда претила маркизу — прежде Леони не замечала этого только потому, что смотрела на Урбена как на пустое место. Маркиз не был нелюдимый простак, как думала его мать, и знал только в женской хитрости. Поэтому после первых же атак он понял намерения Леони, угадал ее тактику и так откровенно осадил, что госпожа д'Арклад была оскорблена до глубины души.

Тогда Леони как бы прозрела и по тысяче неуловимых признаков догадалась, какую большую любовь питает маркиз к мадемуазель де Сен-Жене. Она этому очень обрадовалась, решила, что сможет отомстить, и теперь лишь выжидала подходящий момент.

Свадьба герцога была назначена на первые числа января, но в некоторых чопорных гостиных Сен-Жерменского предместья поднялся такой возмущенный крик по поводу легкомыслия герцогини де Дюньер, принявшей предложение ужасного злодея, что она, желая отвести от себя упреки в поспешном решении, надумала отложить на три месяца счастье помолвленных. Эта проволочка не испугала герцога, но огорчила маркизу: ведь ей не терпелось открыть большой салон, где ее обворожительная невестка собрала бы вокруг себя молодое общество. Госпожа д'Арклад, сославшись на дела, стала бывать реже, и Каролина вернулась к своим обязанностям.

В отличие от маркизы, она вовсе не жаждала перебраться в особняк мадемуазель де Ксентрай. Маркиз сам еще не знал, будет ли он жить у брата, и ничего определенного не говорил о своих планах. Эта неизвестность пугала Каролину, и вместе с тем в нежелании маркиза поселиться с ней под одной крышей она видела свидетельство его внутреннего спокойствия, которое и было ей нужно. Однако ее чувство к маркизу вступило в ту фазу, когда логика часто уступает велениям сердца. Каролина молча радовалась последним дням своей безмятежной жизни, а когда пришла весна, в первый раз пожалела, что зима кончилась.

Мадемуазель де Ксентрай прониклась большим уважением к Каролине и, напротив, неприкрыто выражала свою неприязнь к госпоже д'Арглад, с которой иногда встречалась по утрам в будуаре у своей будущей свекрови. На официальных приемах у маркизы Диана не бывала, а навещала ее вместе с герцогиней де Дюньер и ее дочерью. Леони делала вид, что не замечает нерасположения красавицы Дианы, и думала о том, что скоро отомстит этой гордячке, а заодно и Каролине.

На свадьбу Леони не пригласили: она еще носила траур и не могла появиться на празднике. Однако из уважения к маркизе Леони сухо выразила сожаление по поводу этой невозможности и тем и ограничилась. Каролину же, напротив, выбрали и подруги невесты, а будущая герцогиня д'Алерия осыпала ее подарками.

Наконец наступил знаменательный день, когда после стольких лет горя и нищеты мадемуазель де Сен-Жене, одетая стараниями невесты с безупречным вкусом и даже богато, в первый раз появилась во всем блеске своей красоты и очарования. Она произвела сенсацию, и все то и дело спрашивали друг друга, откуда эта очаровательная незнакомка, на что Диана отвечала:

— Это моя подруга и наперсница моей свекрови, особа действительно выдающаяся, и я очень счастлива, что теперь она будет жить вместе со мной.

Маркиз танцевал с новобрачной и с мадемуазель де Дюньер, дабы иметь возможность танцевать с Каролиной. Мадемуазель де Сен-Жене была так смущена, что с улыбкой шепнула маркизу:

— Как? Неужели мы, совместно учреждавшие аллодиальную собственность и освобождавшие от подати общины, будем теперь танцевать кадрили?

— Да, — весело отвечал ей маркиз, — и это гораздо приятнее, так как я наконец крепко сожму вашу руку.

В первый раз маркиз откровенно выказывал Каролине свое волнение, причиной которого было его сердечное чувство к ней. Каролина и в самом деле ощутила, как дрожит его рука и как глаза маркиза пожирают ее лицо. Каролина испугалась, но тут же сказала себе, что однажды уже почла маркиза влюбленным в нее и что он сумел развеять всяческие подозрения на этот счет. И нужно ли бояться потерять голову с человеком, который так высок в своих нравственных

помыслах? И разве к ее желанию победить свое чувство не примешивалось смутное любовное опьянение?! Каролине трудно было не заметить, как она хороша: она читала это во всех глазах. Она затмила даже невесту, затмила ее семнадцать лет, бриллианты и торжествующую улыбку любимой! Старые дамы выговаривали госпоже де Дюньер:

— Эта сиротка чересчур красива, опасно красива!

Сыновья самой герцогини, высокомерные и многообещающие молодые люди, смотрели на Каролину так, что оправдывали тревоги искушенных матрон. Герцог, тронутый тем, что великодушная Диана не подумала его ревновать к мадемуазель де Сен-Жене, и признательный Каролине за учтивую сдержанность с ним, оказывал ей особое внимание. Маркиза обходилась с Каролиной как самая нежная мать.

И, наконец, сама Каролина переживала те часы в своей жизни, когда вопреки капризной судьбе природное могущество ума и красота вступают в свои права и завоевывают себе место в обществе.

Но если на лицах гостей Каролина читала свое торжество, то глаза маркиза де Вильмер были зеркалом ее победы. Только теперь она заметила, как изменился этот странный человек со дня их встречи: тогда он был робок, замкнут и нелюдим. Ныне же, элегантно под стать своему старшему брату, он держался с неподдельным изяществом и подлинным благородством. Ведь при всем необыкновенном умении вести себя в обществе герцог отличался известным позерством, немного театральным и слащавым, что, кстати говоря, вообще свойственно испанцам. Маркиз же принадлежал к тому типу французов, у которых естественная непринужденность сочетается с подкупающей учтивостью и тем обаянием, что, не выставляясь напоказ, покоряет своей скромностью. Он танцевал, вернее — выполнял фигуры кадрили, с необыкновенной простотой, а целомудренная жизнь придавала его движениям, выражению лица и всей его стати благоухание прекрасной молодости. В этот вечер он выглядел на десять лет моложе своего брата, и какое-то сияние надежды в его глазах словно твердило о новой жизни, которая была впереди.

XIX

В полночь молодые незаметно удалились в спальню, и маркиза жестом показала Урбену, что устала и тоже хочет отдохнуть.

— Дай мне руку, мой мальчик, — сказала она подошедшему маркизу. — А Каролину не зови, пусть она еще потанцует, госпожа де Д*** присмотрит за ней.

И так как Урбен бережно поддерживал маркизу в передней, которая вела в ее апартаменты, расположенные в нижнем этаже (зная страх маркизы перед лестницами, дети избавили ее от них), то она сказала:

— Дорогой мой, тебе больше не придется носить на руках свою грузную матушку. Слишком часто ты это делал, когда мы жили вместе. С тобой я ничего не боялась, но страдала, что докучаю тебе.

— А я еще не раз пожалею об этой докуке! — сказал Урбен.

— Какой чудесный праздник! — воскликнула маркиза, входя в свой будуар. — А наша Каролина — царица бала. От красоты и грациозности этой крошки я до сих пор не могу прийти в себя.

— Матушка, — сказал маркиз, — если вы не очень устали, уделите мне четверть часа. Я хочу с вами поговорить.

— Поговорим, поговорим, сын мой! — ответила маркиза. — Я устала только оттого, что не могла даже словом перемолвиться с моими любимыми детьми. Потолкуем о нем, потолкуем о твоём брате и о тебе, друг мой. Господи, неужели ты не подаришь мне такой второй день?

— Матушка, дорогая, — сказал маркиз, опустившись на колени перед госпожой де Вильмер и крепко сжав ее руки, — этот день и мое счастье всецело зависят от вас.

— Что ты говоришь? Неужели? Рассказывай скорее!

— Да, я вам скажу все. Слишком долго я ждал этой минуты, призывая вожделенный час, когда брат, вернувшийся к богу, истине и ставший сам собой, заключит в свои объятия избранницу, достойную стать вашей дочерью. И в эту минуту я хотел вам сказать следующее: матушка, я могу представить вам вторую вашу дочь, еще более прелестную и такую же целомудренную, как Диана. Я страстно

люблю ее уже больше года. Может быть, она догадывается о моем чувстве, но точно о нем не знает. Я так почитаю ее, что без вашего благословения никогда не попросил бы ее руки. Впрочем, она сама дала мне сурово это понять в тот самый день, когда четыре месяца назад я невольно чуть было не открыл ей своей тайны. И я снова связал себя обетом молчания как с вами, так и с ней. Я не мог отяготить ваши плечи дополнительными заботами, которые теперь, слава богу, больше не существуют. Отныне ваша жизнь, жизнь моего брата и моя собственная полностью обеспечены. Теперь я достаточно богат и вправе не думать об увеличении состояния, а стало быть, могу жениться по сердечной склонности. Однако от вас, матушка, я жду жертвы, и вы из любви ко мне не откажете в ней, ибо от этой жертвы зависит счастье вашего сына. Моя избранница из хорошей семьи — это вам самой давно известно, поскольку вы приблизили к себе эту особу. Однако у нее нет тех славных предков, к которым вы питаете пристрастие. Я уже говорил, что жду от вас жертвы. Так ли горячо вы меня любите, чтобы решиться на этот шаг? Матушка, у вас доброе сердце, и я уверен — оно не останется безучастным к мольбам любящего сына и без сожалений уступит ему.

— Боже мой, ты говоришь о Каролине! — ужаснулась маркиза, вся дрожа. — погоди, мой мальчик, дай перевести дух — этот тяжкий удар застал меня врасплох.

— Не говорите так! — горячо возразил маркиз. — Если это для вас тяжкий удар, забудьте о моих словах. Я поступлюсь всем и никогда не женюсь! Никогда...

— Не женишься? Этим ты меня убьешь. Полно, полно! Я должна прийти в себя. Быть может, это не так страшно, как кажется на первый взгляд, но дело не в предках Каролины... Отец ее был шевалье — конечно, мелкая сошка, но если б только в этом была загвоздка! Она же оказалась в нищете... Ты скажешь, что без тебя я тоже была бы нищенкой, но я скорее умерла бы, чем влачить дни в бедности, а у нее хватило мужества работать, пойти в услужение...

— Господи! — воскликнул маркиз. — Неужели вы вмените ей в вину то, что составляет добродетель всей ее жизни?

— Я этого не сделаю, — возразила маркиза, — но свет, который так...

— Несправедлив и слеп!..

— Твоя правда; пожалуй, не стоит тревожиться из-за него. Хорошо, раз уж у нас пошли браки по склонности, мне остается напомнить тебе только одно: Каролине двадцать пять лет.

— А мне пошел тридцать пятый год.

— Не в этом дело. Каролина, конечно, молода, если сердце ее так же чисто и прекрасно, как твое. Но она уже любила!

— Нет, я знаю всю ее жизнь! Я разговаривал с ее сестрой. Каролина должна была выйти замуж, но никогда и никого не любила.

— Но со времени ее неудавшегося замужества прошли годы.

— Я справился и об этом. Вся ее жизнь передо мной как на ладони! И я говорю, что мадемуазель де Сен-Жене достойна быть моей женой и вашей дочерью, только потому, что знаю все, и не думайте, матушка, что от страсти я решился рассудка. Нет, я люблю Каролину серьезно, я все обдумал и полностью уверен в себе. Только поэтому я нашел силы молчать и ждать той минуты, когда сумею привести веские доказательства своей любви и смогу убедить вас.

Урбен еще долго увещевал свою мать и одержал победу. Его красноречивые доводы были полны страсти и сыновней нежности, которую он уже много раз доказал. Сердце старой маркизы было тронуту, и она сдалась.

— О, позвольте, матушка, позвать сюда Каролину от вашего имени! — попросил маркиз. — Скажите «да», и у ваших ног я впервые скажу Каролине, что люблю ее. Видите, я еще не смею признаться ей с глазу на глаз. Один ее холодный взгляд, одно недоверчивое слово разобьют мне сердце. Здесь же, при вас, матушка, я найду нужные слова, и она мне поверит.

— Сын мой, — сказала маркиза. — Вот вам материнское благословение. Видишь, — добавила она, обнимая сына слабыми руками, — если я дала его не сразу и без особенной радости, то по крайней мере с безграничной любовью к тебе. Только прошу тебя и даже требую: ты должен все хорошенько обдумать. Даю тебе сутки на размышления — ты заручился моим согласием, на которое час назад не мог и рассчитывать, и теперь твое положение изменилось. Ведь раньше тебе казалось, что между тобой и Каролиной стоит непреодолимая стена, — поэтому, вероятно, твоя страсть крепла и давала тебе избыточные силы. Не качай головой! Разве ты можешь знать самого себя? Впрочем, я прошу сущую малость. Подожди до

завтрашнего вечера и ничего не говори Каролине! Я и сама должна укрепиться в своем решении перед господом богом, дабы лицо мое, волнение и слезы не выдали Каролине, чего оно мне стоило...

— Да, вы правы. Если она догадается об этом, она не захочет даже слушать меня... Итак, до завтра, дорогая матушка. Боже мой, целые сутки, это же долгие двадцать четыре часа... И потом, уже час ночи. Значит, следующую ночь вы опять будете бодрствовать?

— Конечно, ведь завтра у нас концерт в покоях молодой герцогини, поэтому сегодня нам нужно как следует выспаться. Ты вернешься на бал?

— Ах, не лишайте меня этого удовольствия. Каролина еще там... Боже, как она хороша в этом белом платье и жемчугах. Я боялся даже смотреть на нее и только сейчас могу ею вдосталь налюбоваться!

— Нет! Придется и тебе принести жертву твоей матушке! Не встречайся с Каролиной и не разговаривай с ней до завтрашнего вечера. Поклянись, сын мой, что эту ночь, которую все равно проведешь без сна, ты будешь думать о нас троих. Хорошенько все взвесь, а утром со свежей головой еще раз обо всем поразмысли. Я буду ждать тебя к обеду. Так нужно. Поклянись мне!

Урбен дал клятву матери и сдержал ее. Но уединение, ночь и томительная невозможность встретиться с Каролиной еще сильнее разожгли его страсть и подстегнули нетерпение. Словом, как ни были разумны меры предосторожности, принятые маркизой, они были совершенно бессмысленны по отношению к человеку, который давно обдумал свое решение и хотел претворить его в действительность.

Каролина удивилась, что маркиз больше не появился на балу, и покинула праздник одна из первых; теперь она еще сильнее укрепилась в правоте своего предположения, что маркиз сумел быстро пересилить свое сердечное чувство к ней.

У госпожи д'Арлад на этом балу были свои шпионы; один из них — секретарь посольства, надеявшийся жениться на ней, на следующее утро сообщил Леони, что «компаньонка» добилась огромного успеха. Этот проницательный начинающий дипломат, заметив, какими горящими глазами маркиз смотрит на Каролину, сразу почувствовал, что госпожа де Вильмер со своим младшим сыном удалились с бала для серьезного разговора.

Леони с притворным равнодушием выслушала донесение и сказала себе, что пора действовать. Ровно в полдень она уже входила в покои маркизы и столкнулась с Каролиной, которая уже была там.

— Подарите мне минутку, дорогая, и позвольте зайти к маркизе раньше вас, — сказала Леони. — У меня безотлагательное дело: нужно спешно помочь бедным людям, которые не желают открывать свое имя.

Оставшись с маркизой наедине, Леони извинилась, что омрачает своими хлопотами о бедных эти дни радости и веселья.

— Напротив, сегодня я особенно рада помочь несчастным, — сказала великодушная дама. — Говорите.

Леони действовала по продуманному плану. Рассказав о своей просьбе, она вывела имя маркизы на подписном листе и притворилась, будто хочет поскорее уйти. Бесполезно описывать те искусные ухищрения, к которым прибегла ловкая и злая госпожа д'Арглад, чтобы маркиза заговорила о нужном ей деле. Эти низости, к несчастью, слишком известны и памятны тем, кто жестоко пострадал от них: ведь на свете мало сыщется людей, кого клевета, по забывчивости, обошла.

Беседа, естественно, зашла о счастье Гаэтана и о добродетелях юной герцогини.

— Больше всего меня восхищает в ней то, — сказала Леони, — что она ни к кому не ревнует герцога, даже... Ах, простите, чуть было не проговорила.

Трижды Леони заводила об этом речь, всякий раз отказываясь назвать имя, которое начало тревожить маркизу. Наконец Леони произнесла его — то было имя Каролины.

Госпожа д'Арглад стала торопливо отнекиваться, уверяя, что обмолвилась, но за десять минут трудно было нанести более меткий удар, и маркиза заставила Леони поклясться, что она видела собственными глазами, как в Севале герцог провожал Каролину на рассвете, как сжимал ей руки и как добрые три минуты что-то страстно шептал у башни Лиса. Зная, что маркиза умеет молчать, Леони тут же принудила ее дать слово, что она никому не выдаст ее и что она вообще в полном отчаянии от того, с какой настойчивостью маркиза вырвала у нее это признание, и лучше бы ей поступить против ее воли, ибо она все же любит Каролину, но, с другой стороны,

сама порекомендовала девушку в их дом, и, вероятно, ее долг — чистосердечно сказать маркизе, что она в Каролине ошиблась.

— Ну и ну! — промолвила госпожа де Вильмер, не выказывая своего смятения. — Однако все это пустяки. Видимо, при всей своей рассудительности Каролина не сумела отразить домогательства этого соблазнителя. Он повеса ловкий... Не тревожьтесь, я ничего не знаю... и, если нужно, приму должные меры так, что никто не поймет, в чем дело.

Каролина вошла в будуар, когда Леони уже просталась с маркизой. Леони добродушно протянула руку девушке и сказала, что слухи о ее вчерашнем успехе дошли до нее и что она рада ее поздравить.

Каролина сразу заметила, что маркиза очень бледна, и, участливо справившись о ее здоровье, получила холодный ответ.

— За эти дни я очень устала. Пустяки. Будьте любезны, прочтите мне письма.

Каролина стала читать, но госпожа де Вильмер ее не слушала. Она с трудом сдерживала негодование на молодую девушку и жалела маркиза, которому была вынуждена теперь причинить нечаянное горе. Однако к ее материнским страданиям невольно примешивалось удовлетворение знатной аристократки: ведь теперь она была свободна от обещания, о котором вот уже двенадцать часов не могла думать без содрогания.

Наконец маркиза собралась с духом и ледяным голосом резко прервала чтение своей лектрисы:

— Довольно, мадемуазель де Сен-Жене. Я должна с вами серьезно поговорить. Один из моих сыновей — вы отлично знаете кто — проникся к вам сердечными чувствами, которых вы, конечно, не поощряли.

Каролина сделалась бледнее маркизы, но твердо ответила:

— Мне неизвестно, о чем вы говорите, сударыня. Ни герцог, ни маркиз не выражали мне чувств, которые могли бы меня встревожить.

В словах девушки маркиза увидела бесстыдную ложь. Она бросила на Каролину презрительный взгляд и, немного помолчав, добавила:

— Я говорю не о герцоге. Тут вам оправдываться бесполезно.

— Я не в обиде ни на герцога, ни на его брата, — ответила Каролина.

— Еще бы! — промолвила маркиза с язвительной улыбкой. — Обижаться пришлось бы мне, вздумай вы претендовать...

Каролина, больше не владея собой, гневно осадилла маркизу.

— Я ни на что не претендовала, — воскликнула она, — и никто не смеет разговаривать со мной так, точно я провинилась или допустила какую-то бестактность!.. О, простите, сударыня, — добавила она, видя, что маркиза опешила от ее запальчивости. — Я перебила вас и ответила в неподобающем тоне... Простите! Я люблю вас, предана вам, готова отдать за вас свою жизнь. Поэтому ваши подозрения причинили мне такую боль, что я потеряла голову... Но я должна была спокойно выслушать вас, и я вас выслушаю. Между нами, видно, вышло какое-то недоразумение. Будьте добры объяснить мне, в чем дело, или расспросите меня; я отвечу вам с полным спокойствием и сдержанностью.

— Дорогая Каролина, — смягчившись, сказала маркиза, — я вас не допрашиваю, а предупреждаю. Я вовсе не хочу что-то вменять вам в вину или огорчать бесполезными вопросами. Вы были хозяйкой своего сердца...

— Нет, сударыня, я ею не была.

— Тогда, вероятно, оно вас не послушалось! — промолвила маркиза с презрительной иронией.

— Нет, тысячу раз нет, — горячо возразила Каролина, — я не то хотела сказать. Зная, что из-за более серьезных обязанностей я не вправе располагать своей свободой, сердца я не отдала никому.

Маркиза с удивлением посмотрела на Каролину. «Какая искусная лгунья!» — подумала она, а потом решила, что бедняжка вовсе не обязана признаваться в своей связи с герцогом, что на это увлечение она смотрит так, точно его и не было, поскольку не заявила о своих правах, которые могли помешать его женитьбе.

Эта мысль раньше не приходила в голову госпоже де Вильмер; теперь маркиза быстро изменила свои намерения и, видя, что ее молчание огорчает Каролину, у которой в глазах стояли слезы, снова почувствовала к ней симпатию и даже уважение.

— Милая детка, — сказала она, — протягивая руки Каролине, — простите меня. Я так плохо все объяснила, что расстроила вас. Я

допускаю, что была к вам несправедлива, но на самом деле знаю вас лучше, чем вы думаете. Вы девушка бескорыстная, великодушная, осторожная и умная. Если вы и... поддались ухаживаниям одного человека несколько больше, чем следовало бы для вашего счастья, тем не менее вы всегда были готовы при надобности принести себя в жертву и до сих пор не изменили своему решению. Не так ли?

Каролина не понимала, да и не могла понять, что маркиза намекает на женитьбу Гаэтана. Она подумала, что речь идет о его брате, и поскольку никогда не теряла присутствия духа, то решила, что маркиза не имеет права рыться в печальных тайниках ее души.

— Никакой жертвы от меня никогда не требовали, — гордо сказала Каролина. — Если вы хотите мне что-то приказать — извольте, сударыня, и в моем послушании не будет никакой заслуги.

— Вы хотите сказать, дорогая моя, что никогда не разделяли сердечного чувства маркиза к вам?

— Я о нем никогда не знала.

— И даже не догадывались?

— Нет, сударыня. Да и кто мог убедить вас в обратном? Не маркиз же!

— Простите, дорогая, но именно он. Видите, как я вам доверяю... Да, это чистая правда. Мой сын любит вас и надеется, что его чувство взаимно.

— Господин де Вильмер странным образом заблуждается, — ответила Каролина, обиженная подобным признанием, которое в устах маркизы звучало почти как оскорбление.

— Ах, я вижу, что вы говорите правду! — воскликнула маркиза, обманутая гордостью Каролины, и, желая поощрить ее самолюбие, поцеловала дезушку в лоб. — Спасибо, дитя мое, — добавила она, — вы мне возвращаете жизнь. Вы слишком благородны и чистосердечны, чтобы карать меня за эти подозрения и смущать мой покой. Ну, хорошо! Теперь позвольте мне сказать Урбену, что он себе все придумал и что брак этот невозможен, так как его не хотите вы, а не я.

Это опрометчивое признание маркизы открыло глаза Каролине. Она все поняла, оценив редкостную деликатность маркиза, который посоветовался с матерью прежде, чем объясниться в любви предмету своей страсти. Каролина, однако, не воспользовалась своей догадкой, так как видела, что маркиза всей душой противится ее браку с

Урбеню. Неумолимость своей госпожи она приписала ее тщеславию, которое давно замечала в ней, но ей и в голову не пришло, что маркиза, дав обещание Урбену, нарушила его только потому, что поверила в ее недозволенную связь с герцогом.

— Сударыня, — сурово сказала Каролина, — я понимаю, что вам не нужно терзаться сознанием вины перед сыном; что же касается меня, то, отказавшись от чести, которую маркиз хотел мне оказать, я не должна бояться упреков; впрочем, вы можете сказать ему все, что сочтете необходимым. Опровергать ваши слова будет некому, так как меня здесь уже не будет.

— Как? Вы хотите меня покинуть? — испугалась госпожа де Вильмер, поскольку не ожидала, что девушка скажет ей об этом сейчас, хотя втайне надеялась. — Нет, нет, это невозможно. Тогда все пропало... Мой сын так горячо любит вас... Правда, если вы поможете мне охладить его пыл, я спокойна за его будущее. Но на первых порах он может натворить бог знает что. Пойдите... Он же бросится за вами следом... Он красноречив, вы уступите его доводам, и он вернет вас, а я буду вынуждена сказать ему то... о чем не хочу никогда заводить разговора.

— Вы не хотите сказать ему «нет»? — спросила Каролина, совершенно сбита с толку, и даже не предполагая о своей мнимой вине, нависшей над ее головой, — стало быть, я сама должна ему сказать. Хорошо, я напишу письмо, а вы его передадите маркизу.

— Но он расстроится, даже разгневется... Об этом вы подумали?

— Сударыня, позвольте мне уехать! — резко сказала Каролина, у которой защемило сердце при одной мысли, как будет мучиться маркиз. — Я поступила к вам не для того, чтобы надирать страданиями душу. Меня рекомендовали в ваш дом, не предупредив, что у вас есть сыновья. Я никого в этом не упрекаю, только позвольте мне уехать. Я никогда не увижусь с маркизом де Вильмером — вот вам мое последнее слово. Если же он станет меня искать...

— Так оно и будет!.. Господи, да говорите вы тише — еще услышит кто-нибудь... Если он станет искать вас, что вы сделаете?

— Я устрою так, что маркиз никогда не найдет меня. Положитесь на мою осмотрительность, и я вас не подведу. Через час я приду проститься с вами, сударыня.

Каролина так решительно вышла из будуара, что госпожа де Вильмер не посмела ее удерживать. Она понимала, что мадемуазель де Сен-Жене раздосадована и оскорблена до глубины души. Маркиза упрекнула себя за то, что так откровенно дала понять Каролине, что знает о ней все, а между тем ничего не знала, ибо не догадывалась о любви Каролины к маркизу.

Не подозревая об этом, она даже попыталась укрепиться в мысли, что Каролина по-прежнему любит герцога, что ради его счастья принесла себя в жертву и что она, будучи особой практической, вероятно смирилась с его женитьбой, надеясь, что после медового месяца герцог не оставит ее своими милостями. «Если догадка моя правильна, — думала маркиза, — держать Каролину в доме просто опасно. Со дня на день у молодых может произойти непоправимая размолвка; но отпускать ее тоже слишком рано: маркиз, чего доброго, ума решится! Пусть Каролина успокоится, обдумает свой план, а когда расскажет мне о нем, я постараюсь сделать то, что мне на руку».

Целый час маркиза размышляла, как выйти из создавшегося положения. Вечером в условленный час она должна встретиться с маркизом. Она скажет ему, что разузнала о чувствах Каролины и поняла, что девушка совершенно равнодушна к нему. С решительным объяснением можно будет протянуть несколько дней, выиграть время, а потом по ее наущению Каролина сама мягко и осторожно скажет маркизу, чтобы он о ней забыл. Одним словом, маркиза пришла к заключению, что таким образом она прекрасно устроит жизнь всех троих. Однако прошел час, а Каролина не возвращалась. Маркиза послала за ней. Госпоже де Вильмер сообщили, что Каролина, наняв фиакр, уехала с маленьким узелком в руках, но оставила ей письмо:

«Милостивая государыня!

Я получила грустное известие о том, что серьезно заболел ребенок моей сестры. Простите, что я поспешила к ней без вашего позволения, но у вас были гости. Впрочем, зная вашу доброту ко мне, я уверена, что вы дадите мне отпуск на сутки. Я вернусь завтра

вечером. Примите, сударыня, мое самое глубокое и искреннее уважение.

Каролина»

— Что ж, прекрасно! — воскликнула маркиза. — Значит, она догадалась о моих планах. Итак, первый вечер мною выигран. Раз она обещала вернуться завтра, значит, сын мой в Этамп наверняка не поедет, а завтра у нее определенно сыщется новый предлог, чтобы не возвращаться... Но я предпочитаю не знать, что она собирается делать. Тогда я не буду бояться что Урбен заставит меня развязать язык.

Вечер, как показалось маркизе, наступил слишком скоро, и чем ближе приближался час обеда, тем сильнее ее одолевал страх. Если Каролина в действительности уехала дальше Этампа, нужно было выиграть время. И маркиза решила лгать. Пока не сели за стол, она не разговаривала с Урбеном и ни на час не отходила от своих гостей, которые были приглашены на торжественный обед. Но маркиз бросал на нее такие взгляды, что она не выдержала и, садясь за стол, громко сказала молодой герцогине, чтобы слышал маркиз:

— Мадемуазель де Сен-Жене не придет обедать. У ней в монастыре заболела племянница, и она попросила позволения навестить ее.

Сразу же после обеда измучившийся маркиз попытался заговорить с матерью. Она же опять уклонилась от разговора, но, видя, что маркиз направляется к выходу, знаком велела приблизиться и шепнула на ухо:

— Она не в монастырь поехала, а в Этамп.

— Господи, зачем же вы только что сказали иначе?

— Я ошиблась, так как плохо прочла записку, которую мне передали сегодня вечером. Заболела не девочка, а другой ребенок. Но она вернется завтра утром. Полно, возьмите себя в руки, сын мой, вы привлекаете внимание. Везде есть злые языки — еще скажут, что вы завидуете счастью брата. Все же знают, что поначалу речь шла о вас...

— Ах, матушка, мне, право, не до этого! Вы от меня что-то скрываете. А я уверен, что Каролина заболела и находится здесь, в доме. Позвольте мне справиться от вашего имени...

— Вы хотите скомпрометировать ее? Это не лучший способ расположить ее к себе.

— Значит, она ко мне не расположена? Матушка, вы с ней говорили!

— Нет, я ее не видела. Она уехала нынче утром.

— Вы же сказали, что получили записку сегодня вечером.

— Я получила ее... только что, ах, право, не знаю, когда. Что за расспросы, сын мой! И, ради бога, успокойтесь, на нас смотрят!

Бедная госпожа де Вильмер не умела лгать. Страх и страдания маркиза передались ей, и она целый час боролась со своим сыном. Стоило ему подойти к двери, как она устремляла на него тревожный взгляд, боясь, что он уйдет. Глаза их встречались, и маркиз, тронутый ее умоляющим взором, уступал матери. Но такого напряжения маркиза вынести не смогла. Усталость, тревожения последних суток, шумная свадьба, длившаяся несколько дней, в течение которых маркиза острела и веселилась в угоду гостям, и, главное, маска спокойствия, которую с таким трудом она сохраняла за обедом, — все вместе подорвало ее силы. Опираясь на Урбена, госпожа де Вильмер проследовала в свои покои и там упала без чувств на руки маркиза.

Урбен расточал ей самые нежные заботы, проклиная себя за то, что так встревожил ее, клялся, что совершенно спокоен и не станет ее больше расспрашивать ни о чем, пока маркиза не поправится. У материнского изголовья он провел всю ночь, а наутро, видя, что матери полегчало, робко задал ей несколько вопросов. Маркиза показала ему записку Каролины, и Урбен покорно стал ждать вечера. Вечером принесли новую записку, помеченную Этампом. Ребенку Камиллы стало лучше, но он еще не поправился, и госпожа Эдбер попросила Каролину задержаться еще на сутки.

Маркиз пообещал матери не предпринимать никаких шагов, но на следующий день обманул госпожу де Вильмер и, сказав, что едет с братом и невесткой в Булонский лес, сам отправился в Этамп.

Там он узнал, что Каролина действительно приезжала, только что уехала обратно в Париж и, должно быть, они разминулись. Однако маркизу показалось, что его тут поджидали и, намеренно спрятав одного ребенка, остальным велели молчать. Он справился о здоровье больного малыша и пожелал его видеть. Камилла ответила, что он спит и что она боится его побеспокоить. Господин де Вильмер не

посмел настаивать и воротился в Париж, усомнившись в искренности госпожи Эдбер, смущенной его визитом.

Урбен бросился к матери — Каролина еще не появлялась; она, вероятно, задержалась в монастыре. Он кинулся туда и, прождав Каролину около часа у монастырской ограды, решил справиться о ней от имени госпожи де Вильмер. Ему ответили, что мадемуазель де Сен-Жене не появлялась тут уже пять дней. Урбен вернулся в особняк Ксентрай и стал дожидаться вечера. Маркизе все еще нездоровилось, и Урбен сдерживал свое нетерпение. Наутро, доведенный до отчаяния, он пришел к матери и, зарывав у ее ног, стал молить вернуть Каролину, которая, как он думал, по ее приказанию скрывалась в монастыре.

Госпожа де Вильмер сама ничего не понимала, а смятение Урбена передалось и ей. Ведь Каролина ушла из дому, завязав платья в маленький узелок, денег у нее было очень мало, так как все посылалось Камилле, драгоценности и книги она оставила, так что уехать далеко явно не могла.

И вот тем временем, пока Урбен опять ходил в монастырь, на сей раз уже с письмом маркизы, которая, не в силах больше видеть страдания Урбена, сама принялась разыскивать Каролину, мадемуазель де Сен-Жене в плаще с широким капюшоном, скрывавшим до подбородка ее лицо, с узелком в руках, вышла из дилижанса и направилась по бульвару городка Пюи, центра провинции Веле, к путевому агентству, откуда через некоторое время небольшой экипаж отъезжал в Иссенжо.

Никто не видел ее лица, да никто ею и не интересовался. Каролина же никому не задавала вопросов, точно не раз бывала в этих краях и знала прекрасно местные порядки. А между тем она здесь оказалась впервые. Но будучи девушкой догадливой и расторопной, она еще в Париже купила путеводитель с планом городка Пюи и его окрестностей и основательно изучила его в дороге. Словом, она села в сельский дилижанс, едущий в Иссенжо, сказав вознице, чтобы тот остановился в Бриве, иначе говоря — в одной миле от Пюи. Там Каролина вышла на мосту, переброшенном через Луару, и устремилась вперед. Она знала, что должна идти по течению Луары до того места, где та сливается с речкой Гань, потом свернуть к Рош-Ружу и, следуя за горным потоком, бегущим у подножия горы, идти до

первого селения. Сбиться с дороги она не могла. Правда, Каролине предстояло пройти пешком около трех миль по безлюдной местности, а было уже за полночь. Но дорога была ровная, красивая луна на ущербе ярко светила среди лохматых белых облаков, согнанных в кучу на небосклоне майским ветерком.

Куда же шла мадемуазель де Сен-Жене поздней ночью по этой горной и пустынной стране? Читатель, верно, помнит, что в деревне Лантриак Каролину дожидались преданные друзья и надежное убежище. Ее кормилица, в девичестве Жюстина Ланьон, ныне жена Пейрака, полтора месяца назад написала Каролине второе письмо, и она, помня, что никому об этом не обмолвилась, твердо решила провести там месяц-другой, полагая, что время заметет ее следы. Поэтому в пути она держалась так осторожно, поэтому никого ни о чем не расспрашивала, чтобы не открыть своего лица.

Каролина съездила в Этамп и простилась с сестрой, доверительно рассказав ей обо всем, кроме своего тайного чувства к маркизу, — таким образом, она сожгла корабли, оставив Камилле письмо, которое через неделю следовало отправить госпоже де Вильмер. В нем Каролина сообщала о своем отъезде за границу, где нашла хорошую должность, и нижайше просила о ней не беспокоиться.

От узелка у Каролины уже ныли руки, и она готова была оставить его в первом попавшемся доме, как вдруг увидела сзади быков, которые тащили бревна. Каролина остановилась. Молодые и старые погонщики с женщиной, которая держала ребенка, спящего под ее накидкой, везли огромные тесаные бревна: к каждому стволу спереди и сзади было привязано веревками по небольшому, но крепкому колесу. Всего таких бревен было шесть, и на каждое приходилась пара быков и в придачу идущий рядом погонщик, так что поезд занял всю дорогу.

«Провидение не оставляет тех, кто уповает на него, — подумала Каролина. — Не успела устать с дороги, как уже поданы кареты — одна лучше другой».

Каролина заговорила с первым погонщиком. Тот покачал головой, показывая, что понимает лишь местное наречие. Второй остановился, переспросил ее, пожал плечами и прошел мимо: он понимал столько же. Третий показал жестом обратиться к женщине, которая сидела на бревне, упершись ногами в веревочные стремяна. Каролина спросила

ее, не эта ли дорога ведет в Лоссонну. Она не хотела произносить слово Лантриак — название селения, расположенного рядом и по той же дороге. Женщина ответила по-французски с очень грубым акцентом, что они едут как раз в Лоссонну и что до нее еще довольно далеко.

— Позвольте мне привязать мой узелок к одному из этих бревен? Женщина непонимающе покачала головой.

— Вы не хотите? — переспросила Каролина. — Но я вам заплачу. — Тот же ответ: из слов Каролины горянка поняла лишь название Лоссонны.

Каролина не знала севенского наречия. Оно не вошло в те начатки воспитания, которые преподала ей кормилица. Однако музыка ее произношения осталась в памяти Каролины, и она вовремя догадалась воспроизвести ее, сделав это с таким успехом, что уши крестьянки тотчас открылись ее речам. При таком произношении женщина понимала французский язык и даже говорила на нем довольно хорошо.

— Садитесь на другое бревно, доченька, — сказала она, — узелок отдайте моему мужу. А платить ничего не надо.

Каролина поблагодарила и устроилась. Крестьянин сделал ей веревочные стремяна наподобие тех, что поддерживали ноги его жены, и деревенский поезд, нимало не смущенный этой задержкой, снова двинулся в путь. Муж крестьянки, шедший рядом с Каролиной, молчал. Севенцы — народ суровый, и если даже любопытствуют, то ни за что не покажут вида. Севенцу достаточно прислушаться к пересудам женщин, которые любят расспрашивать друг друга. Но бревна были длинные, а Каролина сидела от горянки очень далеко, так что была избавлена от разговоров.

Так они проехали мимо Рош-Руж, который поначалу Каролина приняла за развалины гигантской башни, а потом, вспомнив рассказ Жюстины о местной достопримечательности, узнала в этих руинах удивительную дайку, нетленный вулканический памятник, отбрасывавший в лунном свете гигантскую бледную тень, которую пересек сельский караван.

Петляющая дорога все больше забирала в гору и, высоко поднявшись над бурным потоком, до того сузилась, что Каролина испугалась, увидев, как ноги ее болтаются над пропастью. Колеса

увязали в размытой дождями земле у самой кромки этой бездны, но бычки уверенно шли вперед, погонщик пел, отходя в сторону, если идти рядом с бревном было невозможно, а женщина с ребенком дремала.

— Господи, — сказала Каролина севенцу, — неужели вы не боитесь за жену и ребенка?

Слов он не понял, зато понял жесты и, крикнув жене, чтобы та не уронила малыша, снова запел свою печальную песенку, чем-то напоминая церковные псалмы.

Каролина быстро свыклась с головокружением, и хотя крестьянин жестами велел ей повернуться к пропасти спиной, она не пожелала его слушать. Местность была прекрасна, а в лунном свете казалась такой грозной, что Каролина не могла отвести глаз от невиданного зрелища. На каждом крутом повороте, когда быки заводили вперед передние колеса, так что задние под тяжестью бревна откатывались назад, рискуя свалиться в пропасть, Каролина в ужасе сжималась, упираясь ногами в веревочные стремена. Тогда погонщик что-то тихо говорил бычкам, и этот голос, верно направляющий их каждый шаг по извилистой тропинке, успокаивал Каролину, точно глас таинственного духа, располагавшего ее судьбой.

«Да и чего мне бояться? — спрашивала себя Каролина. — Зачем я цепляюсь за свою жизнь, которая отныне будет ужасна, а будущее мое в сто раз страшнее смерти. Упав в эту пропасть, я сразу же разобьюсь, и если даже придется часа два помучиться перед кончиной, это сущая малость по сравнению с теми годами скорби, одиночества и, вероятно, отчаяния, которые меня ждут впереди».

Читатель видит, что Каролина наконец призналась самой себе в любви к маркизу и в своем безысходном горе. Она еще не понимала всю силу своего чувства и, подумав о том, как она, будучи не робкого десятка, только что дрожала от страха за жизнь, увидела в своей боязни добрый знак, суливший близкое исцеление от любовного недуга.

«Кто знает, может я забуду его скорее, чем кажется. Но какое я имею право желать смерти? А сестра, а дети ее — они же без меня погибнут или будут жить подачками тех, от кого мне пришлось бежать. Нужно снова взяться за работу, а для этого нужно забыть обо всем остальном».

Но потом собственное мужество начало беспокоить Каролину.

«А что, если это уловка надежды?» — думала она.

На память вдруг пришли какие-то фразы господина де Вильмера, отрывки из его книги — в них сквозили его необыкновенная воля, острота ума и упорство. Неужели такой человек откажется от принятого решения, поддастся хитрым проискам, не проявит проницательности, свойственной любви, достигшей необыкновенной силы.

«Если он захочет, то найдет меня. Напрасно я забралась в такую глушь, за полтораста миль от Парижа, и напрасно думаю, что ему и в голову не придет нагрянуть сюда. Если он меня действительно любит от всего сердца, оно ему подскажет, где я. И потом, какое ребячество бегать от него и прятаться, точно я перед ним бессильна. Нет, нужно вооружить против него мое сердце, нужно каждую минуту быть готовой к встрече с маркизом, чтобы сказать: „Страдайте, даже умрите, но я вас не люблю!“»

От этих мыслей Каролине вдруг захотелось сбросить веревочные стремена и кинуться в пропасть, но усталость возобладала над ее волнением. Дорога уже не так круто, но неуклонно подымалась в гору, все дальше уходя от края бездны, так что опасность была позади. Неспешно тянулся поезд, мерно покачивалось бревно, монотонно поскрипывала упряжь, — звуки нагоняли на девушку сон. Перед глазами ее проплывали скалы, посеребренные лунным сиянием, и верхушки деревьев, молодая листва которых напоминала легкие, прозрачные облачка. И чем выше деревенский караван поднимался над низиной, тем острее пронизывал тело горный воздух, тем усыпительней действовала его свежесть. Бурная речка в овраге совсем пропала из глаз, но ее властный водяной голос все еще наполнял ночь своим дикарским пением. Каролина чувствовала, как тяжелеют веки, к поскольку в Лоссонне ей делать было нечего, а Лантриак уже был близок, она спрыгнула на землю и, чтобы стряхнуть сон, пошла пешком.

Она знала, что Лантриак расположен на склоне в горном ущелье и что, как только скроется из вида бурные воды Гани, она доберется до селения. В самом деле, через полчаса она увидела, как над скалами возникли силуэты домов. Каролина взяла свой узелок, насильно сунула в руку крестьянина несколько монет и, не ответив на вопросы

его жены, отстала от своих спутников, выжидая, пока поезд проедет по деревне, утихнет лай собак, заснут разбуженные жители, — она хотела проскользнуть в Лантриак незамеченной.

Но жители велейского селения крепко спали, и мирно дремали собаки. Обоз проехал — погонщики пропели свою песенку, и отгремели колеса, подскакивая на глыбах вулканического туфа, которым мостили улицы в этих неприветливых селениях.

Как только затих скрип колес и воцарилась тишина, Каролина решительно свернула в переулочек, который, по ее мнению, должен был привести к дому Жюстины. Но дальше Каролина уже шла вслепую, ибо кормилица ее даже не обмолвилась о расположении своего жилища. Желая добраться до него незаметно и предупредить семейство Жюстины о своем инкогнито, Каролина решила не стучать в чужие дома и никого не будить, а дожждаться рассвета, который уже был недалек. Она села на деревянную лавку под навесом первого попавшегося дома и положила рядом узелок. Невиданная картина открылась перед ней: в белесых облаках на небе грубо и неровно вырисовывались кровли домов, а в узком проеме между их навесами плавала луна. Ее сияние отражалось в водоеме небольшого источника, и в узкой ленте горного ключа плавал сверкающий лунный серп. Тишина и робкий, монотонный шелест посеребренной воды сразу же нагнали сон на обессиленную спутницу.

«Сколько перемен за три дня, — говорила себе Каролина, устраиваясь на лавке и кладя свою усталую голову на узелок. — Еще в прошлый четверг мадемуазель де Сен-Жене, в тюлевом платье, с камелиями в волосах и жемчугами на руках и шее, танцевала при свете тысячи огней с маркизом де Вильмером в одной из богатейших зал Парижа. Что бы сказал теперь господин де Вильмер при виде царицы бала, которая, закутавшись в грубый плащ, лежит возле хлева, коченея от холода, а у ее ног бежит ручей. К счастью, уже пробил два часа, а луна так красиво светит. Господи, как хочется спать! Пospим, пожалуй, часок, а там видно будет!»

На рассвете мадемуазель де Сен-Жене разбудили куры, которые кудахтали и рылись в земле. Каролина встала и пошла наугад по деревне, глядя, как одна за другой распахиваются двери домов, и утешаясь тем, что в таком маленьком селении долго блуждать не придется и она скоро найдет того, кто ей нужен.

Но тут-то Каролина и встревожилась. Узнает ли она свою кормилицу, с которой рассталась пятнадцать лет назад? Она хорошо помнила ее голос и ее особенное произношение, но лицо Жюстины стерлось из памяти. Каролина дошла до последнего домика на склоне скалы и здесь увидела надпись на двери — «Пейрак Ланьон». Подкова, прибитая над дощечкой, указывала на то, что хозяин занимался кузнечным делом.

Жюстина, как всегда, была уже на ногах, а господин Пейрак досыпал последний сон, лежа на кровати под ситцевым пологом. Нижняя комната свидетельствовала о благополучии и даже зажиточности ее обитателей: под потолком, грубо покрытым дранкой, хранились огромные запасы овощей и прочей деревенской снеди, однако строгая чистота в комнате, довольно редкая в здешних местах, радовала глаз, и дурных запахов не было в помине.

Жюстина возилась у очага, собираясь варить суп, чтобы накормить горячим проснувшегося Пейрака, как вдруг увидела, что в комнату вошла незнакомка в плаще с поднятым капюшоном и узелком в руке. Бросив на мадемуазель де Сен-Жене рассеянный взгляд, Жюстина спросила ее:

— Чем вы торгуете?

Каролина, слышав храп Пейрака из-за ситцевой занавески, приложила палец к губам и сбросила капюшон на плечи. Жюстина на мгновение застыла на месте, а потом, сдерживая радостный крик, порывисто заключила Каролину в свои объятия. Она узнала свою барышню.

— Идемте скорей, — заговорила она, ведя Каролину к маленькой шаткой лестнице, стоявшей в глубине комнаты. — Ваша комнатка давно готова. Уж год как вас дожидается. — И тут она крикнула мужу:

— Вставай, Пейрак, да живее заложу дверь. У нас добрые новости.

Верхняя комнатка, выбеленная известью и по-деревенски обставленная, была, подобно нижней, на редкость чистая. Великолепный вид открывался из окна, в которое заглядывали цветущие фруктовые деревья.

— Да это рай! — сказала Каролина своей кормилице. — Недостает лишь огня в очаге, но ты мне его сейчас разведешь. Я замерзла, проголодалась и счастлива, что наконец добралась до твоего дома. Прежде всего мне нужно с тобой поговорить. Я не хочу, чтобы здешние жители развели, кто я такая, — у меня на то есть серьезные причины, которые ты со временем узнаешь. Давай подумаем, как все устроить. Ты жила в Бриуде?

— До замужества я там была в служанках.

— Бриуд находится отсюда довольно далеко. Скажи, а в Лантриаке есть кто-нибудь из тех краев?

— Никого. Чужие сюда носа не кажут — дороги у нас плохие, только на быках можно проехать.

— Мне это известно. Вот ты и выдашь меня за свою знакомую из Бриуда.

— Хорошо, за дочку моей прежней хозяйки.

— Нет, барышней я быть не должна.

— Она была не барышней, а торговкой.

— Хорошо, а что я продаю?

— То же, что она: нитки, пуговицы, иголки.

— Значит, мне придется торговать?

— Нет, не нужно. Я скажу, что вы распродали весь товар, а ко мне приехали погостить и проживете...

— Не меньше месяца.

— Вам бы лучше остаться у нас навсегда, а занятие мы вам прищем. Да! А как же мне звать-то вас?

— Шарлеттой. Помнишь, ты меня так в детстве называла? Ты не собьешься. Всем скажи, что я вдова, и говори мне «ты».

— Совсем как раньше. Но в чем ты ходить-то будешь, деточка?

— В чем приехала. Разве у меня богатое платье?

— Нет, оно у тебя невидное, никто и не заметит. Но на твои белокурые волосы, еще такие красивые, каждый плазеть станет. И еще

шляпка как у городских, каждому в диковинку.

— Я все предусмотрела и купила в Бриуде местную шапочку. Она у меня в дорожном мешке, и я ее, пожалуй, на всякий случай сейчас же надену.

— А я тем временем тебе приготовлю завтрак. Будешь есть вместе с Пейраком?

— И с тобой, надеюсь. А завтра займемся хозяйством — я буду помогать тебе на кухне.

— Нет, ты только будешь делать вид. Зачем портить ручки, о которых я так заботилась. Постой, попляжу, встал ли Пейрак. Надо ему сказать, что мы с тобой надумали, а ты потом нам расскажешь, что у тебя за тайны.

Жюстина меж тем растопила печь, в которой были уже положены дрова, наполнила кувшины прозрачной холодной водой, которая, сочась из скалы, проникала через глиняное горлышко в умывальник верхней комнатки, а затем в кухонную раковину. Пейрак сделал это собственными руками и очень гордился своим замечательным изобретением.

А через полчаса Каролина уже была одета так, что ничем не напоминала горожанку: пушистые волосы она совсем как велезианка убрала под бриудскую шапочку из черного фетра с бархатной каймой. Но и в этой шапочке Каролина была прелестна, хотя от усталости слегка туманились ее большие глаза, «зеленые как море», которые некогда расхваливала маркиза.

Рисовый суп с картофелем был быстро подан в каморку, где Пейрак на досуге занимался столярным делом. Решив, что комната недостаточно чиста для приема желанной гостьи, Пейрак собрался ее подмести.

— Ты ничего не понимаешь! — воскликнула Жюстина, разбрасывая по полу деревянные стружки и опилки. — Надо побольше набросать их, и она скажет, что это чудесный ковер. Ох, ты не знаешь мою девочку! Это же святая, настоящая святая!

Знакомясь с Пейраком, Каролина обняла его. Это был мужчина лет шестидесяти, еще крепкий и жилистый, среднего роста и некрасивый, как большинство горцев этого края. Но его грубоватые черты выражали прямодушие, которое сразу бросалось в глаза.

Улыбался он редко, удивительно доброй улыбкой — в ней чувствовались душевная мягкость и искренность.

Лицо Жюстины тоже было сурово, а речь порывиста. Нрав этой женщины отличался мужским складом и великодушием. Пламенная католичка, она почитала убеждения своего мужа, который был протестант от рождения, обращенный католик с виду и свободомыслящий человек по своей сути. Зная это, Каролина была тронута той деликатностью и почтением, которые эта неистовая женщина сочетала с любовью к своему мужу. Читателю не грех напомнить, что мадемуазель де Сен-Жене, дочь слабовольного отца и сестра неприспособленной к жизни женщины, своим мужеством была обязана своей матери, родом из Севенн, и тем первым жизненным урокам, что преподавала ей Жюстина. Она это особенно ясно ощутила, когда вместе со старыми супругами села за стол: суровость их взглядов и резкость выражений не пугали и не удивляли ее; ей даже казалось, что молоко этой доброй горянки вошло в ее плоть и кровь, поэтому здесь она чувствовала себя так, словно очутилась среди братьев по духу.

— Друзья мои, — сказала Каролина, когда Жюстина принесла ей на десерт сливки, а Пейрак запивал суп кружкой теплого вина, за которой последовала кружка черного кофе, — я обещала вам рассказать свою историю. Извольте, вот она в двух словах: один из сыновей моей госпожи задумал жениться на мне.

— Еще бы! — сказала Жюстина. — Так оно и должно быть.

— Ты права, потому что я и этот молодой господин очень похожи друг на друга как нравом, так и убеждениями. Все должны были предвидеть этот оборот, и я первая.

— И мать тоже, — вставил Пейрак.

— А между тем, никто об этом не подумал, и сын очень удивил и даже прогневил мать, когда сказал, что любит меня.

— А вы что же? — спросила Жюстина.

— Я? Мне он даже не обмолвился об этом, а я, зная, что недостаточно богата и знатна для него, никогда не позволила бы ему и помыслить о нашем браке.

— Вот и хорошо! — заметил Пейрак.

— И правильно! — добавила Жюстина.

— Словом, я поняла, что дольше оставаться в их доме нельзя, и сразу же после размолвки с маркизой уехала, даже не попрощавшись с ее сыном. Если бы я поселилась у сестры, он наверняка нашел бы меня. Маркиза, правда, хотела, чтобы я еще ненадолго осталась и, объяснившись с ее сыном, прямо сказала бы, что не люблю его.

— Так, вероятно, и надо было сделать! — сказал Пейрак.

Суровая логика этого крестьянина поразила Каролину. «Да, он прав, — подумала девушка. — Надо было в своей решимости идти до конца».

И, поскольку Каролина молчала, ее кормилица, почуяв сердцем, в чем дело, резко осадил Пейрака:

— погоди ты. Ишь как сразу все рассудил! Почему ты знаешь, что она не любит его, бедная наша доченька!

— А, тогда другое дело, — протянул Пейрак, и его умные, добрые глаза смотрели теперь участливо и печально.

Каролину до глубины души растрогала прямодушная и нежная дружба этих людей, которые невольно разбередили ее старую рану. И то, что она не сумела доверить сестре, Каролина не смогла утаить от этих мудрых стариков, которые читали ее сердце, как книгу.

— Хорошо, друзья мои, вы правы, — согласилась она, взяв их за руки. — Я, вероятно, не смогу солгать вам, так как против своей воли... люблю его!

Едва Каролина произнесла эти слова, как ее охватил ужас, и она огляделась вокруг, точно Урбен был в этой комнате и слышал ее, а потом разразилась слезами.

— Будьте твердой, дочь моя, а бог вам поможет! — сказал Пейрак, подымаясь с места.

— И мы тебе тоже поможем, — сказала Жюстина, обнимая ее. — Мы тебя спрячем, будем любить и молиться за тебя.

Она проводила Каролину в ее комнатку, раздела и уложила в постель, по-матерински позаботившись о том, чтобы ей было тепло и чтобы солнце не мешало спать. Потом она спустилась вниз и сообщила соседкам, что к ней приехала в гости ее знакомая, Шарлетта из Бриуда. Жюстина ответила на все расспросы и даже сказала о том, какая у нее красивая и белокожая знакомая, чтобы те при виде ее не очень удивлялись. Жюстина не преминула сообщить им, что наречие

бриудцев вовсе не похоже на местный говор и что Шарлетта даже не сможет с ними на досуге потолковать.

— Вот бедненькая! — сочувственно говорили кумушки, — небось соскучится у нас!

Неделю спустя, известив сестру о своем благополучном прибытии в Лантриак, Каролина расписала ей в подробностях свою жизнь на новом месте. Читатель не должен забывать, что, скрывая от Камиллы свое подлинное горе, Каролина старалась успокоить сестру, а заодно убедить самое себя, что обрела спокойствие, которое на самом деле давно утратила.

«...Ты не можешь себе представить, как эти Пейраки возьтятся со мной. Жюстина все такая же хозяйка, которую ты хорошо знала прежде, — недаром отец наш ни за что не хотел расставаться с ней. Поэтому достаточно будет сказать, что муж Жюстины достоин своей супруги: он, пожалуй, умнее ее, хотя схватывает все гораздо медленнее, но то, что им понятно, как бы запечатлено на прекрасной, чистой глыбе мрамора. Я даже не скучаю с ними, честное слово. Большую часть времени я могла бы проводить в одиночестве, так как каморка моя на отшибе, и в ней можно помечтать на досуге, и никто тебе не помешает. Но уединяться у меня нет никакой потребности: мне хорошо с этими почтенными людьми, которые меня горячо любят.

У них весьма живой ум, как впрочем, у большинства здешних жителей. Они интересуются общественными делами, и порой я даже удивляюсь, что в этих горах живут крестьяне, у которых столько познаний, совершенно бесполезных в их занятиях и чуждых образу жизни.

Но те местные обитатели, что живут в маленьких хижинах среди скал — крестьяне, пастухи, землепашцы, — напротив, ведут тупую, безрадостную жизнь, какую трудно себе представить. На днях я спросила у одной женщины, как называется река, которая в ста шагах от ее дома срывается со скалы, образуя величественный водопад.

— Это вода, — ответила женщина.

— Но у этой воды есть название?

— Пойду спрошу у мужа. Сама-то я не знаю — мы, женщины, всегда зовем эти реки водою.

Ее муж сумел мне сказать название горного потока и водопада, ко когда я спросила, как называются горы на горизонте, он ответил, что

понятия не имеет, так как никогда там не был.

— Но вы, должно быть, слышали, что это Севенны.

— Может, и слышал. Есть там Мезенк и Жербье де Жон — только распознать их не умею.

Я показала ему эти горы. Ведь узнать их очень легко: Мезенк — самая высокая вершина, а Жербье де Жон — красивый конус. Говорят, в кратере его растут в изобилии осока и камыш³. Чудак даже не взглянул в их сторону. Ему было совершенно безразлично. Он сводил меня к пещерам «первобытных дикарей»: они напоминают галльские или кельтские гроты, выдолбленные в скале так умело, как роют животные пустынь свои логова, — если не знать тропинки, которая ведет к этим пещерам, по этой скале можно ходить целый день, смотреть во все глаза и ничего не увидеть. Ах, дорогая моя, я теперь тоже вроде «первобытного дикаря», который, боясь нападения неприятеля, прятался в каменном вертепе.

Что там не говори, а жители Ла Роша, по-моему, прямые потомки тех бедных кельтов, что хоронились в этих скалах и как бы заживо замуровывали себя в них. Эти пещеры нам показывала местная женщина, и когда я увидела ее голые ноги и тупой, ничего не выражающий взгляд, то невольно задалась вопросом: неужели действительно прошло три-четыре тысячи лет с тех пор, как ее давние предки селились на этих камнях.

Как видишь, я много гуляю, и ты напрасно боялась, что из осторожности я буду постоянно сидеть взаперти. Наоборот, читать здесь мне нечего, потому трачу все время на прогулки, и жители Лантриака скорее удивились бы моему таинственному затворничеству, нежели моей непоседливости. Да и встречи с местными обитателями меня не пугают — ты видела, в каком платье я уехала, и оно вряд ли привлечет чужое внимание. Кроме того, я хожу в черной фетровой шапочке с большими полями, которая закрывает мне лицо. При надобности могу надеть широкий темный капюшон: он у меня с собой, а когда погода капризничает, я закрываю им голову на прогулке. На велезианку я не похожа, но где бы я ни появилась, никто не смотрит в мою сторону.

Впрочем, для этих прогулок есть хороший предлог. Жюстина занимается мелочной торговлей и дает мне коробку с нитками и иголками, которые я распродаю, а Пейрак — он же ветеринар — лечит

заболевших животных. Поэтому я вправе войти в любой дом и наблюдать здешние нравы и обычаи. У меня почти ничего не покупают: местные крестьянки целыми днями плетут кружева — им даже некогда чинить белье своим мужьям и детям, как, впрочем, и свое собственное. Здесь ходят в лохмотьях и, кажется, гордятся этим. Жители так неистово набожны, что питают отвращение ко всякому благополучию, в том числе и к чистоте, считая ее греховным излишеством. Они прижимисты и в то же время не лишены кокетства, и если бы Жюстина давала мне продавать украшения, от покупательниц не было бы отбою — ведь их гораздо больше привлекают безделушки, нежели башмаки и белье.

Все они плетут чудесные черные и белые кружева, точно такие, как, помнишь, плела у нас дома Жюстина. Приезжие дивятся изумительным работам, которые созданы руками бедных кружевниц, и возмущаются мизерным вознаграждением, которое те получают. Если б этим кружевницам разрешили продавать свои изделия каждому встречному, они с радостью отдали бы за двадцать су то, что в Париже стоит двадцать франков. Но это им строго запрещено. Скупщик сам назначает цену и забирает у них все кружева оптом, ибо снабжает их шелком, нитками и образцами. И сколько ни предлагай бедной труженице хорошую плату и материал, она лишь вздыхает, смотрит на деньги и, качая головой, твердит, что если иметь дело с частными лицами, которые заказывают довольно редко, она рискует потерять постоянную работу у своего хозяина. Местные женщины очень набожны, а возможно, делают вид. Одни искренно клянутся приснодевой и святыми угодниками ничего не продавать в частные руки, и покупатели принуждены считаться с их обещанием. Другие, притворяющиеся ревностными богомолками, живут под неусыпным надзором духовенства — его тут великое множество в самых безлюдных местах. Здешние монастыри многих занимают работой, причем на условиях, гораздо более выгодных для кружевниц, чем предлагают скупщики кружев. Поэтому на папертях иной раз сидят кружком целые крестьянские общины, и кружевницы, ловко перебирая своими коклюшками, бормочут молитвы или тянут латинские псалмы, что, однако, не мешает им с любопытством глазеть на прохожих, пересыпая пересуды словами *ora pro nobis*⁴, с которыми

обращаются к монашенкам различных орденов, следящим за их работой.

Как правило, местные женщины добры и гостеприимны. Особенно мне нравятся их дети, и когда они болеют, я с радостью помогаю их лечить. Здесь царит либо полное равнодушие к медицине, либо страшное невежество по этой части. Крестьянки любят своих детей страстно, но без особой нежности. То и дело ловишь себя на мысли, что дети рождаются на свет для страданий.

На ремесло Пейрака тут большой спрос — благодаря ему я оказываюсь в самых неприступных горных уголках и вижу красивейшие в мире пейзажи, а порою и сама страна кажется мне сном... Впрочем, и жизнь моя тоже странный сон, не правда ли, сестричка?

Передвигаемся мы самым первобытным способом. У Пейрака есть маленькая повозка, которую он величает коляской: у нее полотняный верх, укрывающий нас от дождя. В этот рыдван Пейрак запрягает бесстрашного ослика или спокойную, выносливую лошадку. Одним словом, пока старший сын Жюстины, вернувшийся с военной службы из полка, где он подковывал артиллерийских лошадей, работает за отца в кузне, мы с Пейраком в любую погоду кочуем по горам и долам. Жюстина твердит, что эти разъезды мне весьма полезны и что я должна остаться тут навсегда. Она уверяет, что подыщет для меня занятие, которое даст мне хлеб насущный, и больше я не стану жить в услужении у знатных дам.

Увы, пока я чувствовала, что меня любят, и любила сама, мое положение не казалось мне унижительным. Ты думаешь, я не огорчаюсь от того, что моя бедная старая госпожа больше не благословляет меня по утрам, думаешь, не тревожусь, не опасаясь за нее? Ведь сердце подсказывает мне, что маркиза не может без меня жить. Дай бог, чтобы она поскорее забыла свою компаньонку да нашла на ее место новую особу, которая не станет смущать ее покой! Только сумеет ли она заботиться о ее душе так, как заботилась я? Сможет ли потакать причудам маркизы, веселить ее в часы досуга, разговаривать с ней о сыновьях, о которых она так любит потолковать? Приехав к Жюстине, я полной грудью вдыхала свежий воздух, любовалась этой суровой природой, о которой давно мечтала, и говорила себе: вот ты и свободна! Иди куда хочешь, молчи, если угодно, больше не надо по

десять раз на дню писать одно и то же письмо десяти разным корреспондентам, не надо жить в теплице, дыша едким запахом цветов и растений, которые возвращены на удобрения или наполовину сгнили под парниковыми рамами. Пей этот воздух, напоенный ароматом цветущего боярышника и тимьяна... Да, я твердила себе эти слова, но не испытывала радости. Перед глазами стояла бедная одинокая госпожа — она была грустна и плакала, вероятно, оттого, что по ее вине я пролила столько слез.

Но она так хотела, видимо, так и должно было быть! Я не вправе осуждать ее за этот порыв несправедливости и досады. Ведь мать заботилась о своем сыне, а такой сын достоин любой материнской жертвы. Вероятно, она считает меня жестокой и неблагодарной за то, что я пренебрегла ее планом, и я часто спрашиваю себя: может быть, стоило исполнить ее волю, но тотчас утешаюсь тем, что цели бы я не достигла. Маркиз де В*** не из тех, от кого можно отделаться презрительным словом или равнодушной фразой. Впрочем, разве я посмела бы так разговаривать с человеком, который, не открывая своих чувств, окружил меня таким уважением и такой деликатной привязанностью. Сейчас даже я не могу найти тех нежных слов, чтобы выразить ему, сколь священны для меня его счастье и покой госпожи. Нет, мой язык слишком безыскусен. А может быть, маркиз не понял бы моих чувств и, обманувшись той подлинной дружбой, которую я к нему питаю, вообразил, что я жертвую собой из чувства долга, а возможно, моя твердость обидела бы его, ибо он принял бы ее за показную добродетель, к помощи которой он никогда не вынуждал меня прибегнуть!.. Нет, нет! Этого не могло и не должно было быть!

Если я правильно поняла, маркиза хотела, чтобы я сказала ему, будто связана с другим человеком и люблю его. Господи, пусть она теперь выдумывает все, что ей угодно. Пускай бесславит мою жизнь и честь, если ей нужно! Я расчистила ей поле для действий.

Камилла, ты обязательно встретишься с маркизом, наверняка уже видела его после того первого визита, когда тебе было так трудно играть навязанную роль. Ты пишешь, он был как потерянный, и ты очень жалела его... Теперь, думаю, он уже успокоился — у него столько душевных сил! Должен же он понять, что я не могу его видеть! Однако будь с ним осторожна — он человек проницательный. Скажи, что у меня холодное сердце... Нет, не надо, он не поверит.

Лучше скажи, что гордость моя непреклонна. Да, я горда и хорошо это знаю! А будь я иною, разве была бы достойна его привязанности!

А может быть, его близкие хотели, чтобы я повела себя так, что потеряла бы уважение маркиза? Нет, госпожа этого не хотела: она слишком честна и целомудренна. Но герцог! Теперь я вижу в новом свете многое, чего раньше не понимала. Герцог — замечательный человек. Брата он обожает, и думаю, что жена его, этот суший ангел, очистит от скверны его жизнь и помыслы. Но в Севале, когда он молил меня спасти брата любой ценой... Теперь, когда я об этом вспоминаю, от стыда у меня горит лицо!

Ах, только бы дали мне исчезнуть из их жизни и все забыть! Целый год я чувствовала себя счастливой, благопорядочной и спокойной! Но один день, один час испортили все! Одно слово госпожи де Вильмер отравило мои воспоминания. Я хотела их сохранить чистыми, а теперь боюсь беречь свою память. Как ты была права, сестричка, когда говорила, что моя целомудренная душа никому не нужна и что я Дон Кихот в юбке. Эти события послужат мне добрым уроком, и отныне я буду остерегаться не только любви, но и дружбы. Иногда приходит на ум такая мысль: не порвать ли всякую связь с этим миром, полным опасностей и разочарований, и не терпеть ли свою нищету с еще большим смирением, чем делала досель? Я вполне могла бы устроить свою жизнь в этом диком крае. Жюстина думала, что я буду учительствовать в местной школе, но ее надежды напрасны: здесь над всеми тиранствует духовенство, и монашенки не позволят мне учить детей даже в Лантриаке; но я без особого труда нашла бы в городке частные уроки или считала бы на счетах в торговом доме.

Но прежде всего я должна твердо знать, что меня забыли, и когда мое имя истлеет в памяти семейства де Вильмер, нужно будет позаботиться о наших детях, которые не выходят у меня из головы. Ты только не тревожься, дорогая! Я найду способ одолеть все невзгоды — ведь тебе хорошо известно, что я не падаю духом и сохраняю мужество. Два месяца ты проживешь вполне безбедно, а мне здесь ничего не потребуется. Не огорчайся, дорогая. Будем вместе уповать на господа бога, а ты уповай на свою сестру, которая так тебя любит».

Каролина недаром боялась, что господин де Вильмер примется расспрашивать ее сестру. Он уже дважды наведывался в Этамп, но ограничился лишь наблюдением за поведением Камиллы и разгадкой ее недомолвок. Теперь он знал наверняка, что госпоже Эдбер известно, где скрывается ее сестра, и что исчезновение беглянки ее ни капли не тревожит. Камилла же держала про запас и не показывала маркизу письмо, в котором Каролина сообщала о том, что нашла себе место за пределами Франции. В изменившихся чертах маркиза госпожа Эдбер увидела столько страдания и скорби, что у нее не поднималась рука нанести последний удар своему покровителю и опекуну ее детей. Кроме того, Камилла не сочувствовала сестринской щепетильности и не понимала всей гордости Каролины. Она не смела осуждать ее, но не видела большого преступления, если Каролина пренебрегла бы недовольством госпожи де Вильмер и против ее воли сделалась бы супругой маркиза. Камилла рассуждала так: «Поскольку маркиз серьезно решил жениться, а мать так его любит, что не смеет открыто воспротивиться ему, поскольку маркиз — взрослый человек и хозяин своего состояния, я не понимаю, почему Каролине было не воспользоваться своим влиянием на старую госпожу и, пустив в ход ум, красноречие и неоспоримые личные достоинства, исподволь не убедить маркизу смириться с этим браком... Увы, бедняжка Каролина при всем ее мужестве и преданности чересчур щепетильна, она погубит себя, чтобы помочь нам жить, а между тем, при известной ловкости и терпении, она могла бы найти собственное счастье, а заодно осчастливить всех нас».

Как видит читатель, то была другая, вполне здравая теория, которую он может сравнить со взглядами Пейрака и Жюстины. Читатель волен выбирать ту теорию, которая ему покажется совершенной, но рассказчик признается, что позиция Каролины ему больше по душе.

Робкие намеки на это положение, которые делала госпожа Эдбер, дошли до сознания маркиза, и он понял, что Камилла полностью в курсе дела. Маркиз стал разговаривать с ней откровеннее, и Камилла,

приободрившись, довольно неискусно спросила маркиза, готов ли он просить руки Каролины, если воля госпожи де Вильмер останется непреклонной. И если бы маркиз дал ей слово, Камилла, наверняка, выдала бы тайну своей сестры.

— Если бы я был уверен, — твердо ответил господин де Вильмер, — что мадемуазель де Сен-Жене любит меня и что ее счастье зависит от одной моей решимости, я сумел бы сломить упорство моей матушки. Но вы лишаете меня всякой надежды! Дайте мне ее и тогда увидите...

— Я? — воскликнула удивленная Камилла. Госпожа Эдбер была уверена, что разгадала секрет Каролины, но сестра так самолюбиво хранила его, не допуская никаких расспросов, что Камилла не смела оскорбить достоинство Каролины.

— Я знаю обо всем не больше, чем вы, — продолжала она. — У Каролины такая сильная душа, что в нее не всегда можно проникнуть.

— У нее и вправду такая сильная душа, что она никогда не согласилась бы носить мое имя без горячего благословения моей матушки, — сказал маркиз. — Это я знаю. Больше ничего не говорите — я буду действовать один. У меня к вам одна-единственная просьба: позвольте мне заботиться о благополучии вас и ваших детей, пока дела окончательно не прояснятся. И еще... простите мою навязчивость, но я очень боюсь, как бы мадемуазель де Сен-Жене не осталась без средств и не попала в такую нужду, при одной мысли о которой я холодею. Облегчите мне это горе... Позвольте оставить вам небольшую сумму, которую вы мне вернете, если она не понадобится, а в случае необходимости пошлете деньги Каролине как бы от себя.

— Но это совершенно невозможно, — ответила Камилла. — Она обо всем догадается и никогда мне этого не простит.

— Я вижу, вы очень боитесь ее.

— Боюсь, потому что бесконечно уважаю.

— Значит, совсем как я! — воскликнул маркиз, прощаясь с госпожой Эдбер. — Я боюсь Каролину так, что даже не смею ее разыскивать, а между тем, я должен найти ее или умереть!

А немного погодя между маркизом и госпожой де Вильмер состоялось довольно бурное объяснение. Хотя Урбен видел, как грустна его матушка и как она страдает, сожалея о Каролине во сто раз больше, чем смела в том признаться, хотя Урбен выжидал удобный

момент для разговора, объяснение произошло по вине неизбежных обстоятельств против его воли и вопреки желанию маркизы. Положение создалось такое напряженное, что этот разговор был неминуем. Госпожа де Вильмер призналась Урбену, что у нее внезапно возникло предубеждение против нрава мадемуазель де Сен-Жене и что когда пришло время сдержать слово, данное сыну, она дала почувствовать Каролине, что сама горько страдает от этого. Расспросы маркиза становились все горячее, диалог все накалялся, и доведенная до отчаяния госпожа де Вильмер невольно выразила свое осуждение Каролине. Несчастливая допустила ошибку, которую могла простить ей маркиза, ее друг и покровительница, но из-за этой оплошности нельзя было даже думать о браке Каролины с маркизом.

Услышав такую клевету, маркиз преисполнился решимости.

— Это бесчестная ложь! — воскликнул он, весь дрожа от гнева. — И вы могли ей поверить? Значит, клеветник действовал искусно и дерзко! Матушка, вы должны сказать мне все, так как я не намерен поддаваться этому обману.

— Нет, сын мой, больше я не скажу вам ничего, — твердо ответила госпожа де Вильмер, — и каждое слово, которое вы произнесете, я сочту за отсутствие сыновней привязанности и уважения ко мне.

Маркиза была непроницаема. Она поклялась Леони не выдавать ее и вдобавок больше всего на свете боялась посеять раздор между сыновьями. Герцог так часто говорил ей при Урбене, что никогда не добивался и не получил ни одного нежного взгляда Каролины! Маркиза была уверена, что эту ложь Урбен никогда не простит брату. Ей было известно, что маркиз избрал герцога своим конфидендом и что тот, тронутый его горем, заставлял свою жену разыскивать Каролину по всем парижским монастырям. «Герцог упорно молчит, — думала маркиза, — и даже не отговаривает жену с братом от этих нелепых поисков, а между тем он должен был бы во всем признаться маркизу и вылечить его от любви. Теперь все зашло слишком далеко, подобные признания рискованны, и, если я открою правду, я могу посорить братьев, которые так любят друг друга».

А Каролина меж тем писала своей сестре:

«Ты в ужасе оттого, что я живу в стране, где меня всюду подстерегает опасность, и спрашиваешь: неужели этот край так прекрасен, что стоит постоянно рисковать жизнью. Во-первых, когда со мной Пейрак, мне ничего не угрожает. Конечно, дороги здесь ужасны, но достаточно широки для местных повозок. Пейрак, впрочем, очень осторожен. Когда он чувствует, что не может измерить глазом нужное расстояние, для пущей безопасности он прибегает к такому способу: он вручает мне вожжи, слезает на землю, берет свой бич, на ручке которого есть зарубка, обозначающая точную ширину нашей повозки, и, пройдя немного вперед, измеряет ручкой расстояние между скалой и пропастью, а иногда расстояние между двумя пропастями, лежащими по обеим сторонам. Если дорога шире на один сантиметр, чем нам необходимо, он, сияя от радости, возвращается назад, и мы едем во весь опор. Когда же дорога на один сантиметр уже, Пейрак велит мне спешиться и проводит повозку, держа лошадь под уздцы. Уверяю тебя, что ко всему этому легко привыкаешь и даже не беспокоишься. Здешние лошади смелы и послушны. Они не хуже людей чуют грозящую опасность, и несчастные случаи тут такая же редкость, как на равнине.

В прежних своих письмах я немного преувеличила рискованность таких поездок, но сделала это из небольшого страха, от которого вполне избавилась, и теперь даже нахожу его беспричинным.

Что касается красоты Веле, я никогда не сумею тебе ее описать. Я даже не предполагала, что в самом сердце Франции есть такие удивительные места. Веле гораздо красивее Оверни, которую я видела по дороге, а у городка Пюи, вероятно, единственное в своем роде расположение: он построен на застывшей магме, которая, словно вырвавшись из его центра, образовала некоторые городские строения. Это поистине чертоги великанов, а те здания, что воздвигнуты людьми на вулканических склонах, или даже на вершинах пирамид из окаменевшей лавы, как бы вдохновлены величием и своеобразием местности.

Собор выстроен в чудесном романском стиле; он того же цвета, что скала, и лишь белая и синяя мозаика весело разнообразят его фронтон. Собор расположен так, что издали кажется исполинским сооружением, поскольку добраться до него можно лишь по ступенькам, вырубленным в скале на головокружительной высоте.

Внутренность храмины потрясает своей торжественной полутьмой и изысканной мощью. Оказавшись под этими грозными, зловещими куполами, рядом с черными голыми колоннами, я впервые поняла и ощутила весь ужас средневековья. Когда я вошла в храм, бушевала страшная буря. Молнии адским огнем вспыхивали на дивных витражах, так что по полу и по стенам бежали разноцветные блики, сверкающие как драгоценные камни. Раскаты грома, казалось, исходили прямо из алтаря, словно неистовый гнев обуял самого Иегову... Но меня это не пугало. Ведь истинный бог, которого мы любим, полон милосердия к своей слабой пастве. Я молилась господу, уповая на его милость, и после молитвы почувствовала, как силы прибавились во мне. Что же до этих прекрасных храмов, вполне понятно, что сегодня они выражают слово «таинство», и с него возбраняется снимать покровы... Если бы здесь был господин де Вильмер, он сказал бы мне...

Но теперь уже не до лекций по истории и философии религии. Мысли господина де Вильмера больше мне не служат книгой, которая помогала постигать прошлое и учила предугадывать будущее.

Как видишь, благодаря любезности милого Пейрака, который мне показывает красоты Веле, а также благодаря широкому капюшону, закрывающему лицо, я могу смело гулять в городке и в его предместьях. Городок очень живописен: это настоящий средневековый город, в котором полно церквей и монастырей. Собор окружен множеством древних строений, где под таинственными аркадами и в уступах скалы, которая их поддерживает, видны монашеские кельи, сады, лестницы, и тихо снуют безгласные тени, закутанные в покрывала или сутану. Там царит странная тишина, там разлито смутное дыхание прошлого, бросающее в дрожь и холод. Это не дыханье бога, источника душевной свободы и милосердия, — здесь веет тем, что во имя господина бога сурово разрывает узы братства и человечности. Насколько мне помнится, наша благочестивая жизнь в монастыре была радостной и улыбочивой; здесь же она мрачна и внушает трепет.

Из этого собора целый час спускаешься вниз, пока доберешься до предместья Эгиль, где возвышается другой памятник, творение природы и истории одновременно. Это самый странный памятник в мире: вулканическая «сахарная голова» вышиной в триста футов.

Подниматься туда надо по витой лестнице до крошечной, но прелестной византийской часовенки. Говорят, она выстроена из развалин бывшего храма Дианы и стоит на его месте.

Об этой часовенке ходит замечательная легенда. Некая молодая девушка, христианка, спасаясь от преследований басурмана, бросилась с вершины вниз, но не разбилась, а тотчас поднялась на ноги. Это чудо наделало много шума, и девушку признали святой. Сердце ее преисполнилось гордыней, и она дала обет снова кинуться в бездну, дабы все воочию убедились, что ей покровительствуют ангелы. Но на сей раз небо презрело ее, и она разбилась, как ничтожный идол...

Гордыня! Да, гордых людей господь предоставляет самим себе... А без божьей поддержки что они могут?! Только не говори, что мною движет гордыня... Это неправда. Я никому ничего не хочу доказать и только прошу, чтобы меня забыли и не страдали из-за меня.

Неподалеку от Пюи есть деревенька, без которой окрестный пейзаж во многом проиграл бы. Над ней высится одна из тех одиноких и прекрасных скал, которые тут встречаются повсеместно. Эта скала зовется Эспали; на ней тоже сохранились развалины феодального замка и кельтских гротов. В одном из них живут бедные старые супруги. Живут в ужасающей нищете — прямо в скале, и отверстие в ней заменяет им печную трубу и окно. Зимними ночами они затыкают дверь соломой, а летом — юбкой старой женщины. Жалкое ложе без простынь и матрацев, две скамеечки, маленькая железная лампа, прялка, два-три глиняных горшка — вот и вся их утварь.

В двух шагах от этой скалы находится просторный дом отцов-иезуитов, который называется «Рай». У подошвы скалы бежит ручей, который вместе с песком несет драгоценные камешки. Старушка продала мне за двадцать су пригоршню гранатов, сапфиров и гиацинтов, которые я берегу для Лили. Камешки очень маленькие и не имеют большой цены, но в скалах этих, должно быть, скрыты драгоценные залежи. Может, отцы-иезуиты и найдут их, — я же не рассчитываю сделать это открытие и поэтому должна приискать себе работу. Вот уже несколько дней Пейрак только и говорит об одном плане, который возник у него как раз у подножия Эспали.

А произошло вот что: как-то раз, гуляя там, я увидела маленького мальчика, игравшего на коленях красивой, здоровой и веселой крестьянки, и сразу полюбила его. Этот ребенок так сильно влечет меня к себе, что я готова сравнить его с Шарло, хотя они и не похожи. Но он, как и Шарло, отличается той застенчивой мягкостью и кошачьей грацией, которые пленили мое сердце. Когда я показала мальчика Пейраку, заметив, что его содержат в большой чистоте и что его мать не плетет кружев, а всецело отдает себя ребенку, точно понимает, какое это сокровище, Пейрак ответил:

— Вы угадали. Этот мальчуган я вправду для Рокбертихи сокровище. Спросите у нее, чей он, и Рокбертиха скажет, что это сын ее сестры, живущей в Клермоне. Только это враки. Малыша ей отдал на воспитание один господин, которого никто не знает, но он хорошо платит ей, чтобы мальчика кормили и растили как маленького принца. Поэтому, как видите, Рокбертиха хорошо одета и не работает. Правда, она и раньше не знала нужды: муж ее служит сторожем в замке Полиньяк — видите его большую башню и развалины вон на той скале, которая еще шире и выше, чем Эспали. Там Рокбертиха и живет, а встретили вы ее тут потому, что у нее теперь много свободного времени и она гуляет где хочет. Родная мать этого мальчугана, видно, померла, так как никто о ней не слышал ни слова, но отец навещает ребенка, дает деньги и просит Рокбертиху ни в чем не отказывать его сыну.

Как видишь, дорогая, тут целый роман. Это, вероятно, и привязало меня к малышу — ведь я же, как ты говоришь, особа весьма романтическая. Но в этом малыше и вправду есть что-то замечательное. Он не отличается крепким сложением — говорят, когда его привезли сюда, в нем чуть душа теплилась. Теперь он посвежел, а горы так полезны его здоровью, что отец его, приехавший в прошлом году, раздумал увозить мальчика отсюда и решил подождать еще год, чтобы он окреп окончательно. У малыша лицо задумчивого ангела, выражение глаз не по возрасту серьезно, а в движениях неизъяснимая грация.

Пейрак, видя, что я пленилась мальчиком, почесал затылок и сказал:

— Если вам так по сердцу ребятишки, бросили бы вы читать вслух старым дамам, от которых одна морока, да подыскали бы себе

мальчугана вроде этого! Воспитывать его можно вместе с детками Камиллы, жили бы вы со своей семьей, ни под кого не подлаживаясь.

— Ты забываешь, дорогой Пейрак, что мне, вероятно, еще долго нельзя показываться у сестры!

— Хорошо, тогда Камилла могла бы сюда приехать, пожила бы с нами, или вы годок-другой погостили бы у нас. Жюстина помогла бы обихаживать мальчика, а вам только пришлось бы воспитывать его да учить уму-разуму... Постоите, раз этот мальчонка вам нравится и вы прямо голову потеряли, мне пришло на ум вот что: отец приедет за ним на днях, я могу с ним о вас поговорить.

— Ты с ним знаком?

— Как-то раз я возил его в горы. Он показался мне человеком славным, только больно уж он молод, чтоб самому растить трехлетнего ребенка. Ему все равно придется отдать его в женские руки, но у Рокбертихи он тоже дольше не может держать малыша, так как они не сумеют научить его тому, что должен знать этот маленький господин. Вам такое дело вполне с руки, и отцу его никогда не найти лучшей матери для своего ребенка. Стоит понадеяться (что на языке Пейрака означает: «стоит подождать»). Я буду следить за замком Полиньяк, и как только отец малыша объявится, я сумею поговорить с ним как надо.

Пускай добрые Пейрак с Жюстиной тешатся этой надеждой, я же не питаю никаких иллюзий. Ведь этот таинственный господин наверняка стал бы расспрашивать обо мне, я же, не будучи уверена, что он хотя бы отдаленно не знает тех людей, от которых я скрываюсь, не хочу давать ему в руки никаких сведений о себе. Только как мне разведать, что он никого не знает? Тем не менее замысел Пейрака сам по себе очень недурен. Воспитывать несколько лет ребенка вместе с твоими детьми мне гораздо больше по душе, нежели снова пойти в услужение к чужим людям. Госпожа д'Арплад, знающая все светские тайны, без труда нашла бы мне такого пансионера, но мне не хочется обращаться к ней с этой просьбой. Она невольно может мне опять принести несчастье».

Через несколько дней Каролина снова писала сестре:

«Полиньяк, 15 мая.

Вот уже пять дней я живу среди величественнейших развалин средневековой крепости, на вершине громадной скалы из черной лавы, о которой я упоминала, когда описывала тебе Пюи и Эспали. Ты еще, пожалуй, решишь, что положение мое переменялось, а мечта исполнилась. Ничего подобного. Я действительно живу подле маленького Дидье, но ухаживать за ним я вызвалась сама, и все мои заботы о нем совершенно бескорыстны, так как отец его или покровитель до сих пор не приехал. А произошло вот что.

Мне снова захотелось посмотреть на малыша, а заодно и немного познакомиться с тем, как он живет; к тому же у меня было давнее желание увидеть вблизи замок Полиньяков, который издали кажется городом великанов, построенным на зловещей скале. Здесь это самая мощная средневековая цитадель, гнездовье того племени стервятников, чьи разбойные налеты приводили в ужас Веле, Форес и Овернь. По всей провинции древние хозяева Полиньяка оставили о себе мрачные воспоминания и предания, достойные сказок о людоедах и Синей Бороде. Эти феодальные тираны обирали прохожих, грабили церкви, убивали монахов, похищали женщин, жгли деревни, и так из поколения в поколение на протяжении нескольких веков. Об этом маркиз де Вильмер написал одну из самых замечательных глав в своей книге и сделал вывод, что потомки Полиньяков, неповинные, конечно, в злодеяниях предков, как бы искупили своей плачевной участью их варварские победы.

Цитадель Полиньяков неприступна. Скала круто обрывается со всех сторон. Деревня лепится у подошвы того холма, на котором расположена эта глыба застывшей магмы. От Лантриака это довольно далеко, а из-за непроходимых оврагов расстояние значительно увеличивается. Тем не менее, пустившись в дорогу на рассвете, мы к полудню добрались до места, и наша лошадка подвезла нас к

потайной дверце подземного входа. Пейрак оставил меня, а сам пошел осматривать животных: ведь он слывет за опытного ветеринара, и где бы он ни появился, всюду нужна его помощь.

Десятилетняя девочка открыла мне дверь, но когда я спросила, можно ли видеть жену Рокберта, крошка, заливаясь слезами, ответила, что ее мать умирает.

Я побежала в перестроенную часть замка, где живет семья Рокберта, и увидела, что женщина лежит в горячке и бредит. Малыш Дидье играл в комнате с другим ребенком бедной Рокбертихи; тот очень веселился, не понимая, что делается с его матерью, хотя и был старше Дидье, а этот мальчик, то смеясь, то плача, смотрел на кровать больной с таким удивлением и тревогой, на какую только способен трехлетний мальчуган. Увидев меня, он подошел, но вместо того чтобы, немного поломавшись, поцеловать меня, как то было в первый раз, уцепился за мое платье и потянул за подол своими ручонками, крича «мама» таким жалобным голоском, что все в моей груди оборвалось.

Он наверняка предупреждал меня о состоянии приемной матери. Я подошла к кровати. Рокбертиха никого не узнавала и не могла говорить. Через несколько минут вернулся ее муж и страшно перепугался, так как за последние часы жене стало хуже. Я велела ему послать за доктором и сиделкой; он тотчас все сделал, а я, боясь, не заболела ли Рокбертиха тифом, увела детей из комнаты.

Доктор, приехав через два часа, похвалил меня, сказав, что болезнь Рокбертихи покамест определить затруднительно и что детей следует перевести в другой дом. Мы с Пейраком занялись этим сами, так как бедный Рокберт совсем потерял голову и только и делал, что теплил свечи в деревенской церквушке да бормотал по-латыни молитвы, которые казались ему целительнее любых лечебных предписаний.

Когда Рокберт немного успокоился, было уже четыре часа дня, и нам с Пейраком нужно было уезжать. Ночи теперь безлунные, и к тому же надвигалась гроза. Тогда бедняга Рокберт принялся сетовать, говоря, что он пропал, если кто-нибудь не позаботится о детях, а главное, о дитятке (так он называл Дидье), об этой курице, которая несла золотые яички в его хозяйстве. Ведь за ним нужен особенный уход; он не такой крепыш, как местные дети, к тому же непоседа,

всюду лазает, а эти развалины замка — настоящий лабиринт пропастей, где ни на минуту нельзя терять из виду маленького путешественника. А его даже некому поручить: из-за денег, которые малыш приносит в дом, развелось полно завистников и врагов, просто беда. Словом, тогда Пейрак и шепни мне: «Послушайте, кажется, ваше доброе сердце и мой замысел в полном согласии друг с другом. Оставайтесь-ка здесь, разместиться тут есть где, а завтра я приеду и погляжу, что да как, и коли вы тут будете не нужны, я увезу вас».

Признаться, я только и ждала от Пейрака этих слов, точно долг и внутренняя потребность повелевали мне остаться при этом мальчике.

Пейрак приехал на следующий день, но так как я видела, что жена Рокберта еще не скоро встанет с постели, то решила повременить с отъездом, наказав Пейраку приехать за мной в конце недели.

В просторной зале, прежде, по-моему, служившей помещением для стражи, а ныне, для большего удобства, разделенной фермерами на множество комнат, я жила припеваючи.

Деревенские постели очень чистые, а хозяйство я веду сама. Целый день у меня на руках трое детей. Девочка под моим присмотром стряпает, я слежу, чтобы за ее матерью был хороший уход, сама мою и одеваю Дидье. Как и остальные дети, он ходит в голубой кофточке, но одет с большей тщательностью с тех пор, как этим занялась я; душа моя так сильно привязывается к этому ребенку, и мне даже страшно подумать, что настанет час нашей разлуки! Ты знаешь, как я люблю детей, к Дидье же я чувствую особенную нежность. Шарло безумно ревновал бы меня к нему. Видишь ли, этот мальчик наверняка сын достойных родителей. Он знатного и благородного происхождения — лицо его отличается слегка матовой белизной, чуть тронутый румянцем, как это бывает у белых садовых роз, глаза карие, пленяющие разрезом и выражением, и целая копна черных вьющихся волос, тонких как шелк. Ручонки его точно изваяны скульптором, и Дидье их никогда не пачкает. Он не возится в земле, ни до чего не дотрагивается, и вся жизнь его проходит в созерцании мира. Я уверена, что размышляет он не по возрасту здраво, только не может свои мысли выразить, хотя для своих лет очень бегло говорит по-французски и на здешнем наречии. Он усвоил местное произношение, но в его устах оно звучит мягко, с легкой картавостью.

Он горазд на трогательные выдумки, только бы делать то, что хочет, а хочет он быть на воле, лазать по этим развалинам или бегать по холмистым склонам: там он усаживается, разглядывает цветочки и особенно — разных букашек, но не притрагивается к ним, а следит за каждым их движением с таким видом, точно интересуется всеми чудесными проявлениями жизни; его же сверстники только и думают, как бы раздавить и уничтожить все, что попадает под руку.

Я попыталась преподать ему начатки чтения, так как уверена (возможно, отец Дидье думает иначе), что чем раньше начинают ребенка учить грамоте, тем легче развивается его внимание, которое так трудно воспитать, когда он окрепнет телесно и духовно. Я уже убедилась в уме и любознательности Дидье, они просто удивительны, а с нашей методой, которая так чудесно помогала растить нам твоих детей, я уверена, что выучила бы Дидье читать за один месяц.

И потом, этот ребенок — весь душа. Наша взаимная симпатия растет действительно не по дням, а по часам, и я не знаю, что с нами будет, когда придет пора расстаться.

Хотя я скучаю по Жюстине и Пейраку, мне здесь очень нравится. Воздух такой чистый, что белые камни, мешаясь с обломками вулканического песчаника, так и сверкают, словно только что появились из каменоломни. И потом, внутри этого гигантского замка полно самых разных диковин.

Надобно тебе сказать, что Полиньяки хвастливо утверждают, будто род их идет от самого Аполлона или от его жрецов по прямой линии и что, согласно преданию, здесь был храм этого бога, развалины которого существуют по сей день. Думаю, что стоит на них взглянуть, как сразу этому веришь. Весь вопрос в том, привезены ли обетные таблички и изваяния для украшения замка, как это делалось в эпоху Возрождения, или замок воздвигнут на останках храмины. Рокберт говорил мне, что здешние ученые спорят об этом уже пятьдесят лет, — я же склоняюсь на сторону тех, кто думает, что верхняя закраина колодца как бы служила устами бога, изрекавшего свои оракулы. Отверстие этого гигантского колодца, с которым неизвестно каким образом сообщается маленький колодец, было завалено исполинской головой классического стиля, и, по рассказам, из ее щербатого рта некогда звучал голос подземных пифий. Вероятно, так оно и было. Другие, правда, полагают, что эта голова

просто украшала фонтан, но они тоже не уверены в этом. Ради развлечения я срисовала это каменное лицо и вкладываю рисунок в письмо, а заодно набросала и портрет маленького Дидье во весь рост, заснувшего, раскинув руки, на лбу у бога. Дидье тут мало похож на себя, но по этому наброску ты сможешь судить о той странной и прелестной картине, от которой уже четверть часа я не отвожу глаз.

Здесь я совсем не читаю — под рукой нет восьми — десяти разрозненных томов, которые есть у Пейрака, нет даже его толстой, старой протестантской Библии. Я штопаю одежду моему мальчику, с которым мы неразлучны, мечтаю, грущу, не сетую и не удивляюсь своему новому положению, — мне тут хорошо, и это главное.

Приехал милый Пейрак и привез твое письмо. Ах, сестрица, мужайся, не то я совсем паду духом. Ты пишешь, что маркиз был бледен, плохо себя чувствует, что тебе жаль его и ты чуть не проговорила. Камилла, если тебе не под силу видеть страдания такого сильного духом человека, как маркиз, если ты не понимаешь, что только своим мужеством я могу ему помочь, я уеду, уеду на край света, и ты никогда не узнаешь, где я... Помни, что в ту минуту, когда на песке моего островка появится след чужеземца, я навсегда скроюсь, и тогда...»

Каролина не успела дописать фразу: Пейрак, только что вручивший ей письмо от госпожи Эдбер, воротился со словами:

— Вот и господин приехал.

— Что, что? — воскликнула Каролина, в странном волнении подымаясь с места. — Какой господин?

— Отец этого таинственного мальчугана, господин Бернье.

— Значит, тебе известно его имя? Здесь никто не знал его или нарочно утаивал.

— Нет, я сам-то не выпрашивал, но этот господин бросил свой чемодан на лавку у дверей Рокбертихи, и я невольно прочитал его имя.

— Бернье? Я его впервые слышу. Как ты думаешь, могу я взглянуть на этого господина?

— Вам надо повидаться с ним. Нужно потолковать о мальчонке... Самое время.

Пришел Рокберт и в один миг разрушил план Пейрака: господин Бернье велел привести сына, но, по своему обыкновению, удалился в отведенную ему комнату и не желает видеть посторонних людей.

— Все равно я скажу ему, как вы ухаживали за моей женой и малышом, — прибавил Рокберт. — Наверняка он даст мне для вас хорошие денежки. Впрочем, я и сам вас не обижу, будьте спокойны!

Он взял Дидье на руки и вышел, плотно прикрыв за собой дверь.

— Ну что ж, едем, — сказала Каролина, чуть не плача при мысли, что ей, вероятно, больше никогда не увидит Дидье.

— Погодите, — возразил Пейрак. — Давайте немного задержимся и посмотрим, как поступит этот господин, когда узнает, что вы целых пять дней нянчили его сына.

— Неужели ты не понимаешь, друг мой, что Рокберт не посмеет сказать ему об этом? Разве он может признаться господину Бернье, что во время болезни жены доверил ребенка посторонней особе? К тому же он с радостью продержал бы мальчика еще год. Так как же он даст нам сказать отцу, что его ребенок получит у нас не только лучший уход, но и воспитание, которое подобает его возрасту? Конечно, нет. И сама Рокбертиха, несмотря на мои заботы о ней, скажет, что никто меня не знает и что вообще я, может быть, авантюристка. Одним словом, рассчитывая на благодарность и доверие, мы, чего доброго, еще окажемся интриганам, которые домогаются нескольких су.

— Но когда мы от них откажемся, господин Бернье поймет, кто мы такие! Меня тут каждая собака знает, и каждому известно, что Самюэль Пейрак никогда не тянул руку за подачкой.

— Этот господин ничего об этом не знает. Поедем скорей домой, дорогой друг! Мне неприятно тут дольше оставаться.

— Как вам угодно, — сказал Пейрак, — лошадь я не распрягал, а отдохнет она в Пюи. Ну, все равно! Эх, послушались бы вы меня, барышня, посидели бы мы тут часика два, а там, глядишь, мальчонка стал бы искать вас да требовать — он ведь в вас души не чаёт, — мы бы к встретились во дворе. А там господин Бернье, глядишь, и заметит вас и, ручаюсь головой, сразу скажет: «Эта барышня не похожа на других. Надо с ней поговорить». А когда он заговорит...

Пейрак по пятам ходил за Каролиной, которая, твердо решив уехать, уже собрала вещи и направилась к парадной двери замка. Но,

проходя мимо скамьи, где еще лежали чемодан и дорожный плащ незнакомца, она прочитала имя, уже известное ей от Пейрака, изумленно всплеснула руками и в странном волнении бросилась прочь.

— Что с вами? — спросил ее простодушный Пейрак, берясь за вожжи.

— Так, глупости, — ответила Каролина, когда они уже выехали за ограду. — Мне вдруг показалось, что я знаю почерк того человека, который написал имя Бернье на чемодане.

— Ба, да написано-то печатными буквами!

— Ты прав, а я, верно, сошла с ума! Все равно — едем, едем, мой дорогой Пейрак!

Всю дорогу Каролину не оставляли тягостные раздумья. Странное волнение, которое охватило ее при виде этого нарочно измененного почерка, она приписала беспокойству, внушенному ей письмом Камиллы. Но теперь ее мучило другое. Господин де Вильмер никогда не говорил ей о том, что видел собственными глазами замок Полиньяков, однако в своей книге описал его превосходно и точно. На его примере маркиз показывал, как были могучи в средние века эти феодальные логова, и Каролина знала, что маркиз часто путешествует по провинции, дабы проникнуться духом разных исторических мест. Она тщательно перетряхивала свою память, стараясь вспомнить, не говорил ли ей маркиз о посещении замка Полиньяков. «Нет, — убеждала она самое себя. — Если б он мне об этом рассказывал, я наверняка обратила бы внимание на название Лантриак и Пюи, о которых мне писала Жюстина». Тогда Каролина принялась вспоминать, не говорила ли она в связи с замком о Лантриаке и Жюстине, но такого разговора не было наверняка, и Каролина успокоилась.

Но теперь уже другие мысли стали донимать ее. Откуда взялась эта любовь к чужому мальчику? Отчего в его глазах, повадках, улыбке она нашла что-то особенное? И разве мальчик не был похож на маркиза? И разве внезапная мысль заняться воспитанием этого ребенка, такая властная и неотвязная, не была подсказана ей инстинктивным желанием, которое было гораздо сильнее увещаний Пейрака и случайного стечения обстоятельств?

Но к этим тягостным раздумьям Каролины еще невольно примешивались тайные муки проснувшейся ревности. «Значит, у маркиза есть сын, дитя запретной любви, — думала она. — Значит, до нашего знакомства он страстно любил женщину. Значит, в его жизни есть великая тайна! Может, мать Дидье еще жива? Отчего тогда ее считают умершей?»

Лихорадочно углубляясь все дальше в свои предположения, Каролина вспомнила слова маркиза, оброненные им под кедром в Ботаническом саду, вспомнила, как он намекал на свою борьбу между сыновним долгом и другим чувством долга, другой любовью, которую он испытывал, вероятно, не к ней!

Невольно поддаваясь смятению все сильнее, Каролина тщетно старалась смириться со своей судьбой. Она любила, и больше всего ее терзала не надежда на счастье, а боязнь быть нелюбимой.

— Да что это с вами? — спросил Пейрак, научившийся угадывать все тревоги Каролины по ее лицу.

В ответ она забросала Пейрака разными вопросами об этом господине Бернье, которого тот видел всего один раз. Пейрак отличался наблюдательностью и хорошей памятью, но он обыкновенно обращал внимание только на тех людей, которые его интересовали. Поэтому он нарисовал портрет этого господина так неопределенно, что Каролина дальше своих догадок не пошла. Ночью она спала плохо, но к утру успокоилась и, пробудившись, убедила себя, что все ее вчерашние тревоги сущий вздор.

У Пейрака было много дел, и он не стал дожидаться, пока она встанет. Домой он вернулся уже затемно. Лицо его сияло.

— Наша затея продвигается, — сказал он. — Завтра господин Бернье будет здесь, но вы можете не волноваться: он английский моряк. Вы такого не знаете?

— Даже не слыхала, — ответила Каролина. — Значит, ты его видел?

— Нет, он ушел перед моим приездом. Но я видел Рокбертиху, которая поправляется и уже в полной памяти. Она мне и рассказала, что вчера вечером мальчонка сильно плакал и, даже засыпая, все спрашивал, где его Шарлетта. Отец заинтересовался, кто такая, Рокберту вроде бы не очень хотелось говорить о вас, но жена его — добрая христианка эта Рокбертиха! — с дочкой, которая вас очень

любит, сказали, что вы настоящий ангел, а господин Бернье ответил, что хочет поблагодарить вас и вознаградить. Он спросил, где вы живете: у нас он никогда не бывал, но узнал меня и пообещал приехать к нам очень скоро. А чтобы малыш уснул, посулил привезти ему Шарлетту.

— Из твоих слов я поняла только то, что этот иностранец придет и предложит мне деньги.

— И пускай предложит, тем лучше; тут-то вы ему и покажете, что вы не то, что он думает. Встретитесь, поговорите... Он уже многое о вас знает, а вы еще скажите ему, что вы барышня образованная, я же расскажу вашу историю, потому что она вас лишь украсит.

— Ни в коем случае, — горячо возразила Каролина. — Я все время только и делала, что скрывала свое имя. Как же я теперь доверю свою тайну первому встречному?

— Но ты же его не знаешь! — вмешалась Жюстина. — Коли вы договоритесь насчет этого мальчика, вы можете спокойно довериться этому господину. Зная его тайну, можно открыть ему и нашу. Какая ему корысть выдавать ее...

— Жюстина! — закричала мадемуазель де Сен-Жене, стоявшая у окошка. — Постой, господи, молчи... Вот он, господин Бернье, он идет к нам... О, друзья мои, спрячьте меня, скажите, что я уехала, что никогда не вернусь! Ведь если он увидит меня и заговорит... Неужели вы не понимаете, что я погибла?

XXIV

Жюстина последовала за девушкой, которая побежала в свою комнатку, и жестами показала Пейраку, чтобы тот принял маркиза и не терял присутствия духа.

Пейраку его занимать не приходилось. Он встретил господина де Вильмера спокойно, как полагается достойному человеку, имеющему суровое понятие о долге. О знакомстве маркиза с мнимой Шарлеттой не могло быть и речи: нужно было поскорее выпроводить маркиза, да так, чтобы он ничего не заподозрил, а если подозрения у него и были, их следовало рассеять. С первых же слов маркиза Пейрак понял, что тот ни о чем не догадывается. В ближайшие дни он собирался уехать со своим сыном, которого решил приблизить к себе, а покамест, воспользовавшись погожим утром, пешком прогулялся до Пейраков, чтобы погасить долг благодарности великодушной незнакомке. Он не предполагал, что дорога такая длинная, пришел немного позже, чем думал, и жаловался на легкую усталость: его лицо и в самом деле выглядело утомленным и болезненным.

Пейрак, почитавший гостеприимство превыше всего, сразу предложил ему выпить и поесть. Он кликнул Жюстину, успевшую уже прийти в себя, и маркиза усадили за стол, а он, воспользовавшись случаем щедро вознаградить хозяев, с радостью принял их хлебосольство. Он выразил сожаление, узнав, что Шарлетта уехала, но расспрашивать о ней у него не было особенных причин. Маркиз решил оставить для нее деньги, и Жюстина шепнула Пейраку, что надо принять их, дабы не вызвать у гостя удивление. Каролина всегда сумеет отправить их обратно. Пейраку, напротив, это казалось излишним — его гордость была оскорблена при одной мысли, что маркиз еще решит, будто эти деньги он берет за свои услуги.

Каролина слышала этот деликатный спор из своей комнатки. Голос маркиза бросал ее в дрожь, она даже не смела пошевелиться. Ей казалось, что господин де Вильмер узнает ее шаги. Маркиз едва притронулся к еде и, притворившись, что уже насытился, спросил, нельзя ли ему нанять лошадь, чтобы вернуться назад. На дворе уже совсем стемнело, и опять накрапывал дождь. Пейрак вызвался

проводить маркиза и вышел запрягать лошадей, но сначала тайком поднялся к Каролине.

— Очень мне жалко этого господина, — прошептал он. — Бедняга совсем расхворался, честное слово. Лоб весь в испарине, а он все норовит подсесть ближе к огню. Наверняка его бьет озноб. Дышит так, будто сердце у него от этого разрывается: все держится за грудь, через силу улыбаясь, а потом подносит руку ко лбу — совсем замучился.

— Господи! — воскликнула испуганная Каролина. — Если он заболел, это очень опасно... Его нельзя отпускать на ночь глядя. В повозке твоей трясет, дороги тяжелые. Потом холод, дождь, а у него горячка! Нет, нет, эту ночь ему нужно провести здесь... Только где? Он скорее ляжет спать на улице, чем будет ночевать в грязной гостинице. Остается только одно: задержать его и никуда не отпускать из дома. Отдай ему мою комнату, а я мигом соберу вещи и уеду к твоей невестке!

— У невестки или тут ночевать — все одно. Ночью он еще пуще расхворается, и вы, забыв про все на свете, прибежите к нему.

— Да, верно. Что же делать?

— Хотите, я скажу вам? Вы барышня здоровая и крепкая. Я отвезу вас к свояченице в Лоссонну. Там вы и переночуете, а завтра, когда он уедет, я вас оттуда заберу.

— Да, ты прав! — сказала Каролина, поспешно завязывая вещи в узелок. — Уговори его остаться и шепни своему сыну, чтобы тот запрягал Миньону.

— Миньону нельзя — она целый день на ногах. Возьмем мула.

Отдав все распоряжения, Пейрак вернулся к маркизу со словами, что дождь зарядил на всю ночь, и, перемигнувшись с Жюстиной, так участливо принялся уговаривать маркиза остаться, что тот согласился.

— Вы правы, друзья мои, — сказал он с горькой усмешкой. — Мне слегка нездоровится, а умирать я просто не имею права.

— У кого же есть такое право? — ответил Пейрак. — Но вы у нас не расхвораетесь и, уж конечно, не умрете, можете поверить мне на слово! Моя жена выходит вас. Комнатка наверху очень чистая и очень теплая, а если вам станет плохо, стукните в пол, — сразу услышим.

Жюстина поднялась наверх, чтобы приготовить комнату для маркиза и обнять бедняжку Каролину, которая от страха совсем

потеряла голову.

— Нет! — зашептала она. — Если он болен, как же я могу его бросить? Нет, это чистое безумие — я остаюсь.

— Ах, но этого Пейрак никогда не допустит, — ответила Жюстина. — Он человек твердый. Но сама подумай: может, Пейрак прав. Если вы разжалобитесь, вам с этим господином никогда не развязаться. И тогда... Я знаю, что вы, конечно, не сделаете ничего дурного, но его мать... И потом пересуды начнутся!

Каролина ее не слушала: Пейрак, войдя в комнатку, властно взял ее за руку и повел вниз по лестнице. Препоручив свою душу севенскому протестанту, Каролина была уже не в силах распорядиться ею.

Пейрак подвел Каролину к повозке и бросил туда ее узелок. В эту минуту Каролина вырвалась из его рук, кинулась в дом через заднюю дверь и увидела господина де Вильмера, сидевшего к ней спиной. Тут она остановилась — самообладание вернулось к ней. Да и поза Урбена немного успокоила Каролину. Маркиз сидел у огня и читал Библию Пейрака. Маленькая железная лампа, висящая над каминным колпаком, освещала его черные волосы, такие же вьющиеся, как у маленького Дидье, и кусочек лба, неизменно чистого и волевого. Болезнь немилосердно мучила маркиза, но он хотел жить, так как надежда не оставляла его.

— Вот и я! — сказала Каролина, вернувшись к повозке. — Он меня не заметил, но зато я видела его. Теперь мне стало легче. Едем! Но сначала поклянись мне честью, — добавила она у подножки, — что если этой ночью с ним случится припадок удушья, ты немедленно приедешь за мной, даже если для этого тебе придется загнать лошадь. Так нужно, понимаешь? Только я умею ухаживать за этим больным... Иначе он умрет у вас на руках и его смерть будет на вашей совести.

Пейрак дал ей слово, и они тронулись в путь. Погода стояла ужасная, и дорога совсем раскисла. Но Пейрак знал наизусть все ее ухабы и колдобины. Впрочем, ехать было недалеко. Пейрак устроил Каролину у родственницы и к одиннадцати часам вернулся домой.

Маркизу заметно полегчало: перед сном он побеседовал с Жюстиной так дружески и учтиво, что она была в полном от него восхищении.

— Знаешь, Пейрак, — сказала она, — сердце этого человека совсем как у... И я теперь понимаю...

— Молчи! — сказал Пейрак, знавший, как тонки половицы в верхней комнате. — Он спит, пора и нам ложиться.

В ночном Лантриаке царило безмолвие. Маркиз отдохнул превосходно и проснулся в два часа ночи, полностью избавившись от горячки. Он чувствовал себя совершенно успокоившимся, чего с ним давно уже не было: ему словно снился приятный, но уже отлетевший сон, под обаянием которого он все еще находился. Не желая будить хозяев, маркиз лежал неподвижно, разглядывая при тусклом свете лампы стены этой комнаты. Со времени исчезновения Каролины он никогда не представлял себе так ясно собственное положение, как теперь. В голове его теснилась тысяча решений, но, поразмыслив, он остановился на том, что должен жить для сына, и его детский облик вернул ему силы бороться с физическим недугом. За сутки в голове его созрел окончательный план. Он решил отвезти Дидье к госпоже Эдбер, оставить ей письмо для Каролины и уехать на некоторое время из Франции, чтобы мадемуазель де Сен-Жене могла безбоязненно вернуться к своей сестре в Этамп. В течение нескольких спокойных недель маркиза, вероятно, поймет свое заблуждение или, быть может, откроет тайну Гаэтану, который поклялся при случае выведать ее у матери. Но даже если герцогу это не удастся, Урбен все равно не откажется от своего плана. Он тайком вернется в замок Моврош, где его матушка должна проводить лето у своей невестки, и сообщит о своем возвращении Каролине в тот самый день, когда оправдает ее в глазах маркизы и устранит все препятствия для брака.

Теперь прежде всего нужно было добиться, чтобы мадемуазель де Сен-Жене поскорее вышла из своего таинственного убежища. Маркиза не покидала мысль, что она скрывается в одном из парижских монастырей. Он считал своим долгом задержаться на несколько дней в Полиньяке, чтобы сначала удостовериться в полном выздоровлении жены Рокберта, а потом забрать своего сына. Эта проволочка больше всего тревожила Урбена. Сгорая от нетерпения, он решил, что написать госпоже Эдбер, а главное, Каролине, нужно не откладывая, дабы они были готовы съехаться сразу после его отъезда за границу. На этом он выиграет несколько дней, а письмо нетрудно отправить днем из Пюи по дороге в Полиньяк.

Эта мысль возникла у маркиза сразу, как только он заметил маленький письменный стол, где были перья, чернила в чашечке и несколько разрозненных листков бумаги, оставленных Каролиной. Он тихо поднялся, поставил лампу на стол и написал Каролине следующее:

«Друг мой, сестра моя, вы не оставите несчастного, для которого, вот уже целый год, вы надежда всей его жизни. Каролина, поймите правильно мои намерения. У меня к вам только одна просьба, и вы не сможете мне отказать в ней. Я уезжаю.

У меня есть сын, мать которого умерла. Я страстно люблю этого мальчика и препоручаю его вам. Вернитесь!.. Я уезжаю в Англию. Если вы не доверяете мне, вы никогда меня не увидите... Но это невозможно! Неужели я недостойн вашего уважения? Каролина...»

Маркиз вдруг остановился. Незначительный предмет на столе внезапно привлек к себе его внимание. Писчая бумага и железные перья не заключали в себе ничего особенного, но между рукой маркиза и чернильницей оказалась черная бусинка, и эта безделица пробудила в маркизе целый мир воспоминаний. Это был крошечный гагатовый шарик, совершенно по-особому выточенный и просверленный; он был частью недорогого браслета, который Каролина носила в Севале. Маркиз хорошо его знал: когда Каролина писала, она обычно снимала браслет, и маркиз, беседуя с девушкой, имел обыкновение играть им. Он забавлялся браслетом сотни раз, а однажды Каролина сказала: «Не порвите его. Это все, что осталось от драгоценностей моей матери». И тогда маркиз с благоговением посмотрел на него и любовно задержал в пальцах. Спасаясь бегством, Каролина впопыхах порвала у браслета нитку, поспешно собрала все бусинки, но одна осталась лежать на столе.

Эта гагатовая бусинка разом опрокинула все планы маркиза. Но, может быть, то была игра его воображения? Может быть, подобные гагаты делаются в этой стране? Маркиз сидел неподвижно, пытаясь разобраться в нахлынувших мыслях. Он вдохнул смутное благоухание комнаты, потом обвел ее глазами. На столе, на стенах, на камине ничего не было. Наконец он заметил в очаге обрывки полусгоревшей бумаги. Тщательно разворошив ее, маркиз нашел клочок бумаги с

остатками адреса. Там сохранились всего два слога: один, написанный от руки, был последним слогом слова Лантриак; другой слог «ам» был частью почтового штемпеля. Марка была явно из Этампа, а почерк принадлежал госпоже Эдбер. Все сомнения маркиза рассеялись: Шарлетта была не кто иная, как Каролина, которая, вероятно, еще не уехала и, возможно, даже находится в этом доме.

С этой минуты в маркизе проснулись хитрость, спокойствие и чутье дикаря. Он пригляделся к крану небольшого домашнего водопровода, который сообщался с умывальником в нижней комнате. Кран был закрыт, но штукатурка вокруг него потрескалась и облупилась. Припав ухом к трещинкам, маркиз услышал ровное дыхание спящего Пейрака.

Отныне каждое слово, сказанное внизу, явственно доносилось до его слуха, и очень скоро маркиз услышал, как поднялась Жюстина и отчетливо произнесла:

— Пора вставать, Пейрак. Бедняжке Каролине вряд ли хорошо спалось эту ночь.

— Ночь как ночь, — буркнул Пейрак. — Но я поеду за ней, как только спроважу этого господина.

Жюстина прислушалась и добавила:

— Он еще спит, но сказал, что подыметесь с рассветом. Скоро день. Он говорил, что уедет без завтрака.

— Все равно, — сказал Пейрак подымаясь: теперь его голос звучал громче, хотя он и говорил шепотом. — Я не могу отпустить его пешком. Больно длинная дорога. Пускай сынишка оседлает ему мою лошадь, и как только он отправится, я поеду в Лоссонну.

Теперь господин де Вильмер знал, что делать. Он начал шуметь, давая хозяевам понять, что проснулся, и, положив в ящик стола кошелек, спустился вниз по лестнице. Он сделал вид, что очень торопится в Полиньяк, и, уверив Пейрака, что чувствует себя превосходно, наотрез отказался от лошади — она только помешала бы ему вести наблюдение за Пейраком и Каролиной. Маркиз горячо пожал хозяевам руки и откланялся, но, выйдя из деревни, тут же пошел в другом направлении и, справившись у прохожего о дороге в Лоссонну, двинулся по тропинке, ведущей в селение.

Маркиз хотел прийти в Лоссонну раньше Пейрака, тайком дожидаться его и собственными глазами увидеть, как Каролина сядет в

повозку и поедет в Лантриак. Как только будет точно известно, что девушка возвратилась в дом Жюстины, он обдумает дальнейшие действия. Теперь, когда Каролина упорно избегала его, он не хотел показываться ей на глаза, боясь снова потерять ее. Пейрак был очень проворен: хотя дорога в Лоссонну делалась все труднее, Миньона бежала быстро. Тропинка, по которой шел маркиз, оказалась не намного короче, и деревенская коляска Пейрака обогнала его. Маркиз видел, как она проехала мимо, и узнал Пейрака, который, несмотря на утренний туман, разглядел, как какой-то человек, одетый не по здешнему, поспешно скрылся за голой каменной грядой.

Пейрак насторожился. «Может, он обвел нас вокруг пальца или о чем-нибудь догадался, — подумал севенец. — Хорошо же. Если это и вправду он, если он не так болен, как прикидывался, я отважу его за нами бегать».

Он поторопил Миньону и с первыми лучами солнца въехал в деревушку. Навстречу ему вышла измученная бессонницей и смертельно встревоженная Каролина.

— Все обошлось, — сказал Пейрак. — Вчера я ошибся: он вовсе не был болен — ночью спал хорошо и даже отправился в замок пешком.

— Значит, он ушел? — спросила Каролина. — Значит, он ничего не заподозрил, и я его больше не увижу? Что ж, так оно лучше. — И Каролина заплакала навзрыд. Пейрак понял, что сердце ее разрывается от боли.

— Ну вот, теперь и вы у нас захвораете, — сказал он девушке строгим отеческим тоном. — Полноте, будьте благоразумны, не то Пейрак больше не станет слушать ваши уверения, что вы настоящая христианка.

— Господи, только бы он не увидел моих слез!.. Неужели ты не можешь простить мне эту минутную слабость? Но что ты делаешь? Зачем мы повернули назад?

Пейраку почудилось, что на дороге опять мелькнул маркиз.

— Вы уж простите меня великодушно, — сказал он, — но у меня в Лоссонне есть одно дельце. Мы обернемся мигом.

Пейрак ехал по деревне, будучи совершенно уверенным, что отныне маркиз наблюдает за ними издали. В конце проселка он

перекинулся словами с одним из местных крестьян. Потом, вернувшись к Каролине, сказал:

— Послушайте, дочь моя, вы что-то совсем пригорюнились. Хотите, я вас немного развею? Вы всегда веселее от прогулок; давайте я устрою вам такую прогулку, и прелестную.

— Если у тебя есть где-то дела, я не смею мешать и поеду с тобой, куда скажешь.

— Мне надо бы навеститься в деревню Эстабль. Это неподалеку от Мезенка. Места там красивые, да и вам давно хотелось поглядеть на самую большую гору в Севеннах.

— Ты же уверял, что туда можно поехать лишь в конце будущего месяца.

— Оно конечно, погода малость хмурится, и дороги, верно, пораскисли. Я не был там с прошлого года, но, говорят, там уже работали люди, и потом, знаете, со мной никакие опасности не страшны.

— Когда так тяжело на сердце, об опасностях не думают. Едем!

Пейрак погнал лошадь, которая, проехав Лоссонну, проворно поднялась на следующий холм. Когда они взобрались на вершину, Пейрак обернулся: на тропинке никого не было, а перед ним лежала лишь дорога, размытая дождем.

— А когда выедем на плоскогорье, вы у меня не расстроитесь вконец? — спросил Пейрак.

— Нет, — ответила Каролина. — Что еще может расстроить отчаявшегося человека?

Пейрак двинулся в путь, то и дело говоря девушке, что солнце, видно, так и не появится из-за туч, что ехать до места еще четыре мили и что Мезенк, вероятно, окажется в тумане.

Каролина безучастно слушала его, не замечая в словах своего старого друга ни сомнений, ни угрызений совести.

Они въехали на гору, густо поросшую соснами, среди которых пролежала большая просека: она была прорублена очень давно наподобие громадной аллеи, поэтому издали казалась такой широкой, что по ней могла бы пройти в ряд добрая сотня экипажей. Но едва повозка углубилась в лес, как дорога превратилась в настоящую пытку: земля была размыта дождем, на каждом шагу подстерегали глубокие рытвины, и чем дальше, тем дорога становилась хуже.

Торфяная почва была усеяна глыбами застывшей лавы, а между ними зияли ямы. Когда же колеса чудом попадали в проложенную колею, на пути возникали нагромождения чудовищных камней, не дававшие проехать; тогда приходилось опять отыскивать старую проезжую дорогу среди сотен ухабов и канав. Лошадь показывала чудеса храбрости, Пейрак — чудеса ловкости и сообразительности.

За два часа они проехали только две мили и очутились на пустынном бесконечном плоскогорье, простертом на высоте полутора тысяч метров.

Вокруг, кроме бездорожья, ничего не было. Солнце не показывалось, туман, точно саваном, окутал окрестность, и трудно себе представить то чувство безысходного отчаяния, которое охватило душу Каролины. Даже Пейрак — и тот приуныл и молчал. Старая, заваленная глыбами дорога осталась позади, и вот уже четверть часа повозка еле ползла, увязая в топкой кочковатой трясине, изрытой копытами пасшихся коров. Нигде не было видно даже смутного намека на дорогу.

Обливавшаяся потом Миньона остановилась: она как бы предупреждала, что местность ей незнакома. Пейрак спешился, погрузившись по колено в торфяную топь и стараясь понять, куда они забрели. Это было совершенно невозможно. Горы и овраги скрылись под пологом белого тумана.

— Мы сбились с дороги? — равнодушно спросила Каролина.

В эту минуту налетевший ветер вырвал клочок из туманной завесы, и вдали обозначился величественный горизонт. Но пелена тумана сомкнулась так быстро, что по обрывку дальних гор Пейрак не понял, где они. Внезапно послышался собачий лай, потом голоса, и наконец в двух шагах от себя они увидели собак. В тумане они незаметно для себя обогнали обоз — люди на мулах везли овощи и бурдюки. То были горцы, ездившие в долину менять свои сыры и масло на фрукты и овощи. Они остановились и заговорили с Пейраком. Ему было сказано, что ехать по такой дороге в Этабль — чистое безумие и лучше всего повернуть обратно. Самолюбивый Пейрак не мог этого допустить и спросил, далеко ли до деревни. Горцы показали ему дорогу, прибавив, что пути часа на полтора, и, даже не предложив помочь, отправились восвояси, подшучивая над незадачливым

возницей. Каролина только видела, как они, точно тени, растаяли в тумане.

Новый подъем на гору поглотил у Миньоны остаток сил, и теперь ей обязательно нужно было перевести дух.

— Хорошо, хоть вы ни на что не жалуетесь, — растроганно промолвил Пейрак. — Однако холод все злее, и сырой ветер пробирает до костей.

В ответ Каролина вся задрожала. Но тут на обочине дороги мелькнула новая тень: то был маркиз де Вильмер. Казалось, он не замечал повозки, хотя на самом деле отлично ее видел, однако он боялся дать понять Каролине и Пейраку, что узнал их. Напустив на себя равнодушный вид, он необычайно энергично приближался к ним.

— Это он, я его узнала! — крикнула Каролина Пейраку. — Он следит за нами.

— И пускай себе следит — мы его пропустим, а сами вернемся назад.

— Нет, я больше не могу, не хочу... Он не выдержит дороги, он умрет, ему не добраться до Этабля. Едем за ним!

На сей раз голос объятый ужасом Каролины звучал так властно, что Пейрак не посмел перечить. Они догнали маркиза де Вильмера; тот посторонился, но, не подняв головы, снова зашагал вперед. Он не желал докучать Каролине своей любовью и не желал идти наперекор ее воле, но он хотел знать все и ради этого готов был следовать за ней до самой смерти.

К несчастью, силы его были уже на исходе. Ужасная дорога от самого Лантриака все время шла в гору, последние две мили петляя среди лабиринта камней и теряясь в трясине, — маркиз обливался потом, который леденил его тело, смерзаясь на пронизывающем до костей ветру.

Маркиз задыхался и был принужден остановиться. Каролина повернула голову и хотела было окликнуть его... Но Пейрак крепко сжал ее руку.

— Мужайтесь, дочь моя! — сказал он проникновенным тоном проповедника. — На то воля божья. — И Каролина почувствовала, что она бессильна перед суровой верой себенского крестьянина. — Да и что с ним случится? — продолжал Пейрак. — Сумел в такую глушь забраться, хватит сил дойти и до деревни. От длинной прогулки еще

никто не умирал. А в Этабле он отдохнет. Если же захворает... я его не оставлю.

— Ведь он же идет за мной! Неужели ты не понимаешь, что заговорить с ним здесь или в другом месте мне все равно придется.

— С чего вы взяли, что он идет за вами? Ему и невдомек, что вы тут. Мало ли кто ездит смотреть на Мезенк.

— В такую погоду?

— Солнце поднялось яркое, вот мы и поехали любоваться Мезенком.

Маркиз видел, как Каролина спорила с Пейраком и как потом уступила ему. Это был для него последний, страшный удар. В тот момент, когда повозка обогнала его, он понял, что дальше идти не в силах. Внезапно поднялся ветер, яростным порывом разогнал туман, сразу же повалили легкие снежные хлопья вперемешку с ледяной крупой, и маркиз опустился на большой валун, все еще не отрывая взгляда от черной точки, постепенно тающей вдали.

«Значит, она даже не хочет поговорить со мной! — думал маркиз, чувствуя, что силы оставляют его. — Она бежит от своей надежды, она потеряла веру. Значит, она никогда не любила меня!»

И маркиз лег на снег, чтобы умереть.

— Скорей бы поспеть на место! — приговаривал Пейрак, видя, что снег валит все гуще и гуще. — Этот снегопад похуже тумана будет. Как начнет сыпать, так сугробы вмиг подымутся выше головы.

Услыхав эти неосторожно брошенные слова, Каролина взбунтовалась: она хотела выскочить из повозки, хотела бежать назад и искать господина де Вильмера, покуда не найдет.

Пейрак удержал девушку, однако, скрепя сердце, покорился ей и повернул назад, хотя с тех пор как они, потеряв из виду маркиза, преодолели эти мучительные полмили, дорога стала еще труднее, продвижение медленнее, и опасность караулила на каждом шагу.

Тщетно искали они глазами маркиза. За час земля и валуны скрылись под густым снежным покровом. Теперь уже нельзя было понять, где последний раз они видели маркиза и где его разыскивать, Каролина стонала, не слыша самое себя, и то и дело приговаривала: «Господи, господи!» Пейрак даже не пытался ее утешить и только просил как можно зорче глядеть вперед. Внезапно лошадь остановилась.

— Видно, мы набрали на дорогу, — сказал Пейрак. — Миньона узнала здешние места.

— Значит, мы слишком далеко отъехали назад! — ужаснулась Каролина.

— Но мы же никого не встретили! Наверняка этот господин, завидя начавшуюся метель, вернулся в Лоссонну, а мы, в двух шагах от деревни, можем тут застрять навечно, если снегопад не прекратится. Так и знайте!

— Ты поезжай, Пейрак, поезжай! — крикнула Каролина и прыгнула в сугроб. — Я отсюда никуда не уйду, пока не разыщу его.

Пейрак не ответил. Он тоже вылез из повозки и принялся искать маркиза, ни капли не веря в успех: снега навалило по колено, и найти труп в высоких сугробах было невозможно.

Каролина брела наудачу: казалось, душа ее вырвалась из телесной оболочки — в таком смятении она была. Уйдя довольно далеко от повозки, она вдруг услышала, что Миньона сильно храпит и трясет

головой. Решив, что лошадь издыхает, Каролина пожалела бедное животное, но тут же заметила, что Миньона как-то странно приплюсывается к снегу. Это был верный знак: Каролина кинулась к сугробу и увидела, что из него торчит помертвелая рука, затянута в перчатку: от дыхания Миньоны снег в этом месте растаял и обнаружил лежащего маркиза. Его простертое тело мешало лошади пройти, и она не решалась на него наступить. На крик Каролины прибежал Пейрак: он отрыл из-под снега господина де Вильмера, перенес его в повозку, а мадемуазель де Сен-Жене, прижав к себе маркиза, принялась отогревать его в своих объятиях.

Пейрак взялся за вожжи и снова двинулся по направлению к Мезенку. Он понимал, что нельзя терять ни минуты, но шел вслепую и скоро провалился в глубокую яму, которую, естественно, не заметил. Миньона остановилась сама. Пейрак вылез из снега, попытался отвести Миньону назад, но колеса уперлись в невидимую преграду. Впрочем, и Миньона выбилась из сил. Тщетно Пейрак понукал ее, даже ударил впервые в жизни, тащил за удила, раскровянив ей рот. Бедное животное смотрело на хозяина почти человеческими глазами, как бы говоря ему: «Я сделала больше, чем могла, и теперь спасти вас уже не в моей власти».

— Неужели нам суждено здесь погибнуть? — воскликнул совсем приунывший Пейрак, видя, как неумолимо валят с неба снежные хлопья. Плоскогорье уже превратилось в настоящую сибирскую степь, и только в завьюженной дали вырисовывалась белесо-серая голова Мезенка. Укрыться было негде — вокруг не было ни дерева, ни навеса, ни скалы. Пейрак понимал, что перед бураном они бессильны.

— Будем надеяться! — сказал Пейрак, что на его южном наречии, как известно, означает: будем ждать!

Тем не менее Пейрак решил отвоевать у пурги хотя бы четверть часа, даже если они последние в его жизни. Он оторвал доску от повозки и принялся разгребать снежные наметы, которые росли на глазах. В течение десяти минут Пейрак трудился, как атлет, без устали разгребая сугробы и утешаясь тем, что хотя, может быть, его усилия и напрасны, но он будет биться за собственную жизнь и за жизнь Каролины до последнего дыхания.

А через десять минут он возблагодарил бога: снегопад поубавился, ветер утих, над землей снова закурился туман, который

был уже не так опасен, как вьюга. Пейрак стал спокойнее разгребать наметы. Наконец на горизонте проглянула белая полоска — вестница хорошей погоды.

До сего момента Пейрак ни слова не сказал Каролине, не проронил ни одного проклятия, и если Каролине было на роду написано здесь замерзнуть, она узнала бы об этом в последнюю минуту. И все же Пейрак заглянул внутрь повозки и, увидев, что иссиня-бледная Каролина смотрит на него безумными глазами, страшно испугался.

— Полноте! Полноте! — сказал он. — Ну что с вами? Все уже позади.

— Да, позади! — ответила она с горькой усмешкой, показывая на Урбена, распростертого на лавке: лицо маркиза от холода посинело, а большие, широко раскрытые глаза казались остекленевшими глазами трупа.

Пейрак еще раз огляделся окрест: помощи со стороны нечего было и ждать. Он прыгнул в повозку и, крепко прижав к себе маркиза, принялся с силой растирать и разминать его тело своими железными руками, стараясь согреть. Но все было тщетно. За околелением последовал тот нервный припадок, которыми страдал маркиз.

— Но он еще жив! — ободрял ее Пейрак. — Жив, я чувствую. Эх, если б нам развести огонь! Но камни не горят.

— А если нам сжечь повозку? — в отчаянии спросила Каролина.

— Прекрасная мысль... Но что мы будем делать потом?

— Потом, потом... Господь нас не оставит без помощи. Неужели ты не понимаешь, что мы должны выжить во что бы то ни стало!

Пейрак снова посмотрел на иссиня-бледное лицо Каролины, на лиловые круги под ее глазами и решил, что она тоже умирает. Больше он ни минуты не колебался и был готов на любой риск. Он распряг Миньону, и та повалилась в снег. Сняв верх с повозки и положив его на землю, Пейрак снес туда все еще неподвижного маркиза де Вильмера; затем, вытащив из ящика несколько охапок сена, старую бумагу и обрывки рогожи, засунул их под повозку и зажег эту кучу с помощью огнива. Разломав кузнечными тисками доски своего убогого экипажа, он без труда запалил костер, который сразу запылал, а затем, разбивая и кромсая повозку, стал подбрасывать щепки в огонь. Снегопад прекратился, и маркиз де Вильмер стал постепенно

приходить в себя, оцепенело глядя на странную сцену, которая ему казалась сном.

— Он спасен, спасен, слышишь, Пейрак! — кричала Каролина, заметив, что маркиз пытается приподняться. — Да благословит тебя господь! Ты спас его!

Голос Каролины явственно доносился до слуха маркиза, но он, думая, что грезит, даже не искал ее глазами, и лишь ощутив на своих руках губы обезумевшей Каролины, понял, что происходящее не сон, а явь. Но так как девушка даже не собиралась бежать от него, он решил, что умирает, и, пытаясь улыбнуться, едва слышно прошептал слова прощания.

— Нет, нет, не прощайтесь! — отвечала она, покрывая его лоб поцелуями. — Вам нужно жить, я этого хочу, я люблю вас!

Слабый румянец окрасил бледно-серые щеки маркиза, но выразить словами свою радость он еще не мог. Маркиз боялся, что это предсмертное видение, но по всему было ясно, что он оживал.

Под верхом повозки, служившей маркизу кровом, накопилось тепло, и Урбен, удобно устроенный на плащах Каролины и Пейрака, почувствовал себя лучше. «Надо, однако, уходить отсюда», — думал Пейрак, с тревогой следя за посветлевшей полосой на горизонте. Все еще подмораживало, щепки кончились, костер догорал, а больной наверняка пешком не доберется до Этабля. Да и Каролина вряд ли одолеет дорогу. Оставалось только одно: посадить обоих на лошадь, но измученной Миньоне не справиться с такой ношей. И тем не менее нужно было попытаться, но сначала дать Миньоне овса. Пейрак стал искать мешочек, и не нашел: пламя уничтожило его.

Радостный возглас Каролины вернул Пейраку надежду: девушка указывала на легкий дымок над холмом, за которым они укрылись. Пейрак взобрался на вершину и увидел в низине медленно приближающихся быков, тянущих воз, и погонщика, который курил трубку.

— Видишь! — воскликнула Каролина, когда воз поравнялся с ними. — Господь не оставил нас без защиты.

Маркиз де Вильмер был еще так слаб, что его пришлось поднять на воз, по счастью, доверху набитый соломой. Пейрак зарыл в нее маркиза, а Каролина устроилась рядом. Взглянув еще раз на жалкие

останки своей повозки, Пейрак вскочил на Миньону, и через час они уже были в деревне.

Пейрак с презрением проехал мимо постоянного двора. Он знал, что в этом заведении за маркизом никто не станет ухаживать, и поместил его у знакомого крестьянина. Все сразу засуетились вокруг больного, забрасывая его вопросами и советами, но он их не слышал. Пейрак выпроводил посторонних, отдал необходимые распоряжения и сам занялся маркизом. Через несколько минут в очаге уже трещал огонь, и в котелке пенилось вино. Господин де Вильмер, лежа на толстой подстилке из сена и соломы, не сводил глаз с Каролины, которая, стоя на коленях, оберегала его платье от огня и с материнской любовью предупреждала его малейшее желание. Больше всего тревожило девушку питье, которое Пейрак готовил из различных пряностей. Однако маркиз полностью доверял опытному горцу. Он дал знак, что готов выпить снадобье, и Каролина поднесла кружку к его губам. Маркиз и вправду скоро обрел речь, поблагодарил своих новых хозяев и, пожав руку Пейраку, сказал, что хочет остаться с ним и Каролиной наедине.

Не легко было выпроводить из дому крестьянина с его семейством хотя бы на несколько часов. Под этим суровым небом жилища строились редко, а многочисленные животные — единственное достояние севенца — размещались в доме, так что обитателям его почти не оставалось места. К тому же севенцы слывут людьми негостеприимными и жестокими, и эта дурная слава ходит за ними со времен убийства землемера, которого Кассини послал измерить высоту Мезенка, а местные жители приняли за колдуна. С той поры севенцы очень переменились и нынче кажутся более обходительными, но их привычки закоснели от вековой беспросветной нужды. Правда, они ловко торгуют, выращивают замечательный скот и к тому же обладают запасами продуктов для обмена. Однако суровость климата и отторгнутость их дикого края наложили свой отпечаток на душу севенца и вошли, так сказать, в его плоть и кровь.

Комната, составлявшая вместе с хлебом внутренность дома и в конце концов предоставленная в распоряжение Пейрака, была крошечная. Дым частью выходил через очаг, частью — через отверстие, зияющее прямо в стене. Две кровати наподобие ящиков давали отдых ночью всему семейству, и можно было только диву

даваться, как это на них спали шесть человек. Полом служила грубая скала: тут же, рядом с людьми, толклись коровы, козы, овцы и куры.

Пейрак постелил всюду чистую солому, раздобыл дров, нашел в шкафчике хлеб и заставил Каролину поесть и отдохнуть. Маркиз молил ее взглядом подумать о себе, но она не отходила от него ни на шаг, крепко сжимая его руки в своих. Он уже мог говорить и хотел ей сказать многое, но боялся проронить словечко. Маркиз опасался, что Каролина покинет его, как только поймет, что он знает о ее любви. И к тому же маркиза смущало присутствие Пейрака: ведь, оберегая Каролину, он поначалу выказал такое упрямство и жестокость по отношению к нему, а теперь ухаживал за ним с преданностью и безграничной заботой. Наконец Пейрак оставил их одних. Он не мог бросить на произвол судьбы верного друга — свою старую лошадь — и казнил за то, что так грубо обошелся с ней, а приехав, против воли доверил ее чужим людям.

— Каролина, — сказал маркиз, усаживаясь на скамеечку, — мне многое нужно было сказать вам, но я потерял голову... да, да, потерял голову и боюсь, что говорю как в бреду. Простите меня, я счастлив видеть вас, счастлив, что снова вырвался из холодных объятий смерти. Но больше я не доставлю вам беспокойств! Господи, каким бременем я был в вашей жизни. Но все уже позади. То, что произошло, было случайностью... безумием, неосторожностью с моей стороны. Но разве мог я примириться с тем, что теряю вас еще раз? Нет, вы не знаете, вы не поняли, чем были в моей жизни, а может быть, никогда не захотите понять. Может, завтра вы опять убежите от меня. Зачем, господи, зачем?.. Вот, читайте, — добавил он, передавая ей скомканное письмо, начатое тем же утром в Лантриаке. — Вероятно, его уже нельзя прочесть, снег и дождь...

— Нет, я разбираю, — сказала Каролина, склоняя голову поближе к огню, — все вполне разборчиво... и я понимаю!.. Я знала, догадывалась и... я согласна... Я этого жаждала всем сердцем, это было мечтой моей жизни. А разве моя жизнь и сердце не принадлежат вам?

— Узы, пока нет. Но если вы захотите поверить в меня...

— Не надо убеждать меня — вам вредно много разговаривать, — твердо сказала Каролина. — Я верю в вас, но не верю в собственную участь. Что ж! Я принимаю ее такой, какой вы мне ее устроите.

Дурная или хорошая, она будет мне дорога, так как я не могу избрать иную. Слушайте меня, слушайте — быть может, у нас осталась одна минута для разговора. Я не знаю, какие испытания уготованы моей и вашей совести, но мне известно, как неумолима ваша матушка, обдавшая меня ледяным презрением, и если мы разобьем ей сердце, господь нас за это не вознаградит. Значит, нужно покориться судьбе раз и навсегда. Вы же сами говорили: строить свое счастье на смерти матери — значит сделать мечту о счастье самой преступной мыслью, и счастье это будет трижды проклято. Мы сами проклянем его!

— Зачем вы мне напоминаете об этом? — сокрушенно спросил маркиз. — Я и сам все знаю. Но неужели вы думаете, что матушку нельзя переубедить? Если так, значит, вы хотите отнять у меня малейшую возможность бороться за нас, и только жалость...

— Вы слепец, — воскликнула Каролина, прижимая пальцы к его губам, — слепец, если не видите, что я люблю вас!

— О господи, — сказал маркиз, склоняясь к ее ногам. — Повторите еще раз! Я боюсь, что это сон. Эти слова вы мне сказали впервые. Я догадывался, но боялся поверить... Скажите, скажите еще раз, и я готов умереть!

— Да, я люблю вас больше жизни, — отвечала Каролина, прижимая к сердцу голову маркиза. — Я люблю вас больше своей гордости и чести. Долгое время я не признавалась в этом самой себе, не признавалась господа богу в своих молитвах. Наконец я все поняла и убежала от вас из малодушия. Мне казалось, что жизнь кончена, и она действительно кончена без вас. «Ну, что за беда? — думала я. — Ведь это касается только меня одной». И пока во мне жила надежда, что вы забудете меня, я боролась, но теперь я вижу: вы меня очень любите, и если я вас оставлю, вы умрете. Несколько часов назад я считала, что вас уже нет в живых, и тогда мне стали ясны наши отношения: я убивала вас! Я могла воскресить вас к жизни, вас, самого благородного и замечательного человека на свете, но я принесла вас в жертву пустому самолюбию. Но разве я могла стать причиной вашей смерти, если в мире нет для меня ничего дороже вашего уважения? Нет, я была непомерно горделива и непомерно жестока, и вы столько выстрадали по моей вине! Я люблю вас, слышите? Я не хочу быть вашей женой: это принесло бы вам тяжкие угрызения совести и непоправимое горе. Но я стану вашей подругой,

вашей служанкой, матерью вашего ребенка, вашей верной и тайной спутницей. Пускай меня считают вашей любовницей, пускай даже думают, что Дидье — мой сын. Я готова на все и согласна принять презрение, которого так боялась!

— О благородное сердце! — воскликнул маркиз. — Я тоже принимаю твою высокую жертву. Не презирай меня за это — я достоин ее и скоро обращу эту жертву во благо нам обоим! Да, да, я сделаю чудеса! Матушка уступит мне и не раскается. Я чувствую, сколько пламенной веры в моей груди и какие золотые слитки красноречия! Но даже если меня постигнет неудача, даже если свет встанет на дыбы и проклянет тебя, ты, сестра, моя обожаемая подруга, от этого только вырастешь в моих глазах, и я еще больше возгоржусь, что избрал тебя, а не иную! Да и что значат свет и его мнение для человека, который постиг тайны людского эгоизма и ничтожество людских предрассудков? Этот человек знает, что во все времена чудом выживала одна сирая истина, а тысячи ее сестер были закланы и запятнаны клеймом бесчестия. Он хорошо знает, что самым лучшим и великодушным людям было суждено идти стезей Христа, дорогой терний, где градом сыплются удары и оскорбления. Ну что ж, если нужно, мы пойдем этой стезей, а любовь надежно оборонит нас от низких нападков! О, за это я тебе ручаюсь и готов поклясться, что так оно и будет вопреки всем угрозам, которые нам уготовят люди: ты будешь любима, а значит, будешь счастлива! Ты хорошо знала, что вся моя жизнь, вся моя душа воплотилась в любви к тебе. Ты также хорошо знала, что если порой я лихорадочно искал истину, то делал это из любви к ней, а не от суетного желания славы. Я не ученый и не писатель. Я безвестный странник, который добровольно проходит мимо шума и суеты, борется за свое счастье в тени и уединении не потому, что ему недостает мужества, но из боязни оскорбить в этой борьбе чувства своей матери и своего брата. Я согласился играть эту неприметную роль, не испытывая и малейших страданий уязвленного самолюбия. Я понимал, что сердце мое жаждет не фимиама, но любви. Честолюбивые помыслы людей, их тщеславие, их жажда власти, стремление к роскоши, постоянное желание лицедействовать — что мне было до них? Я не мог забавляться подобными бирюльками. Я был незадачливый, обыкновенный человек, влюбленный в свой идеал, наивный ребенок, если угодно,

который искал любви, зная, что она жила в нем самом задолго до того, как он встретил ту, которой было суждено окрылить его и сделать сильным. Я молчал, зная, что буду осмеян, — мне это было безразлично, и если я страдал бы, так от того, что оскорбили мои святые убеждения!.. Однажды, лишь однажды в своей жизни — я хочу вам рассказать и это, Каролина, я любил...

— Молчите! — приказала она. — Я ничего не желаю знать.

— Нет, вы должны знать все. Она была добра и нежна, и я глубоко чту и благословляю ее, хотя она давно в могиле. Но любить меня она не могла. То была ее роковая ошибка. Я нисколько ее за это не упрекаю и за все виню одного себя. Я сгорал от ненависти к самому себе и казнился от сознания того, что уступил, по существу, неразделенной страсти, и примирился с жизнью только тогда, когда увидел в вас ее цветущее и самое чистое воплощение. Тогда я понял, почему я родился несчастным, почему обречен любви, почему мне суждено было так рано полюбить, полюбить дурно и греховно, лелея в душе мечту и идеал своей жизни. Теперь же я чувствую, что навсегда воскрес и спасся. Доверьтесь мне — ведь вы посланы самим небом! Вы прекрасно знаете, что оно создало нас друг для друга. Вы сами тысячу раз невольно замечали, что у нас с вами — одна душа, одни мысли, что мы любим одни и те же идеи, искусства, одних и тех же людей и одни и те же вещи и что наше общение лишь укрепляет или развивает то, что дремало в нас втуне. Ах, вспомните, Каролина, вспомните Севаль, и наши полные солнца часы в долине, и наши полные утренней свежести часы под сводами той библиотеки, где вы приветствовали букетами прекрасных цветов таинственный и неразрывный союз наших душ! Разве наши руки, сплетенные в пожатии, не освящали каждое утро наш духовный брак? И разве наши первые взгляды не отдавали каждодневно нас самих друг другу навсегда?.. Неужели все это прошло бесследно, растаяло как дым? И как вы могли хотя бы секунду подумать, что эта жизнь могла кончиться, что этот человек может существовать без вас и безропотно уйдет в небытие? Нет, вы никогда этому не верили! Этот человек устремился бы за вами на край света, пошел бы по льдинам, по воде, сквозь огонь, только бы соединиться с вами!.. А когда сегодня вы оставили меня умирать в снегу, разве вы не чувствовали, что душа

покинула мое бренное тело и, словно неприкаянный призрак, следовала за вами по пятам сквозь горную метель?

— Слушай, слушай его! — сказала Каролина вошедшему Пейраку, который изумленно уставился на маркиза. — Слушай, что он говорит мне, и не удивляйся, что я люблю его больше самой себя. Не огорчайся, не жалея нас и не уходи! Побудь с нами и посмотри, как мы счастливы! Присутствие такого святого старика, как ты, не стесняет нас. Вероятно, ты не поймешь нас, потому что для тебя ничего нет выше, чем чувство долга. Но тем не менее ты благословишь меня и будешь любить, ибо оценишь по достоинству право и власть этого человека, самого замечательного на земле, — ему господь вложил в уста слова истины. Да, я люблю его... Я люблю тебя, которого чуть было сегодня не потеряла, и никогда больше тебя не оставлю: я пойду за тобой повсюду, твой ребенок будет моим, точно так же как твоя родина — это моя родина, а твоя вера — моя вера. И нет в мире большей чести, нет большей добродетели перед господом богом, чем любить тебя, утешать тебя и служить тебе.

Господин де Вильмер поднялся: его лицо сияло радостью, которая, ослепляя взор Каролины, не пугала ее. В этот час высокого ликования чувственность молчала — здесь ей не было места. Маркиз прижимал Каролину к сердцу с той отеческой нежностью, которая всегда жила в нем, а теперь ее усиливали инстинкт могущественного покровительства, право великого ума над великим сердцем и праве избранной души над другой душой, облагороженной любовью. К чести маркиза и Каролины надо добавить, что их переполняли бесконечно нежные дружеские чувства, несколько восторженные, но прямодушные и глубокие, непричастные чувственному опьянению. В эту минуту будущее сводилось для них к нескольким словам: вечно быть вместе.

Когда прояснившаяся к четырем часам дня погода позволила Пейраку заняться приготовлениями к отъезду, в Лимузене, в замке Моврош, юная и прекрасная герцогиня д'Алериа в муаровом платье, с камнями, унижавшими ее пальцы, входила в покои своей свекрови, оставив в гостиной мужа и госпожу д'Арглад, которые были заняты самой, казалось бы, дружеской беседой. У Дианы был такой радостный и торжествующий вид, что маркиза очень удивилась.

— Ну что, красавица моя, — воскликнула она, — что случилось? Может быть, вернулся мой младший сын?

— Он скоро вернется, — отвечала герцогиня, — вам же дали слово, и вы прекрасно знаете, что мы на этот счет совершенно спокойны. Герцог знает, где находится маркиз, и ручается, что в конце недели он будет с нами. Поэтому вы видите меня не в меру веселой. Эта госпожа д'Арглад просто прелесть. — она, дорогая матушка, и осчастливила меня сегодня.

— О, вы смеетесь, плутовка! Вы ее терпеть не можете! Но зачем было привозить ее сюда? Я вас об этом не просила. Никто, кроме вас, не может меня развлечь.

— Сегодня я буду развлекать вас, как никогда, — сказала Диана с обворожительной улыбкой, — а милейшая госпожа д'Арглад дала мне в руки то оружие, которым я развею ваше противное горе. Послушайте, матушка, мы разгадали наконец эту ужасную тайну! Это было нелегко. Целых три дня мы с герцогом осаждали госпожу д'Арглад, улещивали и осыпали самыми нежными знаками внимания. Наконец эта душечка, которую мы никак не могли провести, не выдержала наших насмешек и сказала мне, что свой страшный проступок Каролина совершила в сообщничестве... О, вы знаете с кем — она же вам об этом и сказала. Я сделала вид, будто не расслышала, но сердце у меня легонько екнуло... А если говорить начистоту, то прямо защемило. Но я кинулась к моему дорогому герцогу и бросила ему прямо в лицо: «Это правда, ужасный человек, что вы были любовником мадемуазель де Сен-Жене?» Герцог так и подпрыгнул на месте, как кошка... нет, как леопард, которому

наступили на лапу. «Я так и знал, — зарычал он, — это выдумала сплетница Леони!» И так как он тут же поклялся ее убить, мне пришлось успокоить его и сказать, что я не поверила ни одному ее слову. Тут я покривила душой — я этому немного верила. И ваш сын — он ведь большая умница! — сразу это заметил и, пав передо мной на колени, поклялся, но чем!.. Всем, что я почитаю и люблю: сначала господом богом, потом вами, — поклялся, что это бесчестная клевета, и теперь я убеждена в этом так же твердо, как в том, что появилась на свет, чтобы любить герцога д'Алериа.

Маркиза не успела еще удивиться словам Дианы, как в ее будуар вошел герцог, такой же сияющий, как его супруга.

— Уф, слава богу! — воскликнул он. — Вы больше никогда не увидите эту гадюку. Она велела заложить свою карету и уезжает взбешенная, но — клянусь честью! — раздавленная и с вырванным жалом. Моя бедная матушка, как вас подло обманули. Я только теперь понимаю, что вам пришлось вытерпеть. И вы ничего не сказали мне, который бы разом... Я наконец все вытянул из этой мерзкой особы, которая чуть не поселила отчаяние в нашей семье, но Диана оказалась ангелом, над которым не способны восторжествовать даже силы ада. Послушайте, матушка! Как известно, госпожа д'Арглад видела собственными глазами, что мадемуазель де Сен-Жене, опершись на мою руку, проходила на рассвете по двору в Севале. И она видела, что я нежно разговаривал с мадемуазель де Сен-Жене и пожимал ей руки. Все это так, только она плохо смотрела, ибо я еще и целовал ей руки, а то, чего она не слышала, я сейчас вам расскажу, так как помню наш разговор слово в слово. Я говорил Каролине: «Мой брат чуть не умер нынешней ночью, и вы спасли его. Пожалейте его, заботьтесь о нем, помогите мне скрыть его недуг от матушки — ведь только с вашей помощью брат останется в живых». Вот что я ей сказал, клянусь богом, и вот что произошло...

И герцог рассказал все, даже то, что было раньше; он не утаил от маркизы свои дурные планы, свое тщетное ухаживание за Каролиной, которого та даже не заметила. Он сообщил маркизе о ревности Урбена, об их ссоре и нежном примирении, об исповеди одного и клятвах другого; он рассказал и о том, как неожиданно обнаружил, в каком опасном состоянии оказалось здоровье брата, как неосторожно оставил его одного, решив, что маркиз успокоился и уснул, как тот

потом разбил окно, а Каролина, услышав крик, прибежала на помощь, как она выходила больного, оставшись у него в спальне, и с той минуты постоянно ухаживала за ним, как она развлекала его и помогала ему в работе.

— И все это она делала преданно, скромно и совершенно бескорыстно, — добавил он. — Знайте, матушка, что Каролина — особа редких достоинств, и лучшей избранницы, которая подходила бы брату по возрасту, характеру, вкусам и скромности, конечно, не найти. Вы знаете, как я мечтал, чтобы он заключил более блестящий брак. Но теперь, когда стоящий перед вами ангел вернул нам всем свободу и достоинство, а брат больше не стеснен в средствах, когда с такой силой и постоянством брат любит особу, которая стала вдобавок его настоящим другом, когда, наконец, Диана, понимающая подобные дела, как никто, убедила меня в том, что лучшие браки — это браки по любви, мне остается сказать вам, дорогая матушка, только одно: нужно найти Каролину и с радостью благословить ее, потому что она была вашим лучшим другом до моей жены, а теперь станет второй вашей дочерью, о какой можно лишь мечтать.

— Ах, дети мои, — воскликнула маркиза, — вы мне возвращаете счастье! С той поры, как оклеветали Каролину, я просто не жила. Горе Урбена, разлука с этой милой девочкой... боязнь посорить примерных братьев, признавшись им в том, что я почитала за правду и что с радостью отметаю как вымысел... Ах, надо скорей разыскать маркиза и Каролину... Но где они, господи!.. Вам известно, где ваш брат, но знает ли он, где Каролина?

— Нет, он уехал, не зная этого, — ответила герцогиня. — Но это известно госпоже Эдбер.

— Напишите ей, дорогая матушка, скажите всю правду, и она вам ответит тем же.

— Да, да, я напишу, — сказала маркиза. — Но как сообщить об этом моему бедному Урбену?

— Это я беру на себя, — сказал герцог. — Если герцогиня согласится сопровождать меня, я поеду за ним сам, в противном случае оставлять молодую жену на три дня... право, это несколько рановато.

— Что?! — воскликнула герцогиня. — Вы надеетесь, что, как только кончится медовый месяц, будете всюду бегать без меня как

заяц? О, вы жестоко заблуждаетесь, мой милый герцог, и я сумею положить конец вашему непостоянству.

— Интересно, что вы станете делать? — спросил герцог, с восхищением глядя на жену.

— Обождать вас все больше и больше! И тогда посмотрим, наскучит ли вам моя любовь!

Пока герцог целовал золотистые волосы своей супруги, маркиза с жаром пансионерки писала письмо Камилле.

— Послушайте, дети мои, хорошо ли я сочинила? — сказала она, и герцогиня прочла следующее: «Дорогая госпожа Эдбер, привезите нам Каролину, и я прижму вас обеих к груди. Бедняжку Каролину оклеветали, и теперь я знаю правду. Я обливаюсь слезами при мысли, что поверила, будто она и вправду падший ангел. Пусть она простит меня и вернется! Пусть станет навсегда моей дочерью и не расстанется со мной! Мы оба, я и мой сын, не можем без нее жить!»

— Письмо восхитительное и умное, как вы сами! — сказала герцогиня, запечатывая его.

Когда письмо было отправлено, маркиза сказала:

— А почему бы вам, дети мои, вместе не отправиться за маркизом? Это очень далеко?

— Двенадцать часов езды на почтовых, — ответил герцог.

— А вы не можете сказать мне, где он?

— Я не должен вам этого говорить, но теперь, я уверен, у брата не будет от вас никаких секретов.

— Сын мой, вы меня очень пугаете, — продолжала маркиза. — Вероятно, ваш брат болен, и вы его прячете в замке, как прятали в Севале. Он, должно быть, не в силах подняться, а меня уверяют, что он уехал.

— Нет, матушка, — смеясь, сказала Диана, — Урбена действительно нет в замке, и он здоров. Он в отъезде, он путешествует и, может быть, немного грустит. Но он будет счастлив, — ведь, уезжая, он так надеялся уговорить вас сменить гнев на милость.

Герцог клятвенно подтвердил слова жены.

— Хорошо, дети мои, — сказала маркиза в тревоге. — Мне бы хотелось, чтобы вы были подле него. Знаете, когда он болен, я смутно догадываюсь об этом по особенному волнению, которое на меня находит. Я испытала его в Севале как раз в ту пору, когда болезнь

маркиза от меня скрывали. Теперь я вижу, что недуг, о котором вы мне рассказали, мучил его как раз в ту ночь, которую я ужасно провела. Но сегодня утром я была одна и, проснувшись, грезилась наяву. Я мысленно видела маркиза — он был бледный, закутанный во что-то белое, напоминающее саван...

— Боже мой, какие ужасы мучают вас! — сказал герцог.

— Я мучаюсь невольно и стараюсь успокоиться, полагаясь на свое внутреннее чутье, поэтому я хочу вам сказать все. Вот уже час, как я знаю, что мой сын здоров, но сегодня он был в страшной опасности, он страдал... с ним что-то случилось... Запомните этот день и час!

— Раз так, поезжайте, — сказала герцогиня своему мужу. — Я не верю в эти предчувствия, но нужно успокоить матушку.

— Вы поедете с герцогом, — сказала маркиза. — Я не хочу, чтобы из-за моих черных мыслей, которые, быть может, просто игра больного воображения, ваша семейная жизнь омрачилась.

— Но как можно вас оставить одну с такими мыслями...

— Я от них сразу же освобожусь, как только вы отправитесь за маркизом.

Госпожа де Вильмер настояла на своем. Герцогиня велела уложить небольшой чемодан, и через два часа она уже ехала с супругом на почтовых по дороге в Пюи через Тюль и Ориак.

Герцогиня знала тайну своего деверя: ей было известно о существовании ребенка, и только имя матери скрыли от нее. Маркиз позволил брату не иметь секретов от жены.

В шесть часов утра они приехали в Полиньяк. Первым, кого увидела Диана, был Дидье. Как и Каролина, она прониклась внезапной нежностью к этому очаровательному мальчику, всех пленявшему. Пока она целовала малыша, герцог расспрашивал о мнимом господине Бернье.

— Дорогая, — сказал герцог Диане. — Моя мать была права: с братом действительно что-то случилось. Вчера утром он отправился на несколько часов в горы и до сих пор не вернулся. Здешние хозяева беспокоятся о нем.

— А они знают, где он?

— Он ушел в сторону Лантриака. Почтовые лошади нас мигом свезут туда, но там я вас оставлю и возьму лошадь с проводником, так

как в карете нам не проехать.

— Мы найдем двух лошадей, — возразила герцогиня. — Я вовсе не устала. Едем!

Через час бесстрашная Диана неслась в бешеном галопе по берегу Гани, посмеиваясь над беспокойством мужа. В девять часов утра они быстро промчались по Лантриаку к великому удивлению его жителей и остановились у дома Пейрака.

Семья сидела за столом в мастерской. Накануне Пейрак с Каролиной и маркизом вернулись немного поздно, доехав, впрочем, безо всяких приключений. Урбен, усталый, но совсем выздоровевший, воспользовался любезным гостеприимством сына Пейрака, который жил в соседнем доме. Каролина сладко выпалась в своей каморке, а теперь помогала Жюстине ухаживать за мужчинами, то есть за маркизом и обоими Пейраками. Похорошевшая от счастья Каролина сновала по комнате, то хлопоча по хозяйству, то усаживаясь напротив маркиза, который принимал ее заботы и с обожанием смотрел на девушку, как бы говоря ей: «Я рад вашему вниманию и заплачу за него сторицей».

Радость и ликование наполнили дом Пейраков, когда нагрянули неожиданные гости! Братья долго не выпускали друг друга из объятий. Диана целовала Каролину и называла сестрой.

Целый час, перебивая друг друга, как безумные, они рассказывали о случившемся. Герцог умирал от голода и с аппетитом уписывал кушанья Жюстины, которая с помощью плакавшей и смеявшейся Каролины снова приготовила обильный завтрак. Диана была в восторге от их шальной затеи и к великому ужасу супруга вызвалась делать приправу к блюдам. Наконец все снова, не торопясь, принялись рассказывать все сначала. Маркиз первым делом послал нарочного в Пюи с письмом к матери, так как ему сразу же сообщили о ее тревогах и поразительном ясновидении.

При расставании с Пейраками никто не плакал; с них взяли обещание, что они приедут на свадьбу. На следующий день все вернулись в Моврош вместе с маленьким Дидье, которого маркиз посадил на колени своей матери. Госпожа де Вильмер уже знала о его существовании из письма Урбена. Она осыпала мальчика поцелуями и, передав на руки Каролине, сказала:

— Дочь моя, вы согласны сделать нас всех счастливыми? Будьте же тысячу раз благословенны и, если хотите продлить мои дни, не покидайте меня больше никогда. Я причинила вам много зла, мой добрый ангел, но господь не допустил, чтобы наша разлука затянулась, так как я умерла бы без вас.

Маркиз со своей женой провели остаток прекрасного лета в Мовроше, а начало осени — в Севале. Это место было дорого их памяти, и хотя сердцем они влеклись в Париж к своему семейству, расставание с этим поместьем, освященным добрыми воспоминаниями, оказалось мучительным.

Женитьба маркиза никого не удивила; одни одобрили ее, другие с презрением пророчили, что он еще раскается в своей безумной причуде, что благоразумные люди отвернутся от него и что карьера его загублена. Маркиза чуть было не занемогла от этих толков. Госпожа д'Арпад преследовала своей ненавистью Диану, Каролину и их мужей, но все оборвалось с февральской революцией, и все стали думать совсем о других вещах! Маркиза была очень напугана событиями и сочла за благо укрыться в Севале, где тем не менее обрела полное счастье. У маркиза должна была анонимно выйти в свет его книга, но он отложил ее публикацию до более спокойных времен. Он не хотел добивать побежденных. Счастливый любовью Каролины и домочадцев, маркиз не спешил навстречу своей славе.

Сегодня старой маркизы уже нет в живых. Слишком деятельная духом, она была немощна телом, и дни ее были сочтены. Она угасала в окружении детей и внуков, всех их благословляя, чувствуя, что слабеет, и не веря, что покидает их навсегда, но, будучи в здравом уме и твердой памяти до последнего часа, она, подобно большинству умирающих, строила планы «на будущий год».

Герцог от беспечной жизни очень располнел, но по-прежнему обходителен, красив и все такой же непоседа. Он живет в большой роскоши, но деньгами не сорит, находясь под башмаком у жены, которая держит его в узде с редким умом и восхитительным тактом, потакая ему и поддерживая его негаснущую страсть. Не станем уверять читателя, что милый герцог не подумывал ее обмануть, но Диана сумела развеять его фантазии так, что он даже не заметил, и ее торжество, продолжающееся до сих пор, лишний раз доказывает, что нередко и шестнадцатилетняя девочка с добрым запасом хитроумия и

силы воли может великолепно управлять зрелым мужем, умудренным по части волокитства и расточительства. Теперь добродушный и мягкотелый герцог даже находит немалое удовольствие в том, что больше не строит коварных козней против прекрасного пола и, не ведая новых угрызений совести, мирно засыпает на пуховиках своего благополучия.

Маркиз де Вильмер и молодая маркиза восемь месяцев в году живут в Севале, постоянно занятые не столько сами собой, — ведь они слились в одно существо, вместе думают и даже угадывают мысли друг друга, — сколько воспитанием своих детей, которые все на редкость умны и прелестны. Господин де Ж*** умер, госпожа де Ж*** забыта. Маркиз признал Дидье сыном, Каролина даже не вспоминает, что она не его мать.

Госпожа Эдбер тоже перебралась в Севаль. Все ее дети воспитаны заботами маркиза и Каролины. Сыновья герцога более избалованы, менее развиты и не так здоровы, но они милы и не по возрасту изящны. Герцог — превосходный отец и часто удивляется, что у него такие большие дети.

Пейраки были щедро вознаграждены. В прошлом году маркиз с Каролиной гостили у них. На сей раз при чудесном восходе солнца они добрались до серебристой вершины Мезенка. Не забыли посетить и бедную хижину севенца, где, несмотря на щедроты маркиза, мало что изменилось; но хозяин дома купил клочок земли, и теперь его считают богачом. Каролина благоговейно присела у нищенского очага, где впервые увидела у своих ног человека, с которым была готова поселиться в уютной севенской лачуге и забыть весь мир.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

1

По-французски le char означает «коляска».

2

Полумера, уловка (итал.).

3

Название Gerbier de Junc и означает «Камышовая скирда».

4

Молись за нас (лат.).